

**МАРИНА
ЦВЕТАЕВА**

ПРОЗА
(СБОРНИК)

Марина Ивановна Цветаева

Проза (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174066
М.Цветаева Проза: Эксмо-Пресс; Москва; 2001
ISBN 5-04-008397-1, 5-04-008265-7*

Аннотация

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Содержание

| | |
|--|-----|
| «Прозу люблю почти так же, как и стихи...» | 6 |
| Автобиография | 9 |
| Октябрь В Вагоне (Записи тех дней) | 13 |
| Письмо в тетрадку | 14 |
| Кусочек крыма | 22 |
| Вольный проезд | 29 |
| О любви (Из дневника) | 69 |
| Из дневника | 88 |
| Расстрел царя | 92 |
| Покушение на Ленина | 93 |
| Чесотка | 95 |
| Fräulein[16] | 97 |
| Ночевка в коммуне | 98 |
| Воин Христов | 103 |
| О благодарности (Из дневника 1919 г.) | 105 |
| Отрывки из книги «Земные приметы» | 113 |
| Чердачное (Из московских записей 1919/1920 г.) | 145 |
| О Германии (Выдержки из дневника 1919 г.) | 160 |
| Дом у Старого Пимена | 180 |
| I | 180 |
| II | 192 |
| Башня в плюще | 247 |
| Открытие музея | 262 |

| | |
|--|-----|
| Жених | 270 |
| Мать и музыка | 281 |
| Хлыстовки | 321 |
| Сказка матери | 333 |
| Китаец | 343 |
| Черт | 355 |
| Повесть о Сонечке | 400 |
| Часть первая | 400 |
| Часть вторая | 486 |
| 1 | 564 |
| 2 | 566 |
| 3 | 566 |
| 4 | 566 |
| 5 | 569 |
| Наталья Гончарова (Жизнь и творчество) | 616 |
| Уличка | 616 |
| Мастерская | 623 |
| Трехпрудный | 629 |
| Младенчество | 637 |
| Две Гончаровы | 646 |
| «Моя родословная» | 666 |
| Первая Гончарова | 672 |
| Притча | 681 |
| «Внешние события» | 683 |
| Русские работы | 687 |
| Защита твари | 694 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Первая заграница и последняя Россия | 701 |
| Сделка с совестью. | 703 |
| Выставки 1903 – 1906 гг. | 705 |
| 1906 – 1911 гг. | 706 |
| После-России | 707 |
| Гончарова и театр | 713 |
| Из бесед | 718 |
| Повторность тем | 720 |
| Гончарова и школа | 725 |
| Гончарова и машина | 729 |
| Заграничные работы | 734 |
| Живое о живом (Волошин) | 742 |
| Коктебель | 783 |
| Скобка о руке | 806 |
| Макс и сказка | 824 |
| Последнее видение | 851 |
| Слово о Бальмонте | 855 |
| Нездешний вечер (Михаил Кузмин) | 872 |
| Мой Пушкин | 893 |
| Примечания | 957 |

Марина Цветаева Проза

«Прозу люблю почти так же, как и стихи...»

Летом 1893 года Лев Толстой, живой классик русской прозы, всемирно признанный писатель, записал в дневнике: «Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совесть не писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо». В 1909 году на страницу его дневника легла подобная запись, теперь ставшая одной из многих: «Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь».

Марина Цветаева родилась осенью 1892 года, и в 1909 году она лишь входила в литературный мир: дебютный поэтический сборник «Вечерний альбом» был еще впереди... Но Цветаевой было суждено, в ряду многих других достойных талантов, осуществить предсказания Толстого (отмечу, всю прозу которого она назвала – «отличной»), изменить тональность, стиль, всю систему прозаического повествования, открыть его новые возможности и отказаться от многих традиций.

Прямо заявив на склоне судьбы: «Вся моя проза – ав-

тобиографическая», Цветаева вовсе не отмечала тем некую ее второстепенность, более того, исходя в своей прозе из непосредственного пережитого, она лишь подтверждала собственный тезис, что и проза – «проработанная в слове жизнь. То есть, как всякое завершение, уже над-жизнь» (письмо к В. А. А., неустановленному адресату, отчего текст этот читается как манифест). Отсюда и ее ранний призыв, прежде всего к самой себе: «Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!». И далее: «Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души» (предисловие к сборнику «Из двух книг»).

Написанное Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России, утопающей в большевизме, до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью ее лирического переживания, передает ее жизненное движение, ее жест, взволновано ее вздохами и душевными порывами.

Поэтому проза Цветаевой, при всем ее тематическом разнообразии, сохраняет единство вот этой самой «над-жизни», выстроенной авторской волей, скрепленной энергией слова.

«Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком. Чем же была твоя царственность?.. Ужас и любопытство, страсть к познанию и страх его, вот что каждого любящего толкает к прозе поэта. ...сумеешь ли ты и без пурпура

быть царем (и без стиха быть поэтом)?»

Такие суждения Марина Цветаева высказала, прочитав автобиографическую книгу Осипа Мандельштама. И это были не сторонние размышления, не риторические вопросы. Поскольку Цветаева сама писала прозу, она стремилась верить ее по тому же строгому счету, который предъявила высоко ценимому ею поэту.

А теперь, наедине с читателем, она готова по этому счету ответить.

Сергей Дмитриенко

Автобиография

Марина Ивановна Цветаева.

Родилась 26 сентября 1892 г., в Москве. Отец – Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского университета, основатель и собиратель Музея изящных искусств (ныне Музея изобразительных искусств), выдающийся филолог. Мать – Мария Александровна Мейн – страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет. Страсть к стихам – от матери, страсть к работе и к природе – от обоих родителей.

Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский. Материнское чтение вслух и музыка. Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зелени – из самостоятельно прочитанного. Нелло и Патраш. Любимое занятие с четырех лет – чтение, с пяти лет – писание. Все, что любила, – любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последующие сорок – осознала.

Мать – сама лирическая стихия. Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на недостаточность любви.

Детство до десяти лет – старый дом в Трехпрудном переулке (Москва) и одинокая дача Песочная, на Оке, близ города Тарусы Калужской губернии.

Первая школа – музыкальная школа Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке, куда поступаю самой младшей ученицей, неполных шести лет. Следующая – IV гимназия, куда поступаю в подготовительный класс. Осенью 1902 г. уезжаю с больной матерью на Итальянскую Ривьеру, в городок Nervi, близ Генуи, где впервые знакомлюсь с русскими революционерами и понятием Революции. Пишу Революционные стихи, которые печатают в Женеве. Весной 1902 г. поступаю во французский интернат в Лозанне, где остаюсь полтора года. Пишу французские стихи. Летом 1904 г. еду с матерью в Германию, в Шварцвальд, где осенью поступаю в интернат во Фрейбурге. Пишу немецкие стихи. Самая любимая книга тех времен – «Лихтенштейн» В. Гауфа. Летом 1906 г. возвращаюсь с матерью в Россию. Мать, не доехав до Москвы, умирает на даче Песочная, близ города Тарусы.

Осенью 1906 г. поступаю в интернат московской гимназии Фон-Дервиз. Пишу Революционные стихи. После интерната Фон-Дервиз – интернат Алферовской гимназии, после которого VI и VII класс в гимназии Брюхоненко (приходящей). Лета – за границей, в Париже и в Дрездене. Дружба с поэтом Эллисом и филологом Нилендером. В 1910 г., еще в гимназии, издаю свою первую книгу стихов – «Вечерний Альбом» – стихи 15, 16, 17 лет – и знакомлюсь с поэтом М. Волошиным, написавшим обо мне первую (если не ошибаюсь) большую статью. Летом 1911 г. еду к нему в Коктебель и знакомлюсь там со своим будущим мужем – Сергеем Эфро-

ном, которому 17 лет и с которым уже не расстанусь. Замуж за него выхожу в 1912 г. В 1912 г. выходит моя вторая книга стихов «Волшебный фонарь» и рождается моя первая дочь – Ариадна. В 1913 г. – смерть отца.

С 1912 по 1922 г. пишу непрерывно, но книг не печатаю. Из периодической прессы печатаюсь несколько раз в журнале «Северные записки».

С начала революции по 1922 г. живу в Москве. В 1920 г. умирает в приюте моя вторая дочь, Ирина, трех лет от роду. В 1922 г. уезжаю за границу, где остаюсь 17 лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во Франции. В 1939 г. возвращаюсь в Советский Союз – вслед за семьей и чтобы дать сыну Георгию (родился в 1925 г.) родину.

Из писателей любимые: Сельма Лагерлёф, Зигрид Ундсет, Мэри Вебб.

С 1922 г. по 1928 г. появляются в печати следующие мои книги: в Госиздате «Царь-Девница», «Версты» 1916 г. и сборник «Версты»; в Берлине, в различных издательствах, – поэма «Царь-Девница», книги стихов «Разлука», «Стихи к Блоку», «Ремесло» и «Психея», в которые далеко не входит все написанное с 1912 по 1922 г. В Праге, в 1924 г., издаю поэму «Молодец», в Париже, в 1928 г., книгу стихов «После России». Больше отдельных книг у меня нет.

В периодической прессе за границей у меня появляются: лирические пьесы, написанные еще в Москве: «Фортуна», «Приключение», «Конец Казановы», «Метель». Поэ-

мы: «Поэма Горы», «Поэма конца», «Лестница», «С Моря», «Попытка комнаты», «Поэма Воздуха», две части трилогии «Тезей»: I ч. «Ариадна», II ч. «Федра», «Новогоднее», «Красный бычок», поэма «Сибирь». Переводы на французский язык: «Le Gars» (перевод моей поэмы «Молодец» размером подлинника) с иллюстрациями Н. Гончаровой, переводы ряда стихотворений Пушкина, переводы русских и немецких революционных, а также и советских песен. Уже по возвращении в Москву перевела ряд стихотворений Лермонтова. Больше моих переводов не издано.

Проза: «Герой труда» (встреча с В. Брюсовым), «Живое о живом» (встреча с М. Волошиным), «Пленный Дух» (встреча с Андреем Белым), «Наталья Гончарова» (жизнь и творчество), повести из детства: «Дом у Старого Пимена», «Мать и Музыка», «Черт» и т.д. Статьи: «Искусство при свете совести», «Лесной царь». Рассказы: «Хлыстовки», «Открытие Музея», «Башня в плюще», «Жених», «Китаец», «Сказка матери» и многое другое. Вся моя проза – автобиографическая.

<<Январь 1940, Голицыно>>

Октябрь В Вагоне (Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны, 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<<ережа>> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

Письмо в тетрадку

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась*. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ах! – 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы всё остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую

площадь, про горы трупов. В с<<оциал>>-р<<еволюцион-
ной>> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) –
что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о
бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела,
как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в
2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души?
Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня
все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот
что-то случится, и не было ни газет, ничего. *Что это мне
снился, что я проснусь.*

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, рас-
тягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, ку-
пить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театраль-
ные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бу-
маги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю до-
рогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все
смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут?
Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж,
к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, черно-

бородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне — вот всё эти отребья красные да свободы похабные — не что иное будет, как сомущение Антихристо-во. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, — жизнь-то серая, баба-то сивая. „Черт, шут“... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»...

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. — «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь)... «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит)... «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, — лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». — «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» — «Не знаю, как доеду». — «Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену — идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» — «Двадцать три». — «Ну, видите! А вы еще волну-

етесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену... Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену»... (Я, мысленно: «в том-то и дело!»): Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь.)

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва.) Мастеровой – оплот, и почему-то мне чудится, что он *все знает*, больше – что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно *оттого, что враг* меня (С<<ережу>>) спасет. – Уже спас. – И что нарочно сел в этот вагон – оградить и обнадежить – и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру). Боюсь услышать.

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. –

Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется?) Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то *сквозь*, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено?) Заставы чуть громыхают: кто-то не сдается.

Ни разу – о детях. Если С<<ережи>> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<<ережи>>.

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская¹. Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «*volière*»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, на-вытяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу». – «Никого по ночам пускать не велено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают.) «Мы вам не слуги». – «Я заплачу».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, кото-

¹ Есть еще на Арбатской площади (*примеч. М. Цветаевой*).

рыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.

– Да что ж, барышня, отпустите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до... Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать... нужно пятьдесят... Где же возьму, если...

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

– Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерами, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы... Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

– Что вам нужно?

– Я только что из Крыма и хочу к своим.

– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врывать!

– Я хочу к своим.

– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

– А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

– А вы – кту?

– Мы домовая охрана.

– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывало! – седьмая.

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение *шкур*.)

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!»

Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната?

И, через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и...

В вечер того же дня уезжаем: С<<ережа>>, его друг Г<<ольц>>ев и я, в Крым.

Кусочек крыма

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<<олошина>> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса В<<олошина>> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<<ереже>> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни.

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

С Г<<оль>>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов ново-

рожденных, до ваших буржуазий разлагающихся... У нас уразб, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек...

Мы – вне, мы – над, мы давно. Вам – быть, мы – прошли. Мы – раз навсегда. Нас – нету.

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

– Брешко-Брешковская – тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

– Сгубить больше бедного классу и самим опять блаженствовать!

– Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают. Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

В вагонном воздухе – топором – три слова: буржуй, юнкеря, кровососы.

– Чтоб им торговля была лучше!

– У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая, лежалая.

– Что крестьянин, что князь – шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!)

– А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

– Бог, товарищи, первый революционер!

– Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет! (Прапорщик из Керчи.)

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конечно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями – прыг, а вы на него тем мужским духом – пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, – а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю-бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто – за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, – мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру.)

Мой защитник – другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так...»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стало быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

– «Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.)

– Молчание. —

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь каждый рад не только дом, что ли, деньги – себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время – другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали – для спасения души. А теперь для спасения тела».

– Смеются, смеюсь и я. —

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со *всем* народом».

– «Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: человеческая и во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в княжестве своем и неповинен ты в низости своей»... (с некоторым подозрением:)... «А вы, барышня, не большевичка будете?» Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!» Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного классу, – и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господ и идут». (Вглядываясь, неуверенно:) «И волосы стриженные».

Я: «Это теперь мода такая»².

Внезапно ввязывается, верней – взрывается – матрос:

«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сво-

² Мода пришла позже. Для России с сыпняком, т. е. в 19 г. – 20 г., для Запада, уж не знаю с чего и с чем, в 23 г. – 24 г. (примеч. М. Цветаевой).

лочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости... Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне... (Примирияюще:) – Вот и полсапожки плохонькие»...

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая».

Солдаты грохочут.

Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: «Воздушок какой!»

Аля (4 года).

– Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,
Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки – из дому палят!

(После восстания)

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андриюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых, – всех знакомых и не-знакомых».

Москва, октябрь – ноябрь 1917

Вольный проезд

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертовой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что живи я полтораста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ<<ернию>> «для изучения кустарных вышивок» – за пшеном. Вольный проезд (провоз) в 1 1/2 пуда.)

Дорога на ст<<аницю>> Усмань, Тамбовской губ<<ернии>>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующихся. У тещи сын – красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят вся-

кими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уж три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так – человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно... (что это я все „барышня“, – положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)... оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск собирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми да не выжимай. Да-а...

А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош,

одноклассники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Из вагонных разговоров:

– И будет это так идти, пока не останется: из тысячи – Муж, из тьмы – Жена.

– А есть, товарищи, в Москве церковь – «Великаго Совета Ангел».

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты – ответ: «Я спирит социалистической партии».

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чувствуемые, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули.

Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» – и: «Ну вас совсем ко всем!»...

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорила: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот – муж подкузьмил: умер!») Словом, меня нет, – я: *при...*

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

– Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.)

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыпят чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? „Царские“ взяты – все потеряно. А расстреляют – все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной

черкеске, за гривенник зарежет мать.

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая, по зверскости, расправа.)

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

– Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»)

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) – Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch³. (Понижая голос): – Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку.

Я, робко:

– Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу...

Она, почти дерзко:

– А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно:

– Я не только золотые вещи оставила, но... *детей!*

Она, рассмешенная:

– Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): – Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической Коммуны...

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»...)

³ Обмен (нем.).

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имел такую квартиру...

– Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

– Да-а...

– А что вы читаете?

– «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

С<<танция>> Усмань Тамбовской губ<<ернии>>, где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

Крестьяне.

Шестьдесят изб – одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться».

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец...

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «сит-чику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная, – я вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почему? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин говоришь? Де-сять! И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут.

И вдруг, одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а маманька, взять, что ль? Почему, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как ж эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят.

– Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

– Поезжайте – увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи.)

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения – почти гнев!)

– Нет, я хочу сала – или пшена.

– А почему, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, вовсе не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик.)

Я, сразу робея: 1/2 пуда (Учили – три!)

– Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри,

как выстирается, весь водой сойдет.

– Сколько же вы даете?

– Твой товар – твоя цена.

– Я же сказала: полпуда.

Отлив. Шепота...

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: по-толки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее – точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне – последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)

Шепота затягиваются, терпение натягивается – и лопаются.

Встаю – и, сухо:

– Что ж, берете или не берете?

– Вот, коли деньгами бы – тогда б еще можно. А то сама посуды, какой наш достаток?

Сгребая свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

– Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь:

– Ну?

– Хочешь семь хвунтов?

– Нет.

И дальше, пропустив от ярости пять изб, – в шестую.

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено и – в последнюю секунду: «А Бог тебя знает, откудова ты. Еще беды с тобой наживешь! И волоса стриженные... Иди себе по-добру да поздорову... И ситца твоего не нужно»...

А бывает и так еще:

– Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас – дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?

...Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлюю, помянуть было.

И даю, конечно. Из высокомерия, из брезгливости, так, как Христос не велел давать: прямой дорогой в ад – даю!

За возглас: «курочки ня нясутся!» готова передуть не только всех их кур, но их самих – всех! – до десятого колена. (Другого ответа не слышу.)

Базар. Юбки – поросята – тыквы – петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и

все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь, и ухожу с ней с базару – ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» – и вот... Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: – «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.

– Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы наверное с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем *свои* два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<<ернии>>!)

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны *огромный круг*. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, –

а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мешанка – евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, *чужой* хлеб (продавать *здесь* на деньги – не хватит и коммунистической совести!)

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженная барышня. Роднее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка.)

«Не было смирнее нашего города!»

(Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает

стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячу... А иной раз – просто петуха...

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любованье.

– Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только

ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делу (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа – мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen⁴. Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены – служанка. Конечно, может статься – выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряса свои 18 ф<<унтов>> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню – и тут же – без отдыши – выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

– Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как – целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется – даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевелите!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

– Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами! (Един-

⁴ Изнутри (нем.).

ственный, в этой семье, покупной «продукт».)

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош – Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф<<унтов>> пшена, 10 ф<<унтов>> муки, 3 ф<<унта>> свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрами.

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:

– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?

– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.

– Я первая! Дурой родилась, дурой помру.

(Это теща прорвалась.)

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамы и папы веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ в таком молодом возрасте и еще

имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща:

– Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церковей одних сорок сороков, да монастырей, да...

Левит:

– Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу. (Подскок. – Выдерживаю паузу.)

...Как же, – вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид. – Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: – Еврей.

Левит, вскипая: – Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: – Кого жида убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обра-

щаясь к хозяину, любезно). – Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: – Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р. К. П., товарища Каплана.

Я: – Под портретом Маркса...

Левит: – И тем не менее вы...

Я: – И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: – А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: – Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: – Какое такое оскорбление?

Левит: – Вы изволили выразиться про идейную жертву – жид?!

Кузнецов: — Да вы, товарищ, потише, я сам член К<<коммунисти>>ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теща – Левиту: – Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом вы-

ражается, – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Хрисс-та-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений, Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

– И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расхотелся! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, – такого страма...

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша⁵, а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам, ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

⁵ «Пришли большевики! — Не стало ни хлеба, ни муки», – московская поговорка 18 г. (примеч. М. Цветаевой).

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

– Разин! – Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: *мой* Разин (песенный) белокур, – с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно и бело. А белокур – что? Белые куры? Какое-то бесхвостое слово!) Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра-зин! Заря, разлив, – рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота – гуща.

Разин – *до* бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал⁶:

– Из Москвы, товарищ? Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,

⁶ Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине (*примеч. М. Цветаевой*).

И палаты, и дворцы...

Москва – всем городам мать. С Москвы все и пошло – царство-то.

Я: – Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: – Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол – да в ответ-то ему – да кажинная на свой голос-то – да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл – уж и не знаю: чугуны ли гудят, во мне ли гудят. Как в уме порешился, – ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквях, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою

черноту пропускает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил. с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зуб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не читли, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется, – только вот разве барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрой ему черепушку: ничего, кроме копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой – так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»

Он, разгораясь:

– Жметя, мнетя, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

– Вы мне лучше про отца расскажите.

– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесятой, – это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый – вправду был?

Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.

– А вы, барышня, смелая будете.

– Как и вы.

(Смеется).

...Но вы мне про отца рассказать хотели?

– Отец. Отец мой – околоточный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)... Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы... Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит – и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос) ...*Все* судьбы знает. *Все* сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтит. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей – она, змеиной кожей и свалится»... Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.

Два Георгия, спас знамя.

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<<лей>>. Грабил банк в Одессе, – «полные карманы золота»! Служил

в полку Наследника.

– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет? Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекаатило! – ...Пойла-стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

– Попадетесь.

– Я?! – Рожа из вдохновенной делается грабительской. – Я – да попасться? Нерожён еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам!) Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) – по разинскому!

– А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,

Ночь подходит – каменную горой.
И с своей княжною...

Говорю, как утопающий, – нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер – хочешь? где сквозь дыру – самая большая звезда.

Но...

– Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

– Дэ... мэ... А вот и ять, – аккурат церковка с куполом.

– А вы сам деревенский?

– Сло-бодский!

– А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу – про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, – отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того – город схоронен: с церквами – с башнями, с база-рами – с амбарами (Внезапная усмешка). А каланчи пожарной – не надо: кто затонул – тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста сйре-бра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за гра-дом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь – непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни – пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей ПомогИ – отрубите мне руки и но-ги!» Слышит – уж недалече рать: топотб великие. Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол'кола взыграть: татарам на омерзение, Гос-поду Богу на прославление. Ну – и постарались тут звонари-ки! Меня вот только, молодца, не было... Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная – дрогом пошла!

И поструились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пу-ще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни прой-ти – ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду

ушли, только князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ – другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку – вода по грудь – стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

– Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел – никто не слышал! И городу того боле – никто не видал!

Ворвались татары в ворота – ровень-гладь. Одни струйки маленькие похлипывают...

Так и затонул тот город в собственном звоне.

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенок на память – серебряный —я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, прощ: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.

Перстенок бери без думы: было десять – девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего – на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты – озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры – при мне.

– А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, – в ней весь московский звон!

(«Москва», издание Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. – Сокровищница!)

– Ну а как в Москве буду – навестить можно? Я даже имени-отчества вашего не спросил.

Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): – Дайте книжечку, запишу⁷.

Потом на крыльце провожаю – пока глаз и пока души...

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

– М<<арина>> И<<вановна>>, сматывайтесь – и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вы-

⁷ Больше никогда его не видела (примеч. М. Цветаевой).

вез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, – одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне – так уж безо всяких: – «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». – Такие дела!

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слезка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет, – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<<арина>> И<<вановна>>, за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой свер-

ху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<<унтов>>. В общем, около 2 п<<удов>>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!) – Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: *бас*. Первый после Шаляпина (Подумав):
...Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем...?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не

жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты...

– А-ах! (Внезапно усумнившись): – Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: – Тайная командировка! (Подскок. Глоток воздуха и, оправившись):

– Так значит вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а?

Я, снисходительно:

– Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут...

Она:

– О, вы абсолютно правы! – И рискованно. – А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени...

Я, покровительственно:

– Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то, чтобы груды, а все-таки...

Она, в горячке:

– И по сходной цене уступите?

Я, царственно – По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки):

– Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: – Москва, Лобное место, – это площадь такая, где царей казнят – Брутова улица, переулок Троицкого.

– Ах, уже и такой есть?

Я: – Новый, только что пробит. (Стыдливо): Только дом не очень хорош: №13, и квартира – представьте – тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: – Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от центра?

– В самом Центре: три шага – и Совет.

– Ах, как приятно...

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

– Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

– Встретимся, встретимся.

– И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские, – надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

– Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж, – всегда к вашим услугам. Только непременно известите, что-

бы на вокзале встретили.

Она: – О, Иося даст служебную телеграмму.

Теща на воле:

– М<<арина>> И<<вановна>>, что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

– Как же! Чертова площадь. Бесов переулочек, ищи ветра в поле!

(Смеемся.)

Дорога.

Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки – по колено. Помощь N отвергаю, – человека из-за мешков не видно! Тригорбый верблюд.

Иду – скриплю. Скрипит и корзинка – правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипывание. Около 1 п<<уда>>. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой – с корзинами! Мука, которая рифмуется только с одним: мешок! В этих корзинках – вся русская интеллигенция!) Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это – сон. Ведь во сне наоборот, значит... Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться... вместе с рукой. Или: в корзине вместо муки может оказаться... нет, похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: *сон*. (Не оттого ли я так *мало* негодную в Революции?)

– Да подождите же, говорят! Мешок прорвался!

Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное лицо.

– Ну булавка-то у вас хоть есть – аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает:

– И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чуюло мое сердце! (Мешку): – Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой – глаза выколола!

– Завтра, завтра, мамаша! – торопит Колька, – нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

...Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон». А у какого-то очаровательно англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы – охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у этих). Несу его *тем*. А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро

Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к —

Ну, М<<арина>> И<<вановна>>, крепитесь! С полверсты осталось!

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге — одно.

Расплетется — конец.

Когда больно — нельзя заново.

Так или иначе — станция.

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля — как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

— Что?!

Н, с усмешкой: — Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда — снопами, сейчас мешками (Быт, это мешок: дырявый. И все равно несешь).

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

— Господа!

– Москву объели, деревню объедать пришли!

– Ишь натаскали добра крестьянского!

Я: – N: – Отойдем!

Он, смеясь: – Что вы, М<<арина>> И<<вановна>>, то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты – их и неправоты – своей.

Платформа живая. Ступить – некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, – мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи... Морщины, овчины... Не мужики и не бабы: медведи: *оно*.

– Последние пришли, первые сядут.

– Господа и в рай первые...

– Погляди, сядут, а мы останемся...

– Вторую неделю под небушком ночуем...

У-у-у...

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. *Наши!* В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

– Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем!

Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревуще, вопиюще, взывающе

и глаголюще – завалы платформенные.

– Ребенка задавили! Ре-бенка! Ре —

Лежачая волна – дыбом. Горизонталь – в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

Я – через всех – Разину:

– Ну? Ну?

– Ус-пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

– Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

– А это что ж, а? Это что ж за птицы – за синицы? Штыка-ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа-ать?

– А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где – не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

– Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немислимо.

Мне быть выброшенной – другим раздаться. А раздаться – разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше – некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности – полное ощущение потери тела. Я, это то, что движется. Тело, в столбняке – оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

– Господа-а-а... О-о-о... У-у-у...

Но... нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога – раньше... Вот, когда найду ногу... И, о радость: находится! Что-то – где-то болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно) – моя насущная праведная вторая нога.

И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит!

Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<<ернии>> – последний привет!

Москва, сентябрь. 1918

О любви (Из дневника)

1917 г.

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

Благородство сердца – оргбна. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

Сердце: скорее оргán, чем орган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте

себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он *может войти в комнату*.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, невысказанная, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, все-

гда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

...Взгляд твой зорек...
Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

– ...И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккуратно Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.

Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Каждый раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шестнадцать...

(Рассказ няньки.)

– А у меня муж, милые: бы-ыл!!! Только и человекского, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие. .. – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: „Я уезжаю надолго, навсегда“, – или: „Мне кажется, я Вас больше не люблю“, – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет,

нельзя спать спокойно.

Все нерасказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – *длится*. То же о любви.

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)

– «Только живите!» Я уронила руки,

Я уронила нб руки жаркий лоб...

Так молодая Буря слушает Бога

Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.

И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.

(Nachhall, отзвук.)

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности,

Что же уцелело? – Всё.

Лучше потерять человека *всем собой*, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность *быть* – буре.

Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.

«Старуха... Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый... „юниформ“, а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера: ...»объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю...»

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна *думать* (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына... Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

О Песни Песней:

Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно и смешно.

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – вклю-

чая.)

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «*Amitié amoureuse*»⁸) – *моя* формула:

«*Le remariage est un adultère posthume*»⁹.

– Вдохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «*amoureuses*».

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

⁸ «Любовная дружба» (*фр.*).

⁹ Второй брак – это посмертный адюльтер (*фр.*).

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

(Бальмонт.)

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

Ночной разговор.

Павел Антокольский¹⁰: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

¹⁰ Поэт, ученик Студии Вахтангова (примеч. М. Цветаевой).

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет...

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, *она* не разлюбит. *Он* ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме! Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»¹¹! Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo... Нет, у всех лучше...

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха... Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

¹¹ Горизонтальным ремеслом (нем.).

Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

Я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам... А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

Насыщенный раствор. Вода *не может* растворить больше.

Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор.

Я – не бездонный чан.

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

1918 г.

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»»

Женское: – Да!

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой

воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко. Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной «нелад», жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Тут, дружок, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат... (сын, отец...)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся *право интонации*.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в *моих* случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!

– «Как она Вам нравится внешне?» – А *хочет* ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, очастливленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit¹²).

Письмо о Лозэне¹³:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю „любви“, потому что не знаю, не даю себе труда знать... (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)

Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и наочно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не сказали бы... если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно. – ему ничего не угодно.)

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, вос-

¹² С досады (*фр.*).

¹³ Герое моей пьесы «Фортуна» (*примеч. М. Цветаевой*).

торга – любование, участия – сочувствие. Взамен *присутствия* страсти – *отсутствие* бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не *знал*».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят... Я не знал, что так сразу умирают...»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть, у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чужая то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. *Objet de luxe et d'art*¹⁴ – и горе вам, если это *objet de luxe et d'art* станет вашим хлебом насущным!

– Невинность, невинность, невинность!

– Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности...

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этом раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.

Москва. 1918 – 1919

¹⁴ Предмет роскоши и искусства (*фр.*).

Из дневника

Грабеж

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы: «Какая смелая! Одна – в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить, – и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сеней выталкивают в стаю волков.)

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба – так младшая жена жалуется в гареме – старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря – никому – на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке, – пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти – Бахчисарайский фонтан! Подставляю лицо – луне, слух – воде: двойное струенье

Луны, воды
Двойное струенье...

Струенье... строенье... сиренью... стремление... (Какое

вялое слово! Пустое. Не чета – стремглав.)

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно поднимают глаза. Не живет тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы – ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250! подарок) – и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор, – вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заносу ногу через железку ворот (ночью ход со двора) – как из-под навеса крыльца: – Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки – лихой вихор. Рус. Веснушки.

– Оружие есть?

– Какое же оружие у женщин?

– Что это у вас тут?

– Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим: новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et mon droit¹⁵), кошелек, спички.

– А вот еще гребень, ключ... Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

¹⁵ «Бог и мое право» (фр.).

– А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

– А у вас документ – есть?

– Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит – белый, а я почему-то всегда думала, что черный, *видела* черным. Револьвер – смерть – чернота».)

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

– Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душиите.

– А вы не кричите!

– Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой – последнее, «Товарищи!» – это я слышу уже за спиной, занося ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переуллка ходили взад и вперед какие-то люди.)

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 рублей), новый чудный портсигар (вот оно, *droit* без *Dieu!*), цепь с лорнетом,

папиросы. В общем, если не по-божески – по-братски.

На следующий день в 6 часов вечера, на М<<алой>> Молчановке его убили! (Напали среди светла вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину.) Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как – я, живая (то есть – счастливая, то есть – богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть – предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

Расстрел царя

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу».)

Покушение на Ленина

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папаше. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые.) Задыхается.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<<ак>>с, забегая в кухню:

– Ну что, довольны?

Туплю глаза, – не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<<ак>>с – первый)... Уже – великодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры... (новая судорога)... с вашими Наполеонами и Цезарями... (сатанинская усмешка)... а для нас, знаете.

Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза.
И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете для Али?

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя.)

Чесотка

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется. Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается – нарыв. Бывает только по вечерам.

На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы – поцелуи!)

И вот недавно – в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением спрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается – и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

– Абраша, наверное, у тебя самого чесотка!

(«Чесотка» в ее представлении, очевидно, – сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки.)

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже целуется. Гость противен – буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость – трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка – мерзость. И, учитывая все, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю – но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями: тебе, чесоточному, уверенность в моей благосклонности и посему

(учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не чесоточной, – чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

Fräulein¹⁶

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – спуют, безнадежные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое... Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fräulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

– Guten Tag, Fräulein!¹⁷ – испуганный взгляд. – Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

И она озабоченно:

– Цветаева? Куда же я вас посажу? – И, останавливаясь: – Да куда же я вас посажу?

– Ну, тетка, проходи, что ли!

Не вынесли – немецкие мозги!

¹⁶ Барышня, девушка (нем.).

¹⁷ Добрый день, фройляйн! (нем..).

Ночевка в коммуне

Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия – путь твой высок...

За белой гвардией – еще белая гвардия, за второй белой – третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху», – словом, когда опоминаюсь – 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

Ночевать мне здесь нельзя – «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю – смеюсь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

– Маринушка!

– Да?

– Вы серьезно собираетесь спать на улице?

– Совершенно.

– Но ведь это же...

– Да, очень, но...

– Тогда идемте к нам, в коммуну.

– Но, может быть, вам неудобно?

– Отчего? У меня отдельная комната.

– Тогда – спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB! Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме – авантюра все-таки – первое!)

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, еще через несколько комнат – пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, заворачивая, образует крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно – цельного стекла – если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлтая. Для долгих лежаний, для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу – кровать!

– Вот здесь вы будете спать, Маринушка.

– А вы?

– А я на диване, в кабинете.

(Кабинет, очевидно – сам крюк.)

– Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансиона! А собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым

наглым образом спала у меня на голове... Честное слово!

– Но вы не в пансионе, Маринушка!

– Не напоминайте мне, дружочек, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

– А вы?

– Я уже ужинал.

– Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, спрашивает о моей жизни.

– Вам очень трудно живется?

Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

– Маринушка, Маринушка... Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу... Как все это ужасно!

Я:

– Да уверяю вас...

Он, думая вслух:

– Может быть, удастся достать немножко пшена...

(И беспомощно):

– А уехать на юг – совсем невозможно?

(Ответственный работник!)

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что... но сле-

зы уже текут, и он, испуганно:

– А вести с Юга у вас, по крайней мере, не плохие?

Сплю, конечно, на кровати, – ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще перекликаемся.

– Н! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это – гостиница, сейчас 1912 г., выгляните, – живая, школьная, ночная Вена... и «Wienerblut»¹⁸...

И он, протяжно:

– Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!). Пишу записку Н. Осторожно открываю дверь и – о, ужас! – огромная двухспальная кровать, и на ней – спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку...

– Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина – всклоченная голова, расстегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

– Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

– Но, товарищ!..

– Ради Бога, извините. Я не думала, что... Я думаю, что...

Я, очевидно, не сюда попала...

И, не пережидая реплики, исчезаю.

¹⁸ «Венская кровь» (нем.).

(NB! Именно – *сюда!*)

Потом слышала от N.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуну, – это попасть в чужую спальню, единственное – вопреки всем призывам г<<оспо>>жи Коллонтай и К^о – у коммунистов – некоммунистического – «Plus royaliste que le Roi!»¹⁹

(Пометка весной 1923 г.)

¹⁹ Более роялист, чем король! (*фр.*).

Воин Христов

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Выходим, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно ушами слышу:

– ...Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том проведаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня и ночи – все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горь, с знаком молитвы, посмотрим – дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится – что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

– ...Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами... Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спроне, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите

в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет
Господь! Итак, дорогие братья...

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»

Москва. 1918 – 1919

О благодарности (Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от кла-весина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бро-силась к нему и подняла его, – он сказал: «Celle-je l'eprouserai», и, когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance»²⁰.

Сколько она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – ку-тил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reine!»²¹ когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем ли-чинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоя-щий лик.

(Благодарность.)

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться слу-чайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

²⁰ Я на ней женюсь... Из благодарности (*фр.*).

²¹ Из благодарности – «Да здравствует королева!» (*фр.*).

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: платная любовь.

Я слишком чту людей, чтобы оскорблять их платной любовью.

Оскорбительно для меня, следовательно и для другого.

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предreshала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!) Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену... если не накипь.

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне может быть даже не будет места.

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я может быть стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например. Блока) не есть сущность (Блок).

Сущность – умысел, слышна только слухом.

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

Ем ваш хлеб и поношу. – Да. —

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, *глядящая* в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мя-

сом, дядю с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку – к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии)²², – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви *за* – к великой любви *вне* (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к *любви в себе*.

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор.)

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодар-

²² Отсюда – вся я (примеч. М. Цветаевой).

ность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – *дать* – неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за приставки: *мне*.

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, – вот что!)

Хлеб – разве это я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть *не ему*. Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с *моей* (или *моей*) души.

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод) – странно требовать одному куску мяса от другого куска мя-

са... благодарности.

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

Дать, это не действительность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следовательно (у меня его нет) у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе). Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали кому *мы* хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, *кто* хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

– Так зачем же мне тебе давать?

– Чтобы не быть подлецом.

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегаая: – «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет *там*. Поэтому все, возникающее из дать и взять – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет...

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара!) Богатые ограничиваются минутной заминкой докторского гонорара.

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

...Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смушение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает,

ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

Дать, это настолько легче, чем брать – и настолько легче, чем *быть*.

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной), только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

Благотворительность. Поликратов перстень.

Дар нищего (кровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И – память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

– Гадательный материал.

Москва, июль 1919

Отрывки из книги «Земные приметы»

Таинственная скука великих произведений искусства, – одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфония», – это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, читателей, попечителей, толкователей...

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности – следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда – абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший – великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна – Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, – все, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относи-

тельность: вежи к Творцу.

– Но это уничтожение искусства!

– Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь *абсолюта*, иди к Венере Милосской, Мадонне – Сикстинской, Улыбке – Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите – просто, Марии – просто, Улыбке – просто: минуя толкование – к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними – твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир – давать ответы, не застывая в блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым – да, но уметь и встать: припав – оторваться, пропав – воскреснуть.

Коленопреклонись – и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

В этой *отбрасывающей* силе и есть главная сила великих

произведений искусства. Абсолют отбрасывает – к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота, – еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой – *не быть*.

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

Дочь, у которой убили отца – сирота. Жена, у которой убили мужа – вдова. А мать, у которой убили сына?

Всегда крещусь, переезжая через реку. Подумать не успеваю. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, значит – была.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

«Я вас не оставлю!» Так может сказать только Бог – иди мужик с молоком в Москве, зимой 1918 г.

Я и Театр:

Я принадлежу к тем зрителям, которые, по окончании мистерии, разрывают на части Иуду.

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение... я хотела написать: пространства. Нет, времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно.)

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Der rechte Mann —
Das rechte Wort²³.

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург...» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не сомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: *без меня?!*, а: *сам по себе?!* (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

Когда я ухожу из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»... Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это

²³ В то самое время, В том самом месте, Тот самый человек – То самое слово (нем.).

не самомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто...

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи, – глухие Геркуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игралищем мне служившие – застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели *стоит*?

Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели *растет*?

Повторяю, это не самомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую... и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ... но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ – Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет...

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

...Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

и – дальше:

Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди...

Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой.

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, староверов в ущерб Петру... Самое обратное себе – в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) – из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, -любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию – портрету, крепостное право – просто – праву, капусту – розе, Марфу – Марии, длиннобородых – Петру!

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть пра-

вой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои права на существование – и стоит.

(NB! Действенность гонимых идей и людей!)

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч – в правду. И вот она вся идет по этому лучу. Обнаруженная и покаранная вина уже становится бедою, ответственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач – наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник палач (или судья, равно!). Недопролитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни – секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови – уже вступление во владение... и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва – брачующиеся; вместо невидимого Бога – невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.)

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда – перебежчица.

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это – быть инструктором?»»

Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка:
«Совсем не трудно! Встанешь на мусорный ящик – и кричишь, кричишь, кричишь...»

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате.)

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».)

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыв – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покровов голоса – он гол.

Поэт всегда замечает следы. Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт *не может* декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединенный, подмости для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для *успеха*?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! —

Актер – другое. Актер —вторичное. Насколько поэт – être²⁴, настолько актер – paraître²⁵. Актер – упырь, актер – плющ, актер – полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович (а все они – Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом. Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он *быть*? А какое жалкое зрелище: остров – и актер!

Актер – для других, вне других он невыносим, актер – из-за других. Последнее рукоплескание – последнее биение его сердца.

Дело актера – час. Ему нужно торопиться. А главное – пользоваться: своим, чужим, – равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка – все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о се-

²⁴ Быть (*фр.*).

²⁵ Казаться (*фр.*).

бе говорю и не за себя: Психею!)

Нет, господа актеры, наши царства – иные. Нам – остров без зверей, вам – звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

(Исключение для: певцов, поработанных стихией голоса, растворяющихся в ней, – для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, *понял – и пребыл.*)

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке:

«Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, в данный час, быть Крезом.

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!)

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза –

Glas... И еще glas des morts²⁶... (Неужели от этого?)

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»... Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся *оттуда*: мертвый к живым, и Орфей, спускающийся *туда*: живой – к мертвым... Разверстая яма и Елисейские поля. – Ах, ясно! – Лазарь *оттуда* мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп.)

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы – странная переключка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь...

²⁶ Похоронный звон (*фр.*).

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

В Комиссариате: (3 М).

– Ну, как довели картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, 1/3 картошки, 1/3 муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери.

У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Арбата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский, Керенский, денно и ночью глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не смотрит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара *Марса*, с 12-ти до 2 часов дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок: Марс не ревнив.

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матью.

(Сейчас, в 1923 г. ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

– Просто «знакомым».)

(Вторая пометка:

Не корректность, – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает.)

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба...

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми.

Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клет-

чатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

Кривая вывозит, прямая топит.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монплэ-зир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое, – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя правая нога захочет...», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые не хочу, все исправленные попытки хотеть, – это последний итог.

Мое «не могу» – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что во-

преки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная воля. Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen²⁷: руки,двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о *кротком* не могу.

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

Да будет мое *не хочу* – не могу: великим и последним не

²⁷ Деяния (нем.).

хочу всего существа. Будем хотеть самых чудовищных вещей. Ноги, ступайте! Руки, хватайте – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу *мочь?* (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь.

– Формула. —

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!» Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающиеся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в ка-

шу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

– Познай самого себя!

Познала. – И это несколько не облегчает мне познания другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

Я не думаю, я слушаю. Потом ищю точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь. И как часто: стучишь, – глухо!

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!)

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – при-
пбсть! Всегда пропбсть! (В пропасть.)

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мерт-
вый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напо-
минает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с любовью.

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой.
Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в
собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди,
потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаим-
ная любовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет.
Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты.
Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.) Единовременный
и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души X в соб-
ственной груди, где Z, и души Z – в собственной груди, где X.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне жи-
вешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты
во мне», это все-таки *я* и *ты*, это не двое стали одним. Двое
стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом.

Двое – одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы другой *был*.

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, – при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

Наш захват другого – только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его – с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое – все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого. Только не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности – от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата – это последний отказ, дающий последнюю власть.

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся – вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания – ваш первый шаг к победе, день их погребения – ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте.)

Любовь для меня – любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь – и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?)

Ответ в любви – для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

У нас на кухне ночует мальчик, сын бабы, которая возит нам молоко.

– «Не думалось мне, что придется мне на пружине ночевать!» От этого «на пружине» у меня сжимается сердце.

– Вот тебе и ненависть к простонародью!

Вчера, в Охотном, один мужик другому:

– Ты не охай! Нынче год-то такой – девятнадцатый!

– Ну что, – Москву навещаешь?

(Как больного.)

Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэто-

му, в самоубийстве, тело – единственный герой.

Самоубийство: lâcheté²⁸ души, превращающаяся в героизм тела. То же самое, как если бы Дон Кихот, струсив, послал в сражение Санчо Пансо – и тот повиновался.

Героизм души – жить, героизм тела – умереть.

В православной церкви (храме) я чувствую тело, идущее в землю, в католической – душу, летящую в небо.

Стихи и проза:

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе – некая природная мера плоти: меньше нельзя.

Две любимые вещи в мире: песня – и формула.

(То есть, пометка в 1921 г., стихия – и победа над ней!)

Я не стою ни за одну свою земную приметку, то есть: в слове «земные приметки» я «земные» (вещественность) усту-

²⁸ Предыдущий отрывок о несуществующих на русском языке словах – пропущен. «Lâcheté», напр<<имер>> , смесь трусости и низости, не одна трусость (примеч. М. Цветаевой).

паю, примету (смысл) – нет.

Я не стою ни за одну свою земную примету в отдельности, как ни за один свой отдельный стих и час, – важна совокупность.

Я не стою даже за совокупность своих земных примет, я стою только за право их на существование и за правду – своего.

Гениальный совет С. (сына художника). Как-то зимой я жаловалась (смеясь, конечно!), что у меня совсем нет времени писать. – «До пяти служба, потом топка, потом стирка, потом купанье, потом укладыванье...»

– Пишите ночью!

В этом было: презренье к моему телу, доверие к моему духу, высокая беспощадность, делавшая честь и С. и мне. Высокая дань художника – художнику.

Влияние коненковского Стеньки Разина на умы. Солдат, проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату:

– Его бы раскрасить!

На унылом заборе где-то вквивь от Храма Христа Спасителя робкая надпись: «Исправляю почерк».

Это почему-то – безнадежностью своей! – напоминает мне мою распродажу (чтобы уехать на юг).

Эпиграф к моей распродаже:

У Катеньки резвущки
Все сломаны игрушки:
Собачки без носов,
Барашки без рогов.
От чайного прибора
Наверно, очень скоро
Не будет ничего...

Да ничего и нету!

Поломаны, для примера: швейная машина, качалка, диван, два кресла, Алины два детских стульчика, туалет... У мраморного умывальника не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, от лампы-молнии – одни молнии, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручки без ножек...

А рояль глухой на обе педали! А шарманка красного дерева – впрочем, никогда не игравшая! (В первую секунду обмолвилась было двумя тактами «Schlittschuhläufer»²⁹ – и замолчала, то есть зарычала так, что мы замолчали!) А три беличьих клетки – без белок и без дверок! (Запах остался.) А детская ванна с свороченным краном и продавленным боком! А большая цинковая, зазеленевшая как затон, безнадёжная как гроб! А Наполеоновские гравюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, ежесекундно

²⁹ «Конькобежцев» (нем.).

грозящие смертью! А мясорубка, а ролики, а коньки!

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юнкера. И те и другие по молодости, горячности: жару сердца и рук. Нянькам надоело сидеть с ребенком, и они крутили граммофон, юнкерам надоело твердить устав – и они крутили машинку.

Но не юнкера и не няньки, как сейчас – не большевики и не «жильцы». Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная легкомысленным отношением, мстит: разлагается. Вот история моего «быта».

Плотогоны! – Слово из моего детства! Ока, поздняя осень, стриженные луга, в колеях последние цветочки – розовые, мама и папа на Урале (за мрамором для музея) – сушеные яблоки – гувернантка говорит, что ей ночью крысы отъели ноги – плотогоны придут и убьют...

По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марюшка, старая прислуга Сонечки Голлидэй, недавно спрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли: «а то – неровен час...»

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых (девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом.

Карусель:

В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями – жизнь.

Карусель! – Волшебство! Карусель! – Блаженство! Первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!

Семь вершков от земли только – но уж нога не стоит! Уж *возврата нет!* Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг —

Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей! Источник звука скрыт. Сев – ничего не видишь. В карусель попадаешь как в смерч.

Геральдические львы и апокалипсические кони, не призраки ли вы зверей, коими Вакх наводнил свой корабль?

Хлыстовское радение – круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе... Карусель!

Обожаю простонародье: в полях, на ярмарках, под хоругвями, везде на просторе и в веселье, – и не зрительно: за красные юбки баб! – нет, любовно люблю, всей великой верой в человеческое добро. Здесь у меня, поистине, чувство содружества. Вместе идем, в лад.

Обожаю богатых. Богатство – нимб. Кроме того, от них никогда ничего не ждешь хорошего, как от царей, поэтому просто – разумное слово на их устах – откровение, просто – человеческое чувство – героизм. Богатство всё утысячает (*резонанс нуля!*). Думал, мешок с деньгами, нет – человек.

Кроме того, богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, поэтому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком «униженно».

Кроме того, клянусь и утверждаю, богатые добры (так как им это ничего не стоит) и красивы (так как хорошо одеваются). Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, надо быть богатым.

Таинственное исчезновение фотографа на Тверской, долго и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских работников.

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, источник молитвы не страх, а восторг.

На Смоленском хлеб сейчас 60 р<<ублей>> фунт, и дают только по 2 ф<<унта>>. Того, кто хитростью покупает больше – бьют.

Я неистошимый источник ересей. Не *зная* ни одной, исповедую их все. Может быть и творю.

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

Самое ценное в стихах и в жизни – то, что сорвалось.

Простонародье никогда не заблудится в городе. Звериное и дикарское чувство места.

Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как люди, и люди, как любовь.

(Чинятся: вещи – ремесленниками, люди – врачами, ну а любовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поездками, премьерами. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий.

Мало ведь Тристанов и Изольд!)

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. Вне глаз и молвы. Их никто не видел и о них никто не слышал. Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них ничего не было. На них ничего не было. Под ними ничего не было. Над ними ничего не было. За ними – ничего,

перед ними – Ничто. Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист назывался ты. Ты называлось я. Небытие в пустоте. Фон – как отсутствие, и отсутствие – как фон.

И – любили.

Все мои жалобы на девятнадцатый год (нет сахара, нет хлеба, нет дров, нет денег) – исключительно из вежливости: чтобы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть. И все жалобы, в моем присутствии, на девятнадцатый год – других («Россия погибла», «Что сделали с русским языком» и пр.) – исключительно из вежливости: чтобы им, у которых ничего не отнято, не обидеть меня, у которой отнято – всё.

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страхов потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?

Думаю, что боязнь толпы можно победить исключительно самоутверждением, в девятнадцатом году, напр<<имер>>, выкриком: «Долой большевиков!»

Чтоб тебя отметили – и разорвали.

(NB! Боязнь толпы – боязнь смерти через удушение. Когда рвут – не душат.)

Высокая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. Свысока мерить и высокий мерой. Нечто вроде очень редкого решета: маленькие мерзости, как и маленькие добродетели – проскакивают. Куда? – Dans le néant³⁰. Высокомерие, это полное отсутствие мелочности. Посему – очень выгодное свойство... для других.

О коммунисте:

Вчера, у моей приятельницы:

– Ведь Вы не бреетесь, – сказал коммунист, – зачем Вам пудра?

Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный певучий голос.

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже – невероятная программа!»

Коммунист, певуче: «А что такое Эрмита-аж?»

Ах, сила крови! Вспоминаю, что моя мать до конца жизни писала: Thor, Rath³¹, Theodor. – из немецкого патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 36-ти лет.

– Я с моим *ять*.

³⁰ В небытие (*фр.*).

³¹ Thor – ворота, Rath – совет (*нем.*).

Вчера в гостях (именинный пирог, пенье, огарок свечи, рассказ о том, как воюют красные) – вдруг, разглядывая ноты:

Beethoven – Busslied

Puccini – то-то

Marie-Antoinette – «Si tu connais dans ton village...»³²

Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, а Вас посадили в крепость и отрубили Вам голову. И Вашу музыку будут петь другие – счастливые – вечно!

Никогда, никогда, – ни в лукавой полумаске, в боскетах Версаля, об руку с очаровательным mauvais sujet d'Artois³³, ни Королевой Франции, ни Королевой бала, ни молочницей в Трианоне, ни мученицей в Тампле – ни на тачке, наконец, – Вы так не пронзали мне сердца, как:

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village...»
(Paroles de Florian)

Людовик XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе («Fraîche comme une rose»³⁴ и дуре); Наполеон – на Марии-Антуанэтте (просто Розе!).

Авантюрист, выигравший Авантюру, – и последний кри-

³² Мария Антуанетта – «знаешь ли ты, в твоей деревне...» (*фр.*).

³³ Шалопаем д'Артуа (*фр.*).

³⁴ «Свежей, как роза» (*фр.*).

сталл Рода и Крови.

И Мария-Антуанэтта, как аристократка, следовательно: безукоризненная в каждом *помысле*, не бросила бы его, как собаку, там, на скале.

Москва, 1919

Чердачное (Из московских записей 1919/1920 г.)

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<<ереже>>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<<ет>>, Ирине 2 г<<ода>> 7 м<<есяцев>>) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Серезиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Серезины золотые часы «élève de Bréguet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<<ысяч>>, т. е. 1 1/2 пуда муки.) То же с детскими весами. (Шарль же.)

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<<оспо>>жа Г<<ольд>>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<<вягин>>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р. С. Т<<умар>>кин, брат г<<оспо>>жи Ц<<ет>>лин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. —

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда.) Его слова: «я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не

знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой!)

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем хлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – выдул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносятся, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка – не жить. Угли – мучка от пилы – лужи... И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<<ольдма>>нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка – чужие, мое все украдено.)

Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<<оспо>>жи Г<<ольд>>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему: «Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.)

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу

кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываю – или Аля или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions³⁵ на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни *постоянных* ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: каждый взвизг

³⁵ Взлет (*фр.*).

чужой пилы, каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье чужой двери, каждый шум во дворе, – все, кроме стука в нашу дверь!) И – вдруг – кажется стучат – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать *только день*.

Мы с Алей:

Аля:

– Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<<жунков>>ский!)

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смеш-

ная. Иссохший цветок, – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, – только вот-вот рассыплется... Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под вострым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас... И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен, – камзол, шпага...

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова!

(Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс».)

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»³⁶? Ее последнее слово, – вздох, вернее! – с которым она умирает? —

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала:

Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее, круглое, воплощение – острое, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

³⁶ Пьеса, которую я не дописала и потеряла (примеч. М. Цветаевой).

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза.) И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

– Аля! Какая прекрасная вещь – сон!

– Да, Марина, – и еще: бал!

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень...

Вот если бы – все здание!

Аля, перед сном:

– Марина! Желая вам всего лучшего, что есть на свете.

Может быть: что еще есть на свете...

Если эта зима пройдет, я действительно буду *fort comme la mort*³⁷ – или просто *morte*³⁸ – без *fort*³⁹ – с *e-muet*⁴⁰ на конце.

³⁷ Сильна как смерть (*фр.*).

³⁸ Мертвая (*фр.*).

³⁹ Сильный (*фр.*).

Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры – желе – пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть.

О, «Wahrheit und Dichtung»⁴¹! И останавливаюсь, ибо в этом возгласе столько же восторга, сколько неудовлетворенности. Гёте захотел одновременно дать историю своей жизни и своего развития, и это у него не слилось. Целые места, точно вставленные – «hier gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen X-Y-Z»⁴² – и так десятки страниц подряд. Если бы он впледел этих «treffliche Gelehrte»⁴³ в свою жизнь, заставил бы их входить в комнату, двигаться, говорить, не получалось бы местами такой схематичности (нарочитости): вот человек вздумал отблагодарить всех, кто способствовал его развитию – и перечисляет. Не скучно, – все значительно, но сам Гёте как-то уходит, уже не видишь его черных глаз...

Но зато – о Господи! – прогулки, мальчиком, по Франкфурту, – дружба с маленьким французом – история с художником и мышью – театр – отношения с отцом – Гретхен («Nicht küssen, s'ist was so gemeines, aber lieben, wenn's

⁴⁰ Окончание женского рода.

⁴¹ «Поэзия и правда» (нем.).

⁴² Здесь: я с благоговением вспоминаю некоего X-Y-Z (нем.).

⁴³ Превосходных ученых (нем.).

möglich ist!»⁴⁴) – их ночные встречи в погребке – Гёте в Лейпциге – уроки танцев – Sesenheim – Фредерика – луна...

О, когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня сердце задрожало оттого, что это – Фредерика, а не я!

Уют этого старого полукрестьянского дома – пастор – игры в фанты – чтения вслух...

Я сегодня из-за всего этого никак не могла решиться встать с постели: так не хотелось жить!

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

Сейчас, наверное, из-за топора и пилы, куда меньше *enfants d'amour*⁴⁵! Впрочем, пилит и рубит только интеллигенция (мужики не в счет! им все нипочем!), а интеллигенция и раньше никогда не блистала ни *enfants*, ни *amour*.

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Сухонький перст впился в высокую грудь девки. Заискивающий шепот: «Что это у вас – свининка?»

И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно:

⁴⁴ «Не целоваться – это так пошло, но любить, если возможно!» (нем.).

⁴⁵ Детей любви (фр.).

«Триста восемьдесят».

А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей.

От природы не терплю запасов. Или съем, или отдам.

А можно, чтобы не было страшно, вообразить себе так: хлеб стоит не 200 руб<<лей>>, а как прежде 2 коп<<ейки>>, но у меня этих двух копеек нет – и никогда не будет.

И царь по-прежнему в Царском Селе – только я никогда не поеду в Царское Село, а он – в Москву.

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) – Коробочек («а почему сейчас в городе мертвые души?», «а почему сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы» – «Дом Счастливой Матери») – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот.

И так же редки – как его? этот с армянской фамилией, -идзе или -адзе, из II части, такой ирреальный, что я даже имени его не запомнила!

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, – все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним.

«Уже не смеется».

(Надпись на моем кресте.)

Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, – так, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солинок соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки, ни солинки, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, – так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год.

Моя комната. – Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке – окаренко на полу – по всем стульям тряпки – топор – утюг (утюгом колочу по топору) – г<<ольд>>мановская пила...

Люди, когда приходят, только меня растрavляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает.

19-ый год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру – ем – отдаю, как если бы он стоил 2 к<<опей>>ки (сейчас 200 руб<<лей>>). А кофе и чай я всегда пила без сахара.

Есть ли сейчас в России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть – человек, который хочет курить – человек, которому холодно – о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых – скаредных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года.

Я бы написала – если бы не завиток романтика во мне – не моя близорукость – не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть.

– О, если бы я была богата! —

Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души – улыбки – иногда полена дров (от легкомыслия!) – а этого мало.

О, какое поле деятельности, для меня сейчас, для моей

ненасытности на любовь. Ведь на эту удочку идут все – даже самые сложные – даже я! Я, например, сейчас определенно люблю только тех, кто мне дает – обещает и не дает – все равно! – хотя бы минуточку – искренно (а может быть и *не* искренно, – наплевать!) *хотел* бы дать.

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда.

Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитрюсь давать.

– Хорошо?

Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой.

Что мне нравится в авантюризме? – Слово.

Бальмонт – в женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безумный холод, пар колом – рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

– О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По... Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод

– это тело. Нет, голод – душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не отвлекаться, пока курю.

– Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет.

Курю, т. е. тяну изо всей силы, – трубка – как закупоренная – дыму 1/10 доля глоточка – от страха, что потухнет, не только не говорю, но и не думаю – и – через минуту, облегченно:

– Спасибо, накурилась!

Москва, зима 1919 – 1920

О Германии (Выдержки из дневника 1919 г.)

Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа, которую принято считать тюрьмой для тел!

Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, в семье пастора – курю, стриженные волосы, пятивершковы каблуки (Luftkurort⁴⁶, система д<<окто>>ра Ламана, – все местечко в сандалиях!) – хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, не отличаю свеклы от моркови (в семье пастора!) – всех оттолкновений не перечислишь!

Что ж – отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, *давали быть*. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? Хоть косвенный взгляд один? Хоть умысел?

Это страна свободы. Утверждаю. Страна высшего считания качества с качеством, количества с качеством, личности с личностью, безличности с личностью. Страна, где закон (общежития) не только считается с исключением: благоговеет перед ним. Потому что в каждом конторщике дремлет поэт. Потому что в каждом портном просыпается скрипач. Потому что в каждом пивном льве по зову родины проснется лев настоящий.

Помню, в раннем детстве, на Ривьере, умирающий от ту-

⁴⁶ Климатический курорт (нем.).

беркулеза восемнадцатилетний немец Рёвер. До восемнадцати лет сидел в Берлине, сначала в школе, потом в конторе. Затхлый, потный, скучный.

Помню, по вечерам, привлеченный своей германской музыкой и моей русской матерью – мать не женски владела роялем! – под своего священного Баха, в темнеющей итальянской комнате, где окна как двери – он учил нас с Асей⁴⁷ бессмертию души.

Кусочек бумаги над керосиновой лампой: бумага съезжается, истлевает, рука придерживающая – отпускает и... – «Die Seele fliegt!»⁴⁸

Улетел кусочек бумаги! В потолок улетел, который, конечно, раздастся, чтобы пропустить душу в небо!

У меня был альбом. Неловко тридцатилетней женщине, матери двух детей, заводить альбом, вот мать и завела нам с Асей – наши. Писало все чахоточное генуэзское побережье. И вот среди Уланда, Тенниссона и Некрасова следующая истина, странная под пером германца:

«Tout passe, tout casse, tout lasse»⁴⁹ ... – с весьма германской – тщательными, чуть ли не в вершок буквами – припиской: –

⁴⁷ Сестрой (примеч. М. Цветаевой).

⁴⁸ «Душа улетает!» (нем.).

⁴⁹ «Все проходит, все рушится, все надоедает...» (фр.).

Excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir»⁵⁰.

Немец Рейнтардт Рёвер, образцовый конторщик и не менее образцовый умирающий (градусник, тиокол, уход домой при закате) – немец Рейнтардт Рёвер умер на девятнадцатом году жизни, в Нерви, во время Карнавала.

Его уже перевели на частную квартиру (в пансионе нельзя умирать), в верхнюю комнату высокого мрачного дома. Мы с Асей приносили ему первые фиалки, мать – всю музыку своего необычайного существа.

– Wenn Sie einen ansehen, gnädige Frau, klingt's so recht wie Musik⁵¹

И вот, разлетаемся однажды с Асей, – фиалки, confetti, полный рот новостей... Дверь настезь.

– Негг Röver!⁵²

И испуганный шип сиделки:

– Zitto, zitto, e morto il Signore!⁵³

Раскрытый рот, через который вылетела душа, хлопотливые крылья косынки над прахом.

Подошли, положили цветы, поцеловали («Только не це-

⁵⁰ «Кроме удовлетворения от выполнения собственного долга» (*фр.*).

⁵¹ Когда Вы на кого-нибудь смотрите, милостивая госпожа, это звучит как музыка! (*нем.*)

⁵² Господин Рёвер! (*нем.*).

⁵³ Тише, тише, синьор умер! (*ит.*).

луйте! На каждый кубический миллиметр воздуха – миллиарды миазмов», – так нас учили все, не считаясь с тем, что в восемь лет еще не знают ни кубов, ни миллиметров, ни миллиардов, ни миазмов – ничего, кроме поцелуя и воздуха!)

Поцеловали, постояли, пошли. На лестнице – винтовой и звонкой – стало страшно: Рёвер гонится!

Три дня подряд из окна его смертной комнаты вывешивались: матрас, подушка, простыни – в ожидании новых жильцов. Пожитки его (Mahikasten⁵⁴, градусник, несколько смен белья, настольный томик Ленау) были отправлены домой, в контору.

И ничего не осталось от немца Reinhardt'a Röver'a – «excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir».

От моего Рёвера до мирового Новалиса – один вздох. «Die Seele fliegt» – больше ведь не сказал и Новалис. Большого никто никогда не сказал. Здесь и Платон, и гр<<аф>> Аугуст фон Платен, здесь все и вся, и *кроме нет ничего*.

Так, из детской забавы и альбомной надписи, из двух слов: душа и долг – Душа есть долг. Долг души – полет. Долг есть душа полета (лечу, потому что должен)... Словом, так или иначе: die Seele fliegt!

«Ausflug». Вы только вслушайтесь: вылет *из...* (города, комнаты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет ins Grüne⁵⁵, ежечасный – ins Blaue⁵⁶. Aether, heilige Luft!⁵⁷

⁵⁴ Коробка для съестного (нем.).

⁵⁵ На природу (нем.).

Я, может быть, дикость скажу, но для меня Германия – продолженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме германских, того нектара, той амброзии не приму.

О мальчиках. Помню, в Германии – я еще была подростком – в маленьком местечке Weisser Hirsch⁵⁸, под Дрезденом, куда отец нас с Асей послал учиться хозяйству у пастора, – один пятнадцатилетний, неприятно-дерзкий и неприятно-робкий, розовый мальчик как-то глядел мои книги. Видит «Zwischenden den Rassen»⁵⁹ Генриха Манна, с моей рукой начертанным эпитафам:

«Blonde enfant qui deviendra femme,
Pauvre ange qui perdra son ciel».

(*Lamartine*)⁶⁰

– Ist's wirklich Ihre Meinung?⁶¹

И моя реплика:

⁵⁶ В синь, голубизну (*нем.*).

⁵⁷ Эфир, священный воздух! (*нем.*).

⁵⁸ Вайсер Хирш (Белый олень) (*нем.*).

⁵⁹ «Между расами» (*нем.*)

⁶⁰ «Светлая девочка, которая станет женщиной, Бедный ангел, который покинет свое небо».(Ламартин) (фр.).

⁶¹ Вы в самом деле так думаете? (*нем.*).

– Ja, wenn's durch einen, wie Sie geschieht!⁶²

А Асю один другой мальчик, тоже розовый и белокурый, но уж сплошь-робкий и приятно-робкий, – маленький commis, милительный тринадцатилетний Christian – торжественно вел за руку, как свою невесту. Он, может – даже наверное! – не думал об этом, но этот жест, выработанный десятками поколений (приказчиков!) был у него в *руке*.

А другой – темноволосый и светлоглазый Hellmuth, которого мы, вместе с другими мальчиками (мы с Асей были «взрослые», «богатые» и «свободные», а они Schulbuben⁶³, которых в 9 ч. гнали в постель) учили курить по ночам и угощали пирожными, и который на прощанье так весело написал Асе в альбом: «Die Erde ist rund und wir sind jung, – wir werden uns wiedersehen!»⁶⁴

А лицеистик Володя, – такой другой, – но так же восторженно измерявший вышину наших каблуков – здесь, в святилище д<<окто>>ра Ламана, где и рождаются в сандалиях!

Hellmuth, Christian, лицеистик Володя! – кто из вас уцелел за 1914 – 1917 год!

Ах, сила крови! Вспоминаю, что мать до конца дней писа-

⁶² Да, если это совершается благодаря такому, как вы! (*нем.*).

⁶³ Школяры (*нем.*).

⁶⁴ «Земля круглая, а мы молоды, – еще увидимся!» (*нем.*).

ла: Thor, Rath⁶⁵, Theodor – из германского патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 34-х лет.

– Я с моим *ять!*

От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию. Просто – Музыку. Всю себя.

Музыку я определенно чувствую Германией (как любовь – Францией, тоску – Россией), Есть такая страна – музыка, жители – германцы.

Персияночка Разина и Ундина. Обоих любили, обеих бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouqué и у Жуковского).

И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, – только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии – «за башмачком», а Ундина со всей преданностью Любящей и Германии – за поцелуем.

Treue⁶⁶ – как это звучит!

А французы из своей *fidélité*⁶⁷ сумели сделать только Fidele (Фидельку!).

⁶⁵ Старое правописание, th. Теперь: Thor, Rat – ворота, совет (нем.).

⁶⁶ Преданность (нем.).

⁶⁷ Преданности (фр.).

Есть у Гейне пророчество о нашей революции: «...und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird...»⁶⁸

У Гейне, вообще, любопытно о России. О демократичности нации. О Петре – державном революционере (Венчаной Революции).

– Гейне! – Книгу, которую я бы написала. И – без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто – с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов. (Иллюстрированные стихи! И так как Гейне – часто о женщинах, – сплошные колбасы!)

Гейне всегда покроет всякое событие моей жизни, и не потому что я... (событие, жизнь) слабы: он – силен!

Столкнуться – и, не извинившись, разойтись – какая грубость в этом жесте! Вспоминаю Гейне, который, приехав в Париж, нарочно старался, чтобы его толкнули – чтобы только услышать извинение.

В Гейне Германия и Романия соцарствуют. Только одного такого еще знаю – иной строй, иная тема души, иной масштаб – но в двуродинности своей Гейне – равного: Ромена Роллана.

⁶⁸ «...И я говорю вам – когда-нибудь наступит зима,И весь снег на севере превратится в кровь...» (нем.).

Но Ромен Роллан, по слухам, галло-германец, Гейне – как все знают – еврей. И чудо объяснимо. Я бы хотела необъяснимого (настоящего) чуда: француз целиком и любит (чувствует) Германию, как германец, германец целиком и любит (чувствует) Францию, как француз. Я не о стилизациях говорю – легки, скучны – о пробитых тупиках и раздвинутых границах рождения и крови. Об органическом (национальном) творении, не связанном с зоологией. Словом, чтобы галл создал новую Песнь о Нибелунгах, а германец – новую песнь о Роланде.

Это не «*может*» быть, это должно быть.

Die blinde Mathilde⁶⁹ – воспоминание детства. Во Фрейбурге, в пансионе, к нам каждое воскресенье приходила женщина – die blinde Mathilde. Она ходила в синем сатиновом платье – лет сорок пять – полузакрытые голубые глаза – желтое лицо. Каждая девочка, по очереди, должна была писать ей письма и наклеивать, на свои деньги, марки. Когда письма кончались, она в благодарность садилась за рояль и пела.

Немецким девочкам: «Ich kenn ein Kätzlein wunderschön»⁷⁰

Нам с Асей: «Der rothe Sarafan»⁷¹.

Теперь вопрос: кому blinde Mathilde столько писала? От-

⁶⁹ Слепая Матильда (нем.).

⁷⁰ «Я знаю одну прелестную кошечку» (нем.).

⁷¹ «Красный сарафан» (нем.).

ветивший на вопрос напишет роман.

Как я любила – с тоской любила! до безумия любила! – Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса – не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах: «Zum Adler», «Zum Löwen»⁷². (Если бы у меня была харчевня, я бы ее назвала: «Zum Kukuck»⁷³).

Никогда не забуду голоса, каким хозяин маленького Gasthaus «Zum Engel»⁷⁴ в маленьком Шварцвальде, указывая на единственный в зале портрет императора Наполеона, восклицал:

– Das war ein Kerl!⁷⁵

И после явствующей полное удовлетворение паузы:

– Der hat's der Welt auf die Wand gemahlt, was *wollen* heisst!⁷⁶

После Эккермана могу читать только «Mémorial de Saint-Hélène» Ласказе – и если я кому-нибудь завидовала в жизни – то только Эккерману и Ласказу.

Странно. Здесь апогей счастья, там апогей несчастья, и от обеих книг одинаковая грусть – точно Гёте был тоже *сослан*

⁷² «У орла», «У льва» (нем.)

⁷³ «У черта» (нем.).

⁷⁴ Гостиница «У ангела» (нем.).

⁷⁵ Вот это был парень! (нем.).

⁷⁶ Он всему миру показал, что значит хотеть! (нем.).

в Веймар!

О, Наполеон уже для Гёте (1829 г.) был легендой!

О, Наполеон уже для Наполеона (1815 г.) был легендой!

Гёте, умиляющийся над вывернутым наизнанку зеленым мундиром Наполеона.

В Гёте мне мешает «Farbenlehre»⁷⁷, в Наполеоне – все его походы.

(Ревность)

Иду недавно по Кузнецкому и вдруг, на вывеске: «Farbenlehre». Я обмерла.

Подхожу ближе: «Fabergé»⁷⁸.

Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не буквы, а зубцы. Zacken⁷⁹ – какое великолепие!) В германском гимне я растворяюсь.

⁷⁷ «Наука о цвете» (нем.).

⁷⁸ «Фаберже» (фр.).

⁷⁹ Зубцы (нем.).

Lieb Vaterland, magst ruhig sein⁸⁰.

Вы только прислушайтесь к этому magst, – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн говорит: Vater Rhein!⁸¹ Как же тут не быть спокойным?!

Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, единовременно. Местничество поэтов в сердцах куда жесточе придворного. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, каждый хочет быть единым, потому что нет второго. Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гёльдерлину, Гёльдерлин к Гёте, только Гёте ни к кому не ревнует: Бог!

- Что вы любите в Германии?
- Гёте и Рейн.
- Ну, а современную Германию?
- Страстно.
- Как, несмотря *на...*
- Не только не смотря – *не видя!*
- Вы слепы?
- Зряча.
- Вы глухи?

⁸⁰ «Люби отечество и можешь быть спокойным» (нем.).

⁸¹ Рейн – батюшка! (нем.).

- Абсолютный слух.
- Что же вы видите?
- Гётевский лоб над тысячелетьями.
- Что же вы слышите?
- Рокот Рейна сквозь тысячелетия.
- Но это вы о прошлом!
- О будущем!

Гёте и Рейн еще не *свершились*. Точнее сказать не могу.

Франция для меня легка. Россия – тяжела. Германия – по мне. Германия – древо, дуб, *heilige Eiche*⁸² (Гёте! Зевес!). Германия – точная оболочка моего духа. Германия – моя плоть: ее реки (*Ströme!*) – мои руки, ее рощи (*Heine!*) – мои волосы, она вся моя, и я вся – ее!

Edelstein. – В Германии я бы любила бриллиант. (*Edelstein, Edeltrucht, Edelmann, Edelwein, Edelmuth, Edelblut*⁸³...)

А еще: *Leichtblut*. Легкая кровь. Не легкомыслие, а легкокровие. А еще: *Uebermuth*: сверх-сила, избыток, через-край. *Leichtblut* и *Uebermuth* – как это меня дает, вне подозрительного «легкомыслия», вне тяжеловесного «избытка жизнен-

⁸² Священный дуб (*нем.*).

⁸³ Драгоценный камень, дивный плод, аристократ, живительная влага, великодушие, благородная кровь... (*нем.*).

НЫХ СИЛ».

Leichtblut и Uebermuth – не все ли *те* боги? (Единственные.)

И, главное, это ничего не исключает, ни жертвы, ни гибели, – только: легкая жертва, летящая гибель!

А Gottesjüngling!⁸⁴ Не весь ли Феб встает в хороводе своих любимцев!

А Urkraft⁸⁵, – Не весь ли просыпающийся Хаос! Эта приставка: Ur! Urquelle, Urkunde, Urzeit, Urnacht⁸⁶

Urahne, Ahne, Mutter und Kind
In dumpfer Stube beisammen sind...⁸⁷

Ведь это вечность воет! Волком, в печной трубе. Каждая такая Urahne – Парка.

Drache и Rache⁸⁸ – и все «Nibelungenlied»⁸⁹!

«Германия – страна чудаков» – «Land der Sonderlinge».

⁸⁴ Юный бог! (нем.).

⁸⁵ Первобытная сила (нем.).

⁸⁶ Первобытный источник, древний акт, древние времена, древняя ночь (нем.).

⁸⁷ Прародитель, предок, мать и дитя В глухом пространстве объединены... (нем.).

⁸⁸ Дракон и Мечь (нем.).

⁸⁹ «Песнь о Нибелунгах» (нем.).

Так бы я назвала книгу, которую я бы о ней написала (по-немецки). Sonderlich. Wunderlich⁹⁰. Sonder и Wunder в родстве. Больше: вне Sonder нет Wunder, вне Wunder – нет Sonder.

О, я их видела: Naturmenschen⁹¹ с шевелюрами краснокожих, пасторов, помешавшихся на Дионисе, пасторш, помешавшихся на хиромантии, почтенных старушек, ежевечерне, после ужина, совещающихся с умершим «другом» (мужем) – и других старушек – Märchenfrau, сказочниц по призванию и ремеслу, ремесленниц сказки. Сказка, как ремесло, и как ремесло *кормящее*. – Оцените страну.

О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума сшедших на высшем разуме – духе.

«Немцы-мещане»... Нет, немцы – граждане: Bürger. От Burg: крепость. Немцы – крепостные Духа.

Мещанин, гражданин, bourgeois, citoyen⁹², у немцев же – неделимо – Bürger. Для выявления же понятий мещанства, буржуазности – приставка klein: klein-bürgerlich⁹³.

Может ли не быть отдельного слова для основной черты нации? Задуматься.

⁹⁰ Особенно. Удивительно (нем.).

⁹¹ Людей природы (нем.).

⁹² Буржуа, гражданин (фр.).

⁹³ Маленький: мещанский (нем.).

Мое вечное schwärmen⁹⁴. В Германии это в порядке вещей, в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. В Германии я рядовой, *любой*.

Притеснен в Германии только притесняющий, т. е. распространяющийся – внешне – за указанный ему предел, пространственный ли, временной ли. Так, например, играя в своей комнате на флейте позже 10 часов, я распространяюсь за предел временной, установленный общежитием, и этим тесню соседа, в самом точном смысле стесняю (укорачиваю) его сон. – Умей играть молча! —

Мне, до какой-то страсти равнодушной к внешнему, в Германии просторно.

В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощенность) внешней жизни, – то, чего нет и никогда не было в России. Быт они скрутили в бараний рог – тем, что всецело ему подчинились.

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nuz kann uns Freiheit geben⁹⁵.

Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его испол-

⁹⁴ Увлекаться, мечтать (нем.).

⁹⁵ В самоограничении познается лишь мастер, И лишь закон дает нам свободу (нем.).

нительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. Ограничение себя *здесь* для безмерного владычества *там*. У них нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново творящие.

Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упражняется на немом клавесине. Духовидец Новалис до конца своих дней сидит за решеткой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, ни Новалис своей – не тяготятся. Они ее не замечают. Они свободны.

Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски.

– Ну, а как с войной?

– А с войной – так: не Александр Блок – с Райнером Мария Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин – с Рихардом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит Блок – оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке – оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша ли, их ли, не утешила бы.

В национальной войне я *ничего* не чувствую, в гражданской – *всё*.

– Ну, а как с немецкими зверствами?

– Но я говорила о качественной Германии, не о количественной. Качество, порождаемое количеством – вот зверство. Человек наедине не зверь (не от чего и не с кем). Зверство начинается с Каина и Авеля, Ромула и Рема, т. е. с цифры два. От сей роковой цифры первого общежития до числа двузначного и дальше – катастрофическое нарастание зверства, с каждой единицей утысячающегося. (Вспомните детство и школу.)

Короче: если «pour aimer il faut être deux»⁹⁶, то тем более – pour tuer⁹⁷. (Адам мог любить просто солнце, Каину, для убийства, нужен был Абель.)

Для любви достаточно одного, для убийства нужен второй. Когда людей, сучивая, лишают лика, они делаются сначала стадом, потом сворой.

Погодите, будет час, так же будете оплакивать героическую Германию, как ныне героическую разоренную Францию. Нынче – Реймский собор, завтра – Кельнский: *высоты мешают веку!* Это не ненависть германцев к галлам, галлов к германцам, это ненависть квадрата – к шпилью, плоскости – к острию, горизонтали – к вертикали.

Реймский собор для меня больше рана, чем для вас: в нем свершилась моя Иоанна! – и, оплакивая его, оплакиваю боль-

⁹⁶ «Для любви надо иметь двоих» (фр.).

⁹⁷ Чтобы убить (фр.).

ше, чем вы: не Иоанну, не Францию, – век костров, смененный веком железобетона!

«Немцы подарили нам большевиков». «Немцы подарили нам пломбированного Ленина»...

В дипломатических подарках не знаток, но, если это даже правда, – руку на сердце положи – будь мы на их месте и додумайся мы, – мы бы этого не сделали?

Вагон, везущий Ленина, – не тот же ли троянский конь?

Политика – заведомо мерзость, нечего от нее, кроме них, и ждать. С этикой – в политику!

А германская ли мерзость, российская ли – не различаю. Да никто и не различит. Как Интернационал – зло, так и Зло – интернационал.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais
Vous avez cru germaniser la plaine,
Mais malgré vous nous resterons français...⁹⁸

Под это я росла. (Престарелые гувернантки-француженки.) И это во мне так же свято, как «Wacht am Rhein»⁹⁹. И это во мне не спорит. Великое согласие высот.

⁹⁸ Вы захватили Эльзас и Лотарингию, Но сердец наших не завоюете никогда. Вы надеялись сделать нашу землю германской, Вопреки вам она останется французской... (фр.).

⁹⁹ «Стража на Рейне» (нем.).

Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный.

Москва, 1919

Дом у Старого Пимена

Верс Муромцевой, одних со мной корней

I

Дедушка Иловайский

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внучками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей – один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы – и всем. Дедушка Иловайский – только золотые – и только Андрюше – прямо в руку – даже как-то мимо руки – ничего не говоря

и даже не глядя – и только в день рождения или на Рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» – «Но монет софсем нофенький!» – «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги – грязь.) Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки и без того уже *замывшей* немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел – то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук.)

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровское-Разумовское, Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например, Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевелиться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш старый трехпрудный дом всеми своими ходами и переходами шипит и шепчет: «Мильонщик» (няня) – «Millionär» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу –

Androuscha – Андриюшечка – *reicher Erbe*¹⁰⁰ – наследник...» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, до полу, шубы – холод трехпрудного низа он знал, ибо это был *его* дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же – Марина или Ася?» – «Ася». – «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали – даже страха. Мы *знали*, что он нас не видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетний знали, что нас для него *нет*. И рассматривали его совершенно так же свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, – как, впрочем, всякого памятника – в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускавший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел – мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, прида-

¹⁰⁰ Богатый наследник (*нем.*).

ное умершей Андриюшиной матери, красавицы Варвары Дмитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошечки!» – ахает горничная Маша), – скат черного кружева – белая шаль, бахромой метущая землю – красный коралловый гребень. Таких вещей мы у нашей матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать – двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать – нельзя. А эти красные груши – в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри – гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». – «Бра-слет».) А вот брошка коралловая – роза. Кораллы – Neapel, гранаты – Bohemen. Гранаты – едят. А это – странное слово – блонды. От какой-то прабабки – мамы – румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели... – шепчет Маша нашей балтийке-бонне. – Говорят, наш барин очень без них тосковали». – «Думхейтен¹⁰¹, – басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, – просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствие».) Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, – паж.) А этот длинный нож называется шпага.

¹⁰¹ Глупости (нем.).

Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, как все это пахнет, – пачули. Андрюша, убедившийся, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штекенпферде»¹⁰². Я, робко, матери: «Мама, как... красиво!» – «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». – «А какой снег серебряный!» – «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули – никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю – остов, потому что, подрастая, сразу опознала его в первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Доисторический велосипед историка!» – хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще – отставленная!) нещедрым дедом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед – сесть. Второе – на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложноустойчивый и усидчивый. Велосипед с

¹⁰² Деревянной лошадке на палочке (нем.).

Андрюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только-Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов. Позже в нашем доме появилось *такое же* ружье. И *такая же* подозрительная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем – велосипед, ружье, труба оказались его единственным наследством внуку. Остальное (миллионы – в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

Иловайский жил на Малой Димитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец – матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! – пересиль себя, голубка, – нужно...» – «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют – так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел – выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт – карты, помню такое слово матери:

«Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»¹⁰³, а еще позже *узнала* эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...» – вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андрюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А.А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему – наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то защипнутыми ноздрями и такой же, сквозь защипнутые ноздри, голос. А «родинки» – родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее – обратным *его* голубому невидящему – всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirée a quatre épingles»¹⁰⁴, и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre épingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иголок.

Но дети у А.А. – чудные. Их трое: кареокая Надя, черно-

¹⁰³ Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты (*нем.*).

¹⁰⁴ Букв.: натянутая на четырех булавках (*фр.*).

окий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В.Д. Но смерть не остановилась. В 1904 году и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андрюшиной матери (портрет – роковой в жизни *нашей*), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля, – дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася, или?..» – «Марина». – «А-а-а...» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая – кто) был чистейшей функцией исто-

рика: mettre les noms sur les figures¹⁰⁵ – тут же забываемые – по неисторичности. До «исторических» же дат, – то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятнадцать ли лет стоящей перед ним Марине – какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком – зим!

– Странный у деда дом, – рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, – топят снизу и всегда ночью, босиком – ступить невозможно, танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, – и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три черносливины и две миски толокна. И всю ночь не спит – и ей не дает – либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой – все взад и вперед, взад и вперед. Перестал – значит, пишет. Я в гимназию – он спать, прихожу завтракать – уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда *сегодня*, например, уж, кажется, *последний*? а завтра – опять последний!... Так ведь никогда-не-кончить можно... А – здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит – уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь – ровно в десять часов, в самый бой, на пороге – дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все под-

¹⁰⁵ Называть вещи своими именами (*фр.*).

ряд, пока не останется одна. Эту – оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак – опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» – «Да». – «По какому учебнику?» – «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз – понравился. Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художественен! Ибо что же все художество, как не находенье потерянных вещей, не увековечение – утрат?

Стала читать дальше, – и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет – вижу, что у него всё – *глаз*, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» – «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устаре-

ли! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» – «Пять», – мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» – источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой „Кремль“ читала?» – «Да». – «А что я в нем пишу?» – «Про евреев». – «А что я в нем пишу про жидов?» – «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением:) «*Не любите!*...» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее – и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? – жаловался Андрей. – Я ему: немцы, он мне: ливонцы. А по мне – хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком – Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам.) Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 году, после трех предупреждений, «Кремль» – закрыли за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д.И. о призвании на царство Михаила Романова,

в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество. Смело, но в присутствии родных – неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду – слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д.И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских – это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого – ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои – и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. „Кремль“ принес».

II

Дом у Старого Пимена

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век... Всех детей зарыл, а сам... Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит...» Под этот шепот и даже ропот – жил.

Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»¹⁰⁶, я (прости меня Бог, ибо это – грех) не вспомнила, а глазами увидела Д.И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях – чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака... Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким

¹⁰⁶ «Живых людей» (фр.).

он не был, он был именно жестоковым, с шеей, не гнушейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы – сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, – и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. *Истории* в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же – несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да – был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос *должен* пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил – в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?

И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми – ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)

И так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона,

перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицы, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижимой водою Леты...

Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну...

И – туман над Летою редет – не альбом! не портрет! – Надя, живая, – каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, – о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто – с игрушкой...

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты *ничего* не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой 1812 год! –

с гравюры – из семейной хроники – точно выросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский...) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц *Zénaïde Fleuriot*... А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой... Но *эта* река – Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: гемуэзском Нерви. Сережу – в тени комнаты и матери, Надю – на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю – стережет. Вот они обе в ландо на *bataille de fleurs*¹⁰⁷. Все цветы – ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины – матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку – розой, в дракона – дрянью. (Как это А.А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно – и невозвратно. С цветочного боя – в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «мо-

¹⁰⁷ Битве цветов (фр.).

настырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда – измышлениями: как, например, солить репу... (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») – и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы...), на самом же деле – из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благоденственный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда – на Нерви, оказалось – на жизнь.

Мать. Мать она была сыну, не дочерям. Да простит мне ее тень и да увидит, что я прежде всего и после всего – не сужу. Есть такая украинская сказка о матери родной и матери крестной. Идет девушка ночью мимо храма, видит – свет, заходит. Служба тихая, священник чужой, молящиеся – чудные: одни давно не виданные, другие и вовсе никогда. Вдруг кто-то ее за плечо. Оборачивается: крестная мать покойная. «Беги отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидит – разорвет». Но поздно: мать – увидела, вон, сквозь народ, пробирается. Девушка – бежать, мать за нею, так и мчатся они по пустым полям (дочь-то по земле, а мать-то за ней – по-над землею). Но рядом крестная, не дает в обиду, на бегу засыпает ту, родную, крестами, отрещивается. Наконец – конец. Край деревни, первая хата. Петухи поют. И крестная, прощаясь: «Никогда, девонька, больше не заходи ночью в церковь, как увидишь свет. Это неуспокоенные души молятся с неуспокоенным попом. Не будь меня – заела бы тебя твоя мать родная, с самой своей смертушки на тебя зубы точит».

Когда я эту сказку, как всегда в таких случаях, для выяснения самой себе, стала рассказывать и потом опрашивать, – в чем дело? почему? – только один из моих собеседников: собеседница, категорически: «Совершенно понятно. Ревность. Ведь дочь – соперница». Посмертная ревность к молодости,

несчастной – к счастливой, мертвой – к живой. И, возвращаясь к А. А.: неуспокоенные страсти мертвой, *никогда* не жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя. Получила же ключи на пояс и на себе – крест. Ревновал он ее, по домашним рассказам, люто. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал, только раз, с каким-то своим присным, на бал, которым потом ее всю жизнь попрекал. Зря. Была горда и верна. (До измены, как до собственной красоты, просто не снисходила. Так и вижу ее, стоящую с видом, точно попирающим собственную красоту.) Пошли дети. Дети, сразу отделенные от нее традиционной стеной кормилиц, нянек, бонн, гувернанток, учителей. Не говоря уже о водоразделе родительского верха и детского низа. Дети, действительно, жили под родителями, как под спудом: то, по чему родители, со всеми их тяжестями, всей своей тяжестью, ступали, было для детей – верхом, то есть попросту лежало у них на головах. Вроде Атлантов, держащих небосвод с небожителями. (Недаром их «низ» был со сводами!) На том и надорвались. И, возвращаясь к воспитанию: как тут было до своего ребенка – добраться? Сквозь всю эту подобострастную и стойкую толщу – прорваться? Для этого нужно – *очень* любить. А можно ли, я только ставлю вопрос, а неизбежно ли, а так ли уж непременно – любить ребенка от нелюбимого, может быть – невыносимого? Анна Каренина смогла, но то был сын, сын – в

нее, сын – ее, само-сын, сын ее души. Таким сыном для А.А. оказался последний ребенок – Сережа, дитя ее души и тела, *она* живая – если бы ее с самого начала не убили.

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь кротость, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно-обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею – нынешней, а не с нею – тогдашней, его однолеткой. И не высшее ли смирение она проявила тогда, выйдя замуж за нелюбимого, раз навсегда смирясь: сломясь, точно так же, как ее сын без всякой мысли ропота связал бы себя с той, которую бы движением брови указала – она. Только в Сереже, еще не тронутым жизнью – мы видим упокоение покорности, в ней – ожесточение покорности.

Меж тем жизнь, понемножечку, красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка – *ее* по его образу и подобию. Но какой же может быть здесь «образ и подобие»? Между стариком-ученым и нелюбящей красавицей? Что могла А. А. от Д. И. «перенять»? Историю, дело его жизни? Нет, историю он писал сам. Идеи? Они ей, как всякой настоящей женщине, были безразличны (не были бы, ежели бы, но так как этого «ежели» не было...). И, чтобы не спра-

шивать праздно – она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, одумства и т.д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно – в стране, другое – в доме, одно – в книге, другое – в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления – в пределы собственной кладовой, весь идейный Домострой, перенесенный на *живых* детей. Нечего говорить: Иловайский в доме был тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc¹⁰⁸. И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А. А. же, из дома не выходя, во всё входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому – что всё и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между Папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была его правой рукой, а правая рука всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», – Иловайский. «Да, но по возвращении вешать платья на „плечики“, – А.А. (Сильно говоря, она, конечно, была *огорчительницей* колодца их молодости.) «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям», – Д. И. «То есть не танцевать с теми, кто *им* нравится», – А. А. Упор с должествующего переносился на возбраняемое. Физический запрет становился духовным.

¹⁰⁸ Весь, целиком (*фр.*).

Почему? Почему и откуда запреты? А потому, что ей самой, так еще недавно, запретили жить, сама себе сгоряча (пусть с холоду расчета, но все же сгоряча воображения!) запретила, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери, особенно одна, растут красавицы. «Я тоже была красавица». Дочери растут веселые. «И я смеялась».

И вот, подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д.И. детский век «заживал», А. А. его – «заедала». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было, – она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливые. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась – и ты не дыши.

Чудовищно? А такой брак – не чудовищно? Сама виновата! А разве эта сама – знала? Знала, что такое вообще брак? Это нынешние знают. Те, пятьдесят лет назад, летели в этот ад, как бабочки на свет, – всей грудью. Оступались в него, как в ров. И – как знать? Может быть, еще и родительская власть, угрозы и уговоры *ее* матери? Ожесточенное бедой сердце – вот. Но как же вымещать на невинных? А разве она знала, что – вымещает? Это знающая природа в ней вымещала, мстила за попорченную себя. *Она*, в полной невинности

– воспитывала. (Показательно и подтвердительно, что недуг, от которого из троих ее детей погибло двое, был *ее* недугом, даром, наследством. Впрочем, и у Д.И. был в юности туберкулез, но – когда была эта юность? и была ли когда? И вот уже начало нового мифа о родителях, откупившихся от смерти детьми...)

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет, и, главное – у них были «живые картины»... Сказав это слово, я дала эпоху. Это был рассвет девятисотых годов, недалекий канун Пятого. Шел пока еще ручьёвый шум студенческих беспорядков. Слово «педель» – одно из первых, которое я в младенчестве осознала, от созвучия с «пудель». И вот, от сходок, вопросов, запросов, страшных людей, идей – щит: живые картины. Колеблющийся щит: целая стена старинного штофа. А за ним...

Недвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским – зеленым и малиновым – пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, пламя трепещет, догорает... Занавес! Рукоплескания. Красавица Надя, *весна* для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывающая красавицей спящей. Красота, спящая под очкастыми – подслеповатыми – дальнотзоркими – слезящимися – и Бог знает еще какими! – взглядами старцев, старцев – Елены, старцев – Сусанны, семидесятилетних сверстников ее отца... (Могла бы на-

звать имена, иные – исторические, но зачем? Все это ушло в миф...)

Но что тут делали бородатые студенты и доценты? (Из всей группы безусым был только Сережа, неизменная пара всех Надиных превращений: Май всех ее Весен, Царевич – Красавиц.) Пенсне можно снять, но бороду? А ведь и они участвовали в «Веснах» и «Помпадурах». Бородатые – маркизы? И этот *contresens*¹⁰⁹ в доме у историка? Как ни грустно, не могу не улыбнуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» – в мертвом доме, мертвые картины из живых людей.

Были живые картины, были выезды, – поднадзорное танцевание, напоминающее мне уныние первых Ассамблей. Но девочки отыгрывались. Жизнь всегда отыграется. Чайный стол молодежи понемножку обрастал кругом молодых вольнодумцев (позже – всего только правых кадетов!). Свечи старого дома даже под надежными щитами своими содрогались от первого дуновения «идей». Каких? Еврей тоже человек. И самые храбрые: «Раз сам Христос был еврей...» Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме собственного звучания, не заполненное слово «свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего – от дома. Нет, нет, не от родителей. Родители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они ли гнели? Нет, не Д.И. же со своими декретами раннего спанья и такого же встава-

¹⁰⁹ Бессмыслица (*фр.*).

нья, не А.А. со своими нотациями и интонациями – родители сами были *гнетомые* – гнел дом, сам Дом, со всеми в нем прежде жившими и жившими так, как нынче жить уже нельзя (а было ли когда-нибудь можно?). Гнел дом толстыми, как в бастионе, стенами, гнел глубокими нишами окон, точно пригнанными по мерке привидений, гнел дверями, не закрытыми, не открытыми – приоткрытыми, гнел потолками, по которым неустанно, по ночам, кто-то взад и вперед, взад и вперед, гнел подсматривающим, вплотную прильнувшим садом. О, больше всего садом, его мнимой свободой, на самом же деле всем дозором бессонного древесного сырья, так явно держащего руку – бывшего, садом с его сыростью, садом с его старостью, с калиткой, не ведущей никуда. И больше всего слово гнело: Пимен. Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил? Почему из троих выпустил *не* на кладбище только одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была только свобода от этого страшного святого, точно забивавшего их клюкой в гроб. Свобода от сторожа, сторожившего дом, стороживший их. (О, *Пимену* дело только до *дома*, сохранить дом во всем объеме, со всем, что в нем, будь то комод, гроб, сын.) «Вырваться от Старого Пимена!» Сами не знали, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, Надя: «Впрочем, мы с Сережей в нем долго жить не будем. Дом останется Оле». И Оля, как бы обидевшись на такой распорядок (подарок!), – запальчиво: «Тогда я его взорву!» Но Россия со *всеми* Старыми Пименами взорвалась

раньше.

Гнет родителей – был, но гнет – исполнительный: подневольный. (Не забудем, что и над Зевесом – рок.) Гнет был не от их присутствия, а от всеприсутствия, всюдусущия: в самом воздухе дома и на тридцать верст вокруг (на тридцать лет вперед!). «И настигнет мя десница твоя» – это вовсе не значило, что А.А. над дочерьми сидела и пилила (дочери для нее были только частью домоводства, такую же, как сундуки), что Д.И. в неурочные часы заходил и ловил. Гнет был в том, что неурочных часов не было, не могло быть, что сам этот дом был затянувшийся «урок истории», что слишком легко было физически из-под гнета выйти: обойти. Это был, если довести вещь до ее истинных размеров – искус доверием. Нет, не то слово: родители и предположить не могли, чтобы их можно было обмануть. Слепость их веры (в непреложность своей правды и власти) и составляла затвор. Замок не было. Впрочем, давно известно, что вера – привязь пущая всех цепей. Если нельзя обмануть доверяющего, то как же можно – не сомневающегося, не усумнившегося никогда? Дочери, как и мать, были честны и горды. Дом у Старого Пимена при всей его тяжести был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было. («У нас было тяжело, у нас не было так мелко» – слово Оли И. о семье, в которую из Старого Пимена вышагнула.) Это не была бытовая трагикомедия приказов и обманов, придинок и уловок, как все бытовое кончающееся благополучно. Дом У Старого Пимена

благополучно кончиться не мог. Потому он так надо мной и властен, что он был не менее чистокровно-трагичен, чем дом Приама. Что над ним был – Рок. Рок, сказавшийся в самой физической заочности родительского гнета, в их физическом олимпийстве: наверху, на свету, откуда вниз, в полуподвальные садовые туманы, шли невидимые декреты – токи. (Единственный дом, кстати, на моей российской памяти, где бы *родители* жили наверху, а *дети* внизу). И в Трехпрудном, и во всех ему подобных – детским был тесный, низкий, но жаркий и светлый верх, родительский – парадный, просторный, но пустынный и холодный низ. Дети от родителей спасались наверх. Здесь же дети родителями были низвергнуты в преисподнюю, под достоверные *своды*... Аида. Очевидно, старина Старого Пимена была древнее дворянской (Уран, Титаны...). Но подчас, еще углубляя этот образ, Д.И. предстает мне уже не Зевесом – Гадесом, владыкой подземного царства.

Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проведшая, за исключением одной италийской весны, в родном Аиде – всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса – ни зерна не оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В.Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами...

И бедная, бедностью – счастливая Оля, променявшая все Плутонovy сокровища на пшеничный колос земли, любви.

Бедные – вы, и бедный – ты.

Зевес или Гадес – этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец. Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не будет. *Были.*

Но была в нем одна область *не* олимпийская, *не* аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, *иудейском* сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом поведенная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к иноверцам и, ее пережиток, иудейская – к христианам? Иловайский, плачущий горячими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь (бедным Олиным сыном, недолго зажившимся), – что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком, в котором течет христианская? И проклятия Д.И. последнему оставшемуся в живых ребенку – дочери, за то, что ввела в его род – еврейство – не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род – христианином?

Не-близнецы? Не-двойники?

Между таким юдофобом и тем же изувером – канат ненависти, связующий, и они, через эту связующую их *жилу*, глядятся друг в друга, как в зеркало.

Но *правоверный*, ненавидя, прав, *православный*, ненавидя – преступен.

Если был у Д.И. бог – то бог ветхозаветный, убийственный, губительный, бог с засухой из ноздрей и с саранчой за пазухой, – *тот* бог, не наш.

И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси – Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

– Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей.

(Розанов, бровями) – ? —

– Это – *Вы*.

* * *

И, выплывая на поверхность века, места и быта – Иловой-ский был менее всего самодур. Никогда – «чего моя левая нога захочет» (та, с которой нынче встал!) – всегда – *голова*. Между ним и Багровым-дедом ничего общего, кроме неизбежной тяжести личности¹¹⁰ и единственного в жизни обоих случая умиления над занесенным под их кровлю одиноким и бесстрашным женским существом. Новой особью женщины: единственной. Д.И. мою мать явно чтит, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не осудила. Странность этой расположенности была и во взаимопо-

¹¹⁰ Quand c'est un caractère, c'est toujours un mauvais (Le Tigre) (примеч. М. Цветаевой). Перевод: «Что до характера, то он всегда плох» (Тигр).

ложении этих людей: отец первой жены, расположенный ко второй. Вторая, так страдавшая от первой (тени первой!) – к отцу этой первой. По существу же, они чем-то, отдаленно, походили, подходили (совершенно так же, как совершенно непохожие Софья Николаевна и Багров-дед). Больше скажу: если бы не закон, по которому дочь у отрешенного ученого и старика – непременно красавица и певица (или танцовщица), если бы не этот закон обратной наследственности, моя мать больше бы годилась ему в дочери, чем его собственная, собственные. И вот он, ни в жене, ни в дочерях не встретивший (да и не допустивший бы!) помощницы, любовался на помощницу другого, заместительницу в сердце его единственного друга его любимой дочери. Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание сил. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д.И., этим словом было бы: «*Это* уже вне суда». Что – «*это*»? Да то нечеловеческое одиночество, холодившее кровь в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.

Но и он ей – немало прощал, не только всю ее сущность, для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России и за границей окруженность евреями, не объяснимую ни

происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) – *только* Генрихом Гейне, *только* Рубинштейном, *только* еврейским гением и ее женским вдохновением, *только* ее разумом, *только* ее совестью, – хотела сказать *только* ее христианством, но, вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для нее иудеи – *были*, и были – милее «эллинов», и обертоном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом *ее* и *моей* жизни – толстовским «против течения»! – хотя бы собственной крови – всякой среды (стоячей воды).

Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский не сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда – простил.

Когда она умерла, старик глубоко горевал. Помню его письмо к нам в Тарусу, твердое только почерком. «Вы потеряли не только близкого человека, но большого человека», – писал он своему единственному другу, моему отцу. «Друзей много, друга – нет» – вот еще одно его ворчливое, стыдливое (моему отцу же!) высказывание. Дружба эта, думаю, совсем не основывалась на общности идей. Если мой отец был верноподданный – то, как и православный, пассивно, традиционно, от прирожденного смирения, несуждения – и безразличия: безостаточной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать «верноподданным» того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно, чтобы просить за како-

го-нибудь забранного на сходке студента, которого и в глаза не видал. «Церковным» – того, кто, не желая смущать близких, а главное, делать из своей смерти «события», умер (сын, внук и правнук священника!) – без священника, хотя знал, что умирает. Такой «монархист» и «православный» прежде всего – человек. И – только человек. «Под небом места много всем» – вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание. Иловайский же, кроме любви к России, знаменуемой для него ненавистью к инородцам, любви к монархии вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать. Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы – на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей – не судят.

Вижу их вдвоем, в низкой широкой комнате с многими, многими, одинаково-одинокими окнами в сад. Над притолокой двери, в него ведущей, охотничий рог Иловайского (никогда не охотился!), которым он сзывал гостей и детей на трапезы, поражая молодежь мощью его звона: своих легких. Роландов рог историка, ныне навек замолкший.

Мы с Асей – в Спасском, именуемом также Крюковым, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки – старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без будущего и прошлого: *вдоль* событий, – мимо черных елей, мягко-колючими мокрыми лапами задевающих по лицу, как

кропилком. Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом – цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь живут одни, *продолжают*, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся половины. Так что выход А. А., откуда-то сбоку, в сером переднике с грудью, со стопкой белья в руках, а за ней и Д. И., тоже в сером и тоже с белым (газетной стопкою!) скорей... неожиданен, скорей... нарушителей. Мы никогда не узнаем, насколько комнаты старых домов, которые мы, не замечая, минуем – нас не замечают, нас, как волны старого моря, мнут – в *своем* продвижении. Волны моря и рода, только изредка, по неучтимой прихоти, возвращающие через сотню лет берегу – наше кольцо, наше лицо – правнуку.

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а потом уж – как пригвожденные, с краю штофного диванчика, на который нас усадила А.А., сама, неудобно и властно и от прямооты спины точно стоя, сидящая против нас на твердом стуле с работой в руках, к которым (рукам и работе) как будто бы и не снисходит. Между стариками канделябр в две свечи с зелеными наглазниками, от которых свет, на лица, исподлобья: «А не думаете ли вы, Иван Владимирович...» – «А не думаете ли вы, Димитрий Иванович...» Но чего не думают «И. В.» и «Д. И.», мы не слышим. Сидим убаюканные старческими интонациями и скучными сюжетами и зачарованные – немного как птицы – неотступным взглядом А.А. (вспо-

минающим? сравнивающим? невидящим?), в которой узнаю чудные глаза Сережи. Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала *его* живым. Тот же отродясь-иронический рот, та же возможность смеха в глазах (*rire latent*¹¹¹) – смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть играющую по углам губ, – будто в прятки. В этот вечер я А.А. – любила, и она, точно почуяв, а может быть, и помягчев сердцем после потери своих, обаятельно и как с ровнями беседовала с нами, дикарями и сиротами, мать без детей – с детьми без матери, хвалила прочность нашей обуви, чистоту нашего французского выговора и в конце вечера до того необъяснимо растрогалась, что обещала нам в подарок: Асе – «Дети Солнцевы», мне – «Юность Кати и Вари Солнцевых», написанные какой-то ее родственницей. Самое изумительное, что мы, действительно, эти книги получили, каждая – новую, каждую с надписью: «От сердечно любящей А. А.».

Так сын в этот вечер перевоплотился в мать.

...Но был у иловойского молодого стола свой край – тихий. Это было царство небесное «херувимчика» Сережи, лебедя среди окружающих белоподкладочников, среди маменькиных сынков – сына матери. Здесь ни споров, ни вопросов. Здесь отродясь все было решено: предрешено. Сережа из всех детей отродясь вверился Пимену и даже умирая не спорил. Примерный крошка в платице, примерный гим-

¹¹¹ Невыявленный смех (*фр.*).

нацист, примерный студент – противно? Да, если бы не неотразимое очарование глаз, усмешки, повадки, легкого налета не то какой-то виновности, не то подтрунивания над собой – не то над вами, за то, что вы в это благонаравие так уж поверили... Чуть сощуренные светло-черные, в полном соответствии с ртом, чуть усмехающимся и тоже как бы сощуренным по углам – глаза какого-то непрерывного храбрящегося прощания, гощения (недаром и умер в гостинной!), глаза старшие глядящего, глаза рода, глаза – последнего в роду.

Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черносотенец?

Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а Cherub¹¹², не маменькин сынок, а сын – матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник – сама белизна, не черносотенец – горностаи.

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом. Тип же один: смертный. Очень явные ноздри чуть коротковатого, как бы ножницами подрезанного носа, очень явные зубы, глубокие ямы глаз, подъямины скул. Точно смерти с них даже не меньше придется снять (дело не в худобе), а меньше придется над ними работать (modeler, формовать), чтобы получить свой собственный образ. Такие лица часто бывают у детей, верней: много детей с таким ли-

¹¹² От cherubin – херувим (*фр.*).

цом. (Детей – много, лицо – одно.) Мальчиков. Непременно: темноглазых. Взываю к сочувственному (эвокативному) воображению читателя.

Когда я все дальше и дальше заношу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила, – и отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из «Виндзорских проказниц») оказывается еще более первый (зеленая кукла в пассаже), а у этого *самого* – еще более *самый* (чужая дама на Патриарших Прудах) и т.д., и т.д. (только в *другую* даль!) – когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И *не* любил – когда? —

а я сама – в неучтимальном положении любившего отродясь, – *до-родясь*: сразу начавшего с второго, а может быть, с того... в положении продолжения без начала, в положении отброшенного продолжения... Но конца у этого словесного периода, по самой внутренней его бесконечности, быть не может.

Правда, есть свидетельство моей матери о моей двухлетней бурной любви к черноглазому и-мазому студенту Айналову, но *я* этой любви не помню, кроме того, откуда мать могла знать, что это – первая, поручиться, что я уже с рук кормилицы не рвалась на другие, *не* ее? (Раз есть вещи, ко-

которые никогда не кончатся, всегда будут, – а эти вещи есть, и их знают все, – так же закономерно, чтобы были вещи, которые никогда не начинались, всегда были.) Но теперь, так сильно вжившись в Сережу, и по тому волнению, которое он, *мною* вызываемый, во мне вызывает, мне начинает казаться, – я на самом краю уверенности, – что первым живым мужским существом, которое я любила, был он.

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой, часами в полном молчании простаивающей возле Сережи, глядя, как он заступом с Оки к нам на дачу в крутом боку горы роет лестницу. И когда однажды Августа Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и устойчивостью – подвигнуть меня дальше очередной Сережиной ступеньки было невозможно: «Да что ты всё глядишь и глядишь на эту Треппе¹¹³? Ничего в ней такого нет *interessant!*» – я, вздохнув всем животом: «Я гляжу на его голубые панталоны...» Голубые? Не знаю. Он тогда был гимназистом, а у гимназистов были серые. Или же, летом, суровые, холщовые. Голубизна Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» – помню.

Но что-то еще встает, раннейшее, позднейшее? «Сережа и Надя» – не Иловайские, а другие, не брат Сережа и сестра Надя, а другие, по-другому. В приложении к «Ниве». Прочитанное? Прослушанное? У нас в Тарусе, как по всем таким семьям России – укрыться от темных ночи, – сбивались под белый ламповый круг (подножка лампы, объемом в мед-

¹¹³ Лестницу (*нем.*).

вежью ногу: медведь лезет в улей!), и кто-то что-то читал. Иногда детей «забывали». Только помню ожог и – жуть тайны посреди груди, там, где ребра расходятся: никому не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю... Сережа и Надя. Приложение к «Ниве», рассвет девятьсотых годов.

Странно, что от Старого Пимена я получила первый урок легкомыслия – непривившегося. Вот он, черным по белому, в малиновом альбоме Нади, гостившем тогда у сестры Валерии.

Спешу тебе в часы досуга
Написать десять строк.
Прими совет сестры и друга —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Ты весела, ты все хохочешь,
В головке бродит ветерок,
Но, если плакать ты не хочешь —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Пуускай они тебе клянутся,
Пуускай грозят взвести курок,
Ну, хоть на части разорвутся, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который век ты не забудешь, —

Не верь мужчинам, мой дружок!

Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то, ни другое мне на роду написано не было – то и урок не привился, и я, как, впрочем, и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, – аминь – в «неверие» не поверила, встречному – верила.

Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.

Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное – те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон».) Вечный сторожевой окрик одной сестры – другой (одной доверчивей другой!) – «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором – уж не знаю, чьей рукой:

Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!

(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятисотых годов).

Однажды, тогда же – мне было семь лет – Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» – «Ну, конечно, черт

возьми!» – «Но зачем же „черт возьми?“ – с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние „лопаты“ в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство, мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя – такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей – пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. „А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!“ Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он – такой добрый со мной, такой нежный... И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чуя и стараясь рассмешить: „Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, не улыба!“ – тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и – последним голосом: „Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете...“ Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать – сердилась), меня ими, как красной

тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева... Может быть – он сам писал стихи? Прозу – знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их „пятнице“ свою пьесу „Мать и сын“. Действующие лица: „Мать – 20 лет, сын – 16 лет“. Взрыв хохота, и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.

А мать над ним – все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше – глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: «Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем». Глазами же он ей говорил одно: «Люблю. Твой».

Эта любовь у либеральной молодежи называлась «консерватизмом», равно как собственный инстинкт самосохранения – «политической оппозицией». Странные бывают слова (и чаще – иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься...

Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее – дали.

Спасибо и за старый мир, ныне всеми, всеми преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскре-

силь. Вы были его чистейшее зеркало.

Спасибо за верность дому – даже такому.

Спасибо за мать.

* * *

После Нерви брат и сестра стали умирать.

Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. «Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот – сырость... Ведь Спасское стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать – значит, бросать всё. Всё, значит – дом. Дом, значит – сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами не мигая глядеть на всех и особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел... Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей-кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, – со всей этой грабировкой? Кроме того, в Крым, значит – на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д.И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она – пушья, самая тайная и упрямая, опять у нее

обнаружила борный вазелин для рашения бровей и ресниц – и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин – у меня под ключом, значит, этот – новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому – не дай Бог! – как только его в дом пустили? – Р – ну. Какой уж тут Крым?

И веером, в ответ на эти соображения, Д.И., лаконически: – Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес – это главное.

Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Этот невинный, в земных делах несведущий ангелочек в этом последнем земном деле и в первом неземном оказался именно ангелом: знающим. Сколько я их видела, за всю болезнь моей матери, по Боривахам, по Квисисанам (почти уже – по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте – врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это «маленький бронхитик», отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность возможности – сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно, знали) – тяжелобольных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметами смертей, вплоть до № такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора, – а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни в семье – первый и никогда в санатории не был, – не обманувшись ни посулом Кры-

ма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял – и – принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже *знал*) – увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли – в Боге.

А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с, внутри, собственным сердцем.

Надя, уже не встававшая, на вынос брата смотрела из высокого окна залы, в которой теперь жила. Вчера – на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче – на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым – сама пойдет. Поедет – вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах... Вот в последний раз сверху, так сверху, так назвничь, как никогда еще, по-новому – внятно, по-высокому – далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко – как на ладони, отставленной за версту! – как собственное лицо на дне колодца – в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбрящееся...

Усмешка... Ресницы...

Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая – светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не на-

ходящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая – то с чем-то пущим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили – надо прибрать дом к возвращению – и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор – от тех самых веток (чтобы не заметил дворник!). В руках целый букет – черных, мохнатых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловойской молодежью (значит, и *им*) в прошлый сочельник. Сочельник... Ельник...

Наде, умершей месяц спустя, Бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Как бы ни назывались сопутствующие ее болезни явления – муки были ужасные, и ни один врач ее от них не избавил. Умирала она тяжелее брата еще и потому, что хотела жить. Не о непостыдной безболезненной кончине живота молила, а о жизни – какой бы то ни было – только жить!

Что может быть жесточе такой Нади, из горячей постели горячей рукой тайком передающей монашке деньги, чтобы молилась о ее здравии по всем монастырям Москвы.

Умерла она в феврале, и выносили ее по тому же снегу. Жестоковыйный старик – в этот день он впервые выглядел

стариком, а было ему уже сильно за семьдесят, – на похоро-
нах плакал. Надя в гробу лежала красавица. Спящая краса-
вица с старопименовской живой картины, нынче по-насто-
ящему – спящая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне
– знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих
– глядящим, улыбкою кажется. «Я ничего красивее не ви-
дал, – рассказывал отец, шагая с нами, Асей и мной, тоже
мимо черных елей, только не мокрых – трещащих от зноя,
шварцвальдских – не спасских (закрываю глаза, чую запах и
слышу, как хвоя трещит... И все они умерли, умерли, умер-
ли...). – С распущенными каштановыми кудрями (умирала
тяжело, и не могли расчесать), лицо – розовое, улыбка... – и
с интонацией, близкой бы к негодованию, если бы сам, весь,
не был сплошное смирение: – Такая красавица... Такая кра-
савица... – И, внезапно, оборвав и фразу и прогулку: – Ну,
домой пора. А то мама заждалась». (Мать моя умерла год
спустя от той же болезни.)

Тут я должна рассказать одну очень странную вещь. Рас-
сказываю я ее (февраль 1905 год) впервые. Рассказываю я ее
потому, что весь тот мир – иловайского Старого Пимена и
нашего цветаевского Трехпрудного, молодых красавиц, как
Надя, и одиноких, на мой лад, девочек – кончен. Кончен не
только *мой* тот век, но *весь* тот век. Рассказываю по неоплат-
ному долгу – сердца.

Когда я в закрытом учебном заведении во Фрейбурге из

письма отца узнала о смерти Нади, первое, что я почувствовала, было – конец веревки, вдруг оставшийся у меня в руке. Второе: нагнать. Вернуть по горячему еще следу. Даже (как слезы) загнать – откуда пришло. Сделать, чтобы этого еще не было. опередить – назад. Восстановить ее на прежнем (живом, *моем*) месте и, встав перед ней, не пустить. Первый ответ на удар было: сорваться с места. Но куда? Новодевичье кладбище далёко, да там ее и нет. Где же искать? В Нерви, конечно, где я ее видела в последний раз, на фоне лигурийского залива, под изгибом белой шляпы, выгнувшейся из заворачивающего экипажа. И вот, как по команде, – в Нерви. Обежав шагом колотящегося сердца все виноградом крытые дорожки нашего сада с прямо на голову свисающими лимонами и мандаринами, спустившись на мою соименницу «марину» («Видишь, вот ты и знаменитость! Везде твое имя написано», – смеясь, Надя, мне...), оттуда – в дом, сначала в их комнату, где они вдвоем с Сережей кашляли: кто – кого, потом в столовую, где под Новый год пускали лодочки с желаниями, и все *они* задумали одно, а она – другое, и ничего не сбылось! Потом в монастырский дом, не обнаружив ее нигде, обнаружив, что ее нет – *везде*, я стала в тупик. Где же мне ее искать, чтобы сказать... Что? Да то самое. Устав гадать и отложив на перед-сном, опять перечла письмо отца: «Сообщаю вам грустную весть. Вчера, такого-то февраля, умерла в больших страданиях бедняжка Надя...»

У-мер-ла. Значит, нигде?

И вот начинаются упорные поиски ее – везде.

«Куда ты?» – «Платок забыла в дортуаре». Проглотив лестницу, несусь по гулкому коридору, на поворотах чуть ли не отрываясь от собственного тела, опережающими и все же неспешающими ногами влетаю... Может – здесь? Разве знает, что всё внизу. Но – ничего, кроме блеска холодного, мною же оттертого умывальника, кроме холодной белизны мною же накрытой постели, в рядах таких же белых и безнадежно-пустых. Как же я не сообразила, что здесь слишком светло? Что здесь можно только *быть*, или *не* быть. Где же, сейчас, темно? Есть темное место, всегда темное, музыкальная комната, одна во всем этаже, нежилом. Но туда, до Klavierübung¹¹⁴, не пустят. Как прожить эти три часа до шести?

– Klavierüben, Marina. – Намеренно-медленным шагом выхожу, уже не бегу, не бегу, даже когда одна в пустом этаже, с полным самообладанием, аккуратно, во всех подробностях управляюсь с туго поддающейся дверью (дать успеть прийти...). Осторожно, чтобы не спугнуть, просовываю голову, за ней, как ненадежного постороннего, впускаю тело. (Самое для меня теперь дивное, что я не только ее не боялась – *ее* боялась испугать.) Сажусь. Не оглядываюсь. Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения, событий не тороплю, само придет (сама придет)?.. Но, когда перехожу к «Invitation a la valse» «Пригла-

¹¹⁴ Музыкальных упражнений (нем.).

шение к вальсу» (фр.), сердце не выдерживает и, не обрывая игры, в лад педальному нажиму: «Надя! Надя! Надя!» – сначала мысленно, потом шепотом, потом вполголоса... (Во весь голос не позвала, не назвала никогда.)

– Das Mägdlein schläft – ihr Eltern jammert nicht...¹¹⁵ Какой бог внушил дубовой Frl. Risky задать моему классу именно эти стихи? И не тот же ли бог внушил убогой Frl. Annie задать мне бетховенское «Lied für Elise»...» Песнь для Элизы» (нем.).

Нади я не увидела никогда, как ни взывала, как ни умоляла, как ни подстерегала – на всех коридорных поворотах оборотом головы жирафы на каждый мнящийся шум, шумок; как ни выстаивала – стойкой вкопанной гончей – все на той же полянке нашей ежедневной прогулки, пока другие ловили мяч; как воровски ни вращалась в стену в простенке между платяными шкафами, мимо которых сейчас должна пройти; как ни выглядывала за благоприятствующей завесой ладана в ряду семисотлетних деревянных неразумных и разумных дев и, еще настойчивее, из собственных глаз выскакивая – в многообещающих портьерах Fremdenzimmer...¹¹⁶ С порога Fremdenzimmer, с постели Krankenzimmer¹¹⁷, во всем движущемся, во всем кажущемся – в каждом молчании – в каждом звучании – крадучись – наскоком – самоутверждаясь –

¹¹⁵ Девочка спит, родители, не грустите (нем.).

¹¹⁶ Гостиной (нем.).

¹¹⁷ Комнаты для больных (нем.).

развоплощаясь...

Нади я глазами не увидела никогда.

Во сне – да. Все тот же сон: прихожу, она только что была, иду за ней – она уходит, зову – оборачивается с улыбкой, но идет дальше, хочу догнать – не могу.

Но знаки – были. Запах, на прогулке, из цветочного магазина, разом воскрешающий цветочный бой и ее, цветком. Облако с румянцем ее щек. С изгибом ее щеки. Даже жидкий ячменный кофе, пока не налили молока, – с золотом ее глаз. Знаки – были. Любовь всегда найдет. Всё было знак.

Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была – тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти – для встречи. Нестерпимое детское «сейчас!». А раз здесь нельзя – так не здесь. Раз живым нельзя – так. «Умереть, чтобы увидеть Надю» – так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как «Отче наш», так бы я со сна ответила на вопрос: чего я всего больше хочу. А дальше? Дальше – ничего – всё. Увидеть, глядеть. Глядеть – всегда. И, странно: я, такая беспощадная в своей внешней самооценке, так стыдившаяся своей некрасоты перед ее (и Сережиной – и всякой) красотой, ни секунды не усумнилась: «А что, если Надя, такая красавица, увидев меня, некрасивую, да еще маленькую – не захочет?» Точно я уже тогда знала стих Гёте:

O, lasst mich scheinen, bis ich werde¹¹⁸.

¹¹⁸ Какой кажусь, такой я стану (нем.).

а что *werde, сбудься* я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже *нет*, если даже старая оболочка... —

Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib¹¹⁹,

– значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят... Точно я уже *тогда* знала то, что так непобедимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там – отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе – я знала, что соперников в *этой* любви у меня не будет.

Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда *скрыть* (стыд) пересиливает *знать* (страсть). Страсть тайны – страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее называть, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами. (Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова – сам Рахманинов.) Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми похода-

¹¹⁹ И нет меж облаков небесных// Ни женских ликом, ни мужских (*нем.*).

ми (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежачее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о *той* рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробности болезни и *от* любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила Бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слыхала.

Что тянуло эту юную покойницу из тайного далека, с Новодевичьего в Шварцвальд (*издальше!*) ко мне, маленькой девочке, ей так мало знакомой? Ибо теперь вижу, что *моя* любовь была *ее* воля, что *она* ко мне шла, за мной ходила по меховым горам Чернолесья, *она* тихонечко и настойчиво зазывала меня в пену местной Ниагары – маленькой, холодной, глубокой и бурной речки, обрывающейся, как жизнь. *Она* заставляла меня молчать о ней – всем, особенно матери. *Она* глядела на меня из каждого миловидного жарового женского лица с санаторского кресла. Она, пользуясь моей близорукостью, заставила меня влюбиться в одну такую молодую больную, сменой сходства и несходства, очарования и разочарования, грубо говоря: неизбежностью контраста в свою пользу только пуще предав – себе. Влюбленность, которую я при своей тогдашней и всегдашней честности: бес-

страшии осознания и названия, ни секунды не ощутила изменой: только подменой – и какой болевой!

Больше скажу: молодая покойница точно передала мне весь свой неизрасходованный румянец, ибо как только кто-нибудь: «Бедная Надя!» – или мать, глядя на свою сотоварку (ту самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как Надя», – я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а выскочив из себя, уже неслась «за книгой» или «за палкой», зная, что через еще-секунду уж не смогу, никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара! Любовь слепа? Но как люди на нее слепы! Так, даже мать никогда не разгадала моей тайны, – на лбу написанной! – озабоченно говоря мне по возвращении: «Какие у тебя резкие движения! На полуслове... Так ведь испугать можно. Книга... Палка... Ведь не горит!» Нет, горит.

...Почему не Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее – как все?

А потому что Сережа сам смирился, а Надя – нет.

А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя – да.

А потому что Сережа совсем умер, а Надя – нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней *было!* не рассталась, совсем осталась.

И еще потому, быть может, что о Сереже уже *так* горевала мать, а о Наде так, как я (утверждаю это и сейчас), никто – никогда.

Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же – немецкие...

Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, – именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя – ходила за *своим* поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?

* * *

Д.И. Иловайского я в последний раз видела, точнее – слышала, накануне открытия музея Александра III, в мае 1912 года, у нас в доме, в неурочно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб – будет?» Молчание, затем покашливанье вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с всё еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрашием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д.И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рука-

ву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то – не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает – служитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано – так ложь. Нет, номер нужен, номер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню... В прихожей-то было за Андрюшу принял, а теперь вижу – нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто *еще* моложе...» – «Я муж зятя... то есть зять дочери – Марины... Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недоверчиво: «Муж? – и уже бесстрастно: – А-а-а... Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».

И, перепутав родного внука с чужим зятем – уже сказанием! Уже привидением! – метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, за эти несколько минут совсем стемневшей – как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей – последней зари – домой, к своему патрону – Пимену, к патрону всех летописцев – Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Дмитровке, к Малому Дмитрию, к Дмитрию Убиенному – в свой бездетный, смертный, мертвый дом.

Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира.

1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того, что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит – то нас.

«Марина! У тебя еще живет этот жилец – как его?» – «Икс? Живет». – «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». – «Как – выпустили?» – «Ну, да, сидит в Чека уже неделю». – «За что?» – «За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично». – «А сколько ему сейчас лет?» – «А Бог его... Около ста, должно быть». – «Ну-у?» – «Во всяком случае девяносто». – «Хорошо, я попытаюсь».

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ – по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» – «Да?» – «Нечего сказать, хороши ваши большевики, – столетних стариков арестовывают!» – «Каких еще стариков?» – «Моего деда Иловайского». – «Иловайский – ваш дед??» – «Да». – «Историк?» – «Ну да, конечно». – Но я думал, что он давно умер». – «Совершенно нет». – Но сколько же ему лет?» –

«Сто». – «Что?» Я, сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». – «Помнит Пушкина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но эт-то же – анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...» – «Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». – «Да – (быстро и глубоко задумывается) – это-то – действительно... Позвольте, я сейчас позвоню... – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ... недоразумение... Иловайского... да, да, тот самый... представьте себе, еще жив...»

Неделю мой скромный Икс гонял по Иловайскому делу, он – олицетворенные две ноги – на автомобиле! Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше, чем верила – знала. И на седьмой день в тот же ночной час – топ-топ-топ-топ – (ровно в четыре скачка брал лестницу) – стук-стук-стук: «Марина Ивановна!» – «Да». – «Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку. – Сияет, но лицо злое, то же сияние и злоба в голосе. – Но ззнате – не легко далось!» Я, робко: «Спасибо, я не нахожу слов, чтобы...» – «Совсем не надо, я с удовольствием, собственно без всякого удовольствия, я бы вообще не, но... Ему правда, девяносто лет?» Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить: «Девяносто восемь». – «А выглядит – шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите – На-

полеона помнит?» – «Всё, что угодно! А главное – Пушкина». Икс, на секунду полузакрыв глаза: «Замечательно!» Я, пользуясь секундой: «А за что его арестовали?» Икс, открывая настезь: «За германскую ориентацию». Я в полном чистосердечии изумления: «Но он же казак, даже станица есть „Иловайская“. – „Я не говорю: за германское происхождение – для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Интернационал, я говорю: „ориентацию“. Я многозначительно: „А-а-а...“ – „Он очень, очень бодр для своих лет. И даже не для своих“. – „Он еще недавно на велосипеде катался. И в рог трубил“. – „В рог? Скажите! (с любопытством). А зачем, собственно?“ – «Чтобы все слышали. В Роландов рог – ну знаете, исторический. А верхом катался, пока лошадь не отняла“. – «Мы», – сияя, заканчивает Икс.

На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда». – «Знаю». – «Три недели просидел. Ругается!» – «А ты сказал, через кого?» – «Да что ты!» – «Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс», – «Да что ты, матушка, он, если узнает – обратно запросится!»

Обратно не запросился – сам вышагнул. Из мира, где Иловайского сажает Игрек и освобождает Икс – в мир иной, о котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, целиком и отродясь отдавшись миру не менее потустороннему: былому.

Иловайский умер в 1919 году, 91 году от роду, как – не

знаю и навряд ли узнаю, ибо единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 года сам сошел в могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, на четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда. Единственная же внучка его, полуродная сестра моя Валерия, настоящая наследница старопименовских страстей и его главной: непрощания, до сих пор еще не может простить моей матери (f# 1906 году) замещения в доме *ее* матери (f# 1890 году) и, ненавидя ее в наших, с Асей, голосах, лицах, жестах и даже *буквах!* Ненавидя так, как можно ненавидеть *единственно-ненавистное, дважды* воскресшее, именно: *ненавидя*: не могучи *видеть*, а видя – *наглядеться* – эта сестра Валерия мне, естественно, ничего не захочет сказать. Могла бы привести библейскую по ненависти сцену, тут же над ямой, этой сестры Валерии моей кротчайшей сестре Асе, на руках которой и умер Андрей, но это уже относится к нашей семейной хронике.

И, чтобы кончить о Д.И. Знаю только, что умер он у Старого Пимена и что работал до последнего дня. Да и не знала бы – знала бы.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать.

Которая зима? Все они сливаются в одну, бессрочную. Во всяком случае, зима «прыгунчиков», непомерно высоких существ в белых саванах, из-за белого сугроба нападающих на одинокие шубы, а иногда и, под шубой, пиджачную пару, после чего – уже запоздалый ходок – в белом, а непомерно высокое существо, внезапно убавившись в росте – в шубе. Так вот, этой зимой прыгунчиков захожу с ныне покойной Т.Ф. Скрябиной к одним ее музыкальным друзьям и попадаю прямо на слова: «Необыкновенный старик! Твердокаменный! Во-первых, как только он сел, одна наша следовательноница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа – пять томов судебного уложения. И когда я ей: „Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так убить можно!“ – он – мне: „Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не страшусь, а книг уж и подавно – я их за свою жизнь побольше написал“. Начинается допрос. Товарищ N сразу быка за рога: „Каковы ваши политические убеждения?“ Подсудимый, в растяжку: „Мои по-ли-ти-че-ски-е у-бе-ж-де-ни-я?“ Ну, N думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: „Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?“ Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: „К Ле-ни-ну и Троц-ко-му? Не слышал“. Тут уж N из себя вышел: „Как не слышали? Когда весь

мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?“ А тот, наставительно: „А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются“. Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»

– Историк Иловайский?

– Он самый. Как вы могли догадаться?

– А как вы думаете, он про них действительно не слыхал?

– Какое не слыхал? Конечно, слыхал. Может быть, другие поверили, я – нет. Такой у него огонь в глазах загорелся, когда он это произносил. Совершенно синий!

Рассказчица (бывшая следовательница Чека), сраженная бесстрашием деда и многих других подсудимых, менее древних, следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые – люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдел игрушек. Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын...

* * *

Остается конец А.А. Он страшен. Потеряв всех (последняя дочь была за границей), А.А. осталась одна, втиснутая со всеми своими мебельями и сундуками в одну комнату – ту, полуподвальную, со сводами, бывшую Надину, окнами в

сад. Вокруг был новый мир, от первого тесного круга все-
лённых жильцов – до кругозора новых идей – до огромного,
в сплошных заревах, окоема Революции. Как же она с ним
справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но
отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла. Чтобы в полный
разгар Революции, нося такое имя, в таком суде, выиграть не
один, а целых два процесса с таким «арендатором» (так она
это, для приличия, называла), для этого нужно было быть
ею, то есть, по слову близкого ей лица, фанатиком собствен-
ности.

Попытаемся восстановить ее день, все тот же день один-
надцати революционных зим.

Вставанье в холоде. (Ничего, полезно, всю жизнь проспала
с открытой форткой.) Чай без сахара (тяжело). Черный
хлеб (именно *тяжело*). Очередь за мылом. (Ничего, выстою.
Отстою свое, а уж *свое* – отстою!) И вот, при полном шут-
ливом одобрении всей очереди («Ну и сурьёзная граждан-
ка! сквозь такую не протиснешься!») победоносное изгнание
«нахала» и свой кусок немылящего мыла – в руках. Домой,
есть. Ест мало – приучена. (Вот только – овса нет! Точно они
с Д.И. только для того и соединили свои жизни, чтобы вместе
есть овес. Есть в этой ассоциации что-то умилительно-кон-
ское...) После еды – рытье в сундуках. Вижу ее на коленях,
подперев все еще заносчивой головкой все еще маркизы ко-
ваную крышку сундука. Голова – болит. Ничего, своя ноша
не тянет! Скаты сукна, полотна, шевиота, тисненого муара,

атласа... С чем расстанусь? От чего оторвусь? И подумать, что все это будут носить хамы. Хамки. Хамки ради на коленях стою...

Смоленский рынок. Пожилая дама, в шубе с буфами, в высоких востроносых башмаках. Из-под белого кавказского (Сережиного еще) башлыка – черные глаза без всякой милости. Не предлагает, не протягивает, перевесив через отставленную руку – являет. Безмолвно. Но товар сам за себя говорит. «Сколько?» – «Столько». – «Да что ты, тетка... (под пронзительным взглядом) – да что вы, гражданка... (и, не вынося глаз) – да помилуйте, мадам, рази... Совсем гражданина обездолить хотите... Хотите?» (Цифра.) – «Нет», – точно лед треснул. О, эта ли уступит копейку с аршина – *этим*, когда и собственным своим молодым страстям, и родным детям не уступила. Никогда – никому – ни в чем. И вот, под двойным давлением недобрых глаз и добротности товара, гражданин ей в ладонь бумажки, себе под мышку – аршины. Стоят пересчитывают, каждый – свое, в беззастенчивости своей являя собой картину полного равенства.

Домой, в нору, с горстью рафинада в бумажке, с белым хлебом, но не под мышкой, а на дне английского, свиной кожи, чемоданчика.

Письмо за письмом от дочери. Настойчиво зовет за границу. Но – как расстаться с вещами? С собой взять? Всего не возьмешь. Продать? От одной мысли мороз. Как же без всего, одной, без арьергарда сундуков, корзин, мешков, уз-

лов? Изредка посылки нуждающейся дочери: когда несколько английских фунтов от удачной продажи на Смоленском, когда шелковое платье gris-perle¹²⁰, из только одного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое платье.

Кто-то в 1927 году о ней из Москвы пишет дочери:

«Обстановка у мамы ужасная – одна комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет...»

Днем – от куста, то снеговым, то лиственным грузом застилающего свет.

Ночью – от дум.

Так – до 1929 года.

* * *

Январь и ночь. А.А. собирается спать. Свет горит – тот самый, что и днем: верхний, белый, ровный. За окном – мерзлый сад. Под самым окном – во весь его дубовый ставень – замороженный сиреневый куст, как сторожевой пост.

Снимает с себя верхнюю в клетку, юбку, нижнюю, с крючком, юбку, на двенадцати пуговицах лифчик (четвертая на одной нитке – закрепить!), распускает вздержки, аккуратно складывает вещи в стопку. В одной рубашке, пробравшись между сундучной толкучкой, подымает покатую, горбом, крышку, обнажает мраморную доску, подставляет под

¹²⁰ Жемчужно-серое (*фр.*).

струйку губку. Надевает ночную кофту, продевает в иглоку нитку. Вынув шпильки, обрабатывает щеткой до блеску. Вплетает косоплетку. Встав на циновку, молится на лампадку: «Хлеб наш насущный» и за упокой душ.

Стук. В ставню – куст, мерзлой веткой, как мерзлым пальцем. Точно вправду пальцем: вторым его согнутым, суставом. Раз – второй. А что, если будет?.. – Третий. И вот, крадучись, удаляется. А.А., хладнокровно: «Нервы». Но все же, для достоверности, пробравшись между острыми углами сундуков, привстав коленом на так и не убранные стопы «Кремля», приникает лбом к раме. Ничего. Глухая стена ставня. Оттолкновенье мерзлого стекла.

Да и чего бояться в таком доме? Со столькими жильцами? Сколько жильцов – столько револьверов. За такими ставнями? С таким дворником? Да и кому пугать по ночам, зачем? (В ту минуту А.А. забыла, что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы остеречь. И если бы она, как ей в самую смутную секунду было захотелось, сейчас – вышла, она бы, может быть, увидела не страшное, а родное – и в черноте ночи светло-черноглазое! – не по земле, а над землею отходящее от окна. А если бы и никого, ничего не увидела, кроме припавшего куста сирени, – то предостерегающий может, за отсутствием иных возможностей, постучать и веткой...)

Собравшись с духом, входит в ледяную постель.

Закрывает глаза, *не* свет. Свет горит, тот же, что и днем, так же, как и днем: ровно, неживо. Под закрытыми веками

– лицо того солдата с рынка, которому вчера продала парчу. (Ту, от Надиного боярского, так и не сбывшегося, костюма.) Молодое лицо, безбородое. Через лоб «большевицкий» вихор. А жаль, что только по столько-то аршин, хороша парча, дал бы больше...

А – сын? Забыла? Нет. (Нынче, разгребая сад, задела лопатой куст: зазвенел, как венок. В годовщину не забыть убрать фарфоровый: и цветы обились, одна проволока...) Но туда, на самое *дно*, где он, и только он один, не спускается никогда. Иначе – не жить. А жить – надо. Зачем? А сундуки? Кому же все пойдет: неношеное, нетронутое, некроеное, десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего дня. Дочь – далёко... Этим? Все – тем?! Нет, жить надо, всё прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ничего. Никому.

Спит.

Беда пришла не из окна. Беда пришла из двери. Стук. А.А. спит. Вторичный, спешный. «Кто там?» – «Иван, дворник. Александра Александровна, дело до вас есть». – «Какое дело? Завтра!» – «Нет, дело неотложное, вы уж, пожалуйста, простите, что беспокою, долго не буду». – «Погоди входить, открою и сейчас лягу».

...Входит. Стоит молча. Глаза не те. А.А., властно и нервно: «Ну? – Упавшим голосом: – Да ну же?» Тот, в дверь: «Входи, ребята».

* * *

Старый дом точно только того и ждал.

* * *

Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только шестьдесят четыре рубля с копейками. «Добра» не тронули – тряпки. Бежали на Кавказ, были прослежены, схвачены, судимы, иные – расстреляны.

Дом у Старого Пимена кончился в двойной крови.

* * *

И кончаю словами одноименных воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

– Ныне в приходской церкви Старого Пимена комсомольский клуб.

1933

Башня в плюще

Недавно, раскрыв одну из рильковских «Элегий», читаю: «Посвящается княгине Турн-унд-Таксис». Турн-унд-Таксис? Что-то знакомое! Только то было: Тур. Ах, знаю: башня в плюще!

* * *

– Russenkinder, ihr habt Besuch! («Маленькие русские, к вам пришли!») Это истопница Мария влетела в пустой класс, где мы, сестра Ася и я, единственные оставшиеся в пансионе пансионерки, равнодушно перевертываем листы наших хрестоматий в ожидании завтрашней, ничего не обещающей, Пасхи.

– Господин, – продолжает Мария.

– Какой?

– Как все. Настоящий господин.

– Молодой или старый?

– Я же вам говорю: как все. Не молодой и не старый, как надо. Идите скорей, только, фрейлейн Ассиа, уберите волосы со лба, а то у вас глаз не видно, как у крысоловки.

«Зеленая комната», заветная, начальница, она же приемная. Навстречу нам, с зеленого кресла – знакомый, неузна-

ваемый, всегда беспиджачный, а сейчас даже в крутом воротнике, всегда с пивным подносом в руках, а сейчас со шляпой и тростью, такой дикий в соседстве с начальницей, на фоне этих зеленых занавесей – хозяин «Ангела», Engelswirth, владелец нашей чудной деревенской гостиницы, отец наших летних друзей Карла и Марилэ.

– Господин Майер так любезен, что приглашает вас завтра к себе, в свою семью, на целый день. Он заедет за вами в шесть часов тридцать минут утра и доставит вас сюда в тот же час вечера. Если будет благоприятствовать погода. Разрешение мною уже дано. Благодарите господина Майера.

Остолбнев от счастья и от священности места, робко, – я, почему-то, басом, а Ася писком, – благодарим. Молчание. Герр Майер, не менее нас подавленный священностью места, а может быть, и сдавленный несвойственным воротником, глядит себе на ноги, действительно неузнаваемые в новых башмаках. Мне почему-то кажется, что ему страшно хочется нам подмигнуть. Никто не садится. Выходя, Ася все-таки догадывается и осмеливается осведомиться: вырос ли Карл и докуда теперь отцу.

* * *

Пустой дортуар. Мария только что привернула лампу. Завтра! Под веками – сначала круто восходящее шоссе, потом, с которого-то поворота, более знаемый, чем видимый,

вросший в свою двойную ивовую опрау, любимый, холодный, ундинин полупоток, полуручей Борербрах, в который нам, из-за ледяной его воды, всегда запрещали входить и в котором мы, однажды, целиком, в платье... А дальше – распятое на повороте, а дальше с шоссе влево, а дальше – уже совсем близко! – из-за сливовой и яблонной зелени, сначала гастхауз¹²¹, а потом и сам Ангел, толстый, с крыльями, говорят – очень старый, но по виду совсем молодой, куда моложе нас! – совсем трехлетний, круглый любимый ангел над входом в дом, из которого нам навстречу фрау Виргин, а главное – Марилэ и Карл, главное, для меня, – Марилэ, для Аси – Карл.

– Завтра! – В шесть часов тридцать минут. – Если будет хорошая погода.

* * *

Первый взгляд – в окно. Собственно, два первых взгляда – в окно и на часы. Застегиваю на Асе шесть наспинных пуговиц ее лифчика. Но как же с платьями? В будничном нельзя – Пасха, а в праздничном – ни на дерево, ни под дерево.

– Я, как приеду, переоденусь в старое Марилино.

– А я? (Ася, обиженно.) Мне Марилино будет до полу!

– А ты – в Карловы панталоны! (И, видя, что она уже пла-

¹²¹ Гостиница (нем.).

чет:) А ты в Марилину кофточку, она тебе как раз будет до колен. А рукава завернем!

Звонок к завтраку – для нас одних. Начальницы спят. Завтракаем одни с Марией. Завтрак, как всегда, овсяный кофе без сахара (который весь пансион целиком, «добровольно» и раз навсегда, кажется, в день своего основания, уступил «бедным детям») и хлеб без масла, но зато с каким-то красным тошным растительным клеем, который ест без отвращения и, когда удаётся, за всех, то есть слизывает у всех, только вечно голодная, несчастная, всеядная, на редкость прожорливая бразилианка Анита Яутц.

– Ах, фрейлейн Ассиа, вы опять заклеили всю клеенку! Давайте я за вас доем, а то только четверть часа осталось.

* * *

Половина седьмого. Без четверти семь. Семь. Погода не чудная, погода, собственно, средняя, все небо в тучах, но, во всяком случае, дождя нет. Еще нет. Половина восьмого. Он, конечно, задержался на рынке и сейчас, сейчас будет. И не может же герр Майер, мужчина, эти несколько капель считать за дождь! Капли учащаются, сначала струи, потом потоки. В восемь часов явление младшей начальницы, фрейлейн Энни.

– Дети, через полчаса будьте готовы в церковь. Герр Майер теперь, конечно, уже не приедет.

В восемь часов пятнадцать минут звонок к мытью калош.
Звонят для нас одних.

* * *

О чем говорит проповедник? Ася, самая младшая из всего пансиона и всегда засыпающая от проповеди, нынче в первый раз не спит. Не спит, а тихо и крупно плачет. Но хуже, чем «не приехал», другая мысль: «А вдруг приехал? И, не застав, уехал? Нынче ведь пасхальное воскресенье, весь город подыметя в „Ангела“, герр Майер ведь с провизией, он не может ждать».

На обратном пути фрейлейн Энни мне:

– Почему же ты ничего не говоришь, Руссенкинд? Ассия хоть плачет. Разве тебе не хотелось к твоим друзьям, на высоту?

– Ах, я всегда знаю, я заранее знала. Это было бы слишком прекрасно!

И внезапно, вместо слез, раздражаюсь знаменитым двустишием:

Behüt Dich Gott, es wär zu schön gewesen!

Behüt Dich Gott, es hat nicht sollen sein!

(«Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно! Храни тебя Бог, этому не суждено было быть!»)

– Я радуюсь твоему поэтолюбию, Марина, но знать Шефеля тебе все-таки еще рано.

– Я не читала, это мама всегда поет!

* * *

После обычного воскресного завтрака: «красного зверя», как мы его, не зная, называем, и ревенного компота, – моем, по отдельному звонку (звонят для нас одних), в пустом дортуаре руки. А небо, проплакавшись, чудное!

Запыхавшаяся Мария:

– Руссенкиндер, фрейлейн велят вам поскорее одеваться во все лучшее.

– Мы и так в лучшем.

– А кружевных воротников у вас нет?

– Нет.

Мария сияет:

– У меня есть. И я вам их одолжу, потому что... мне тоже здесь плохо!

Бежит и возвращается с двумя: огромной гипюровой пелериной с вавилонами, спускающимися ниже пояса, – ни дать ни взять гигантская морская звезда, в середину которой просунули бы голову, – с гипюровой звездой для меня, с самовязанной для Аси. Мне моя – до живота, Асина ей – до колен.

– Теперь вы красивые, как ангелочки!

(Ах, Ангел, Ангел!)

...Гулять. Гулять одним с фрейлейн Энни – на тот же Шлоссберг, – да еще в воскресных платьях, – в которых никуда и ничего... На *только* нас двух – целая фрейлейн Энни...

Облачаясь, я – во всеместно меня выталкивающий, Ася – в излишне просторный, как-то отдельно от нее живущий, – жакеты, шагом нерадующихся детей и теней спускаемся.

Экипаж, даже ландо. Ландо, во всей глубине слова и во всем блеске явления. Глубокое лакированное ландо, запряженное двумя шоколадными, такими же лоснящимися, лошадьми. В глубине обе фрейлейн, в чем-то черном, стеклярусном, непроницаемом, торжественно-погребальном, в черных шляпах с лиловыми букетами и с букетами ландышей в руках.

– Садитесь же, дети!..

Робко ставим ногу на подножку.

– Садись, ты, Марина, как старшая, против меня, а ты, Ассия, как младшая, против фрейлейн Энни.

(Что лучше: рачьи, лягушачьи, огромные, немигающие глаза фрейлейн Паулы или болонкины, из-под болонкиных же кудельков, непрерывно мигающие красновато-голубые фрейлейн Энни?)

Ландо, в полном молчании, отплывает.

Сначала старые дома, потом счастливые дома, глядящие в поля. Счастливые поля... Потом еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи... Шварцвальдские холмы...

Куда? А вдруг (безумная мечта), а вдруг – туда, в «Ангел»? Но дорога не та, та вверх, эта ровная. И ворота не те, те с Георгием, эти – с Мартином... Но если не туда, – куда? Может быть, никуда? Просто прогулка?

– Как же вы не спросите, Руссенкиндер, куда мы едем и откуда эти лошади?

– Взрослых спрашивать нельзя (Ася).

– Лучше, наверное, не знать (я).

– Похвальная воспитанность (Асе). Опасная мечтательность (мне). Мы едем... – И вдруг в мое ухо ударяет созвучие: Тур-унд-Таксис. И молниеносное видение башни в плюще. Ныне, впервые, над этим задумавшись, понимаю: Thurn, принятая мою за Turm¹²², – давало французскую tour (башню), а Taxis, по созвучию с растительным Taxus, точного значения которого я тогда не знала (тисовое дерево, тис), давало плющ. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще.

¹²² Башню (нем.).

Башни не оказалось никакой. Оказался белый дом с террасой и с темными, как всегда днем, ночными глубокими глазами окон, так похожими на те, которыми глядит на нас, вся каштановая, вся каряя, такая же кареокая, как сопутствующая ей собака, и с такими же каштановыми насечками, – поднявшаяся с террасы и коричневым облаком на нас спустившаяся молодая женщина, не похожая ни на одну.

– Я вам сердечно благодарна, что захватили с собой детей. Одни в пансионе, на Пасху? Бедные существа! Как их зовут? Марина? Азия? Какие красивые имена, совсем по-итальянски. Вы говорите, Руссенкиндер. Но старшая, для ее лет, еще и Ризенкинд! (Великанское дитя.)

У этой женщины чудесный, за сердце берущий, певучий голос, тоже такой же каштановый. («Вчера я слушала виолончель, она звучала совсем как твои карие глаза». Так старая мать Гёте пишет молодой Беттине.)

– Ты рада, Азия, что приехала сюда?

– Да, либе фрау. (Милая дама, означающее еще и Богородица.)

– Нельзя говорить «либе фрау», нужно говорить «фрау фюрстин» (княгиня), – замечает фрейлейн Паула.

– Ради Бога! Разве можно детей, да еще такого ребенка, переучивать! (И, спохватившись:) Конечно, милые Азия и

Марина, вы во всем всегда должны слушаться фрейлейн Паула, но сегодня мы все вместе, – и Марина, и Азия, и я...

– И Тирас, – вставляет Ася.

– Само собой разумеется, и Тирас, будем просить ее о снисхождении ко всем нашим маленьким вольностям и погрешностям, потому что мы с Тирасом ведь тоже и не меньше вашего, дети, ошибаемся. Не правда ли, Тирас?

Тирас. Шоколадный, но не красный, не лохматый, если и сеттер, не ирландский. Глаза, при ближайшем рассмотрении, зеленоватые, но взгляд – хозяйкин. Смущенные новизной места и сосредоточенностью на нас старших, пока что еще робко, как бы равнодушно, пса поглаживаем, зная, что в свой час, когда взрослые заговорятся, наверстаем.

Чай неопишум. Для того чтобы живописать его, нужно было бы живописать весь предшествующий шестимесячный пансионский голод и, что для детей, может быть, хуже голода, всю неопишумую скуку того спартанского меню: мучной суп, чечевица, ремень; гороховый суп, картошка, ремень. Ремень, ремень, без смены. Очевидно, потому что рос в саду, а варился без сахара. Ну и лют же должен был быть голод и жестока скука, чтобы две вовсе не прожорливые и менее всего кровожадные девочки часами мечтали, как они когда-нибудь руками изловят и на лампе изжарят нежных, волшебных, голубопятнистых, скользящих в садовом ручье «Энниных» форелей, которые, со слов фрейлейн Энни, еще вдобавок понимают музыку.

Оставим неопиcуемый чай, который, кстати, оказался чиcтокровным, в неограниченном количестве, шоколадом, c таким же и в таком же неограниченном количестве не предложенным, а на тарелки положенным зандкухеном¹²³. Скажем только, что желудки были так же счастливы, как глаза, как уши, а уши, как души.

Впрочем, уши что-то начинают смущаться. Некоторых вещей не знаю, некоторых не узнаю. Мой отец, по словам фрейлейн Паула, знаменитый архитектор, который строит уже второй в Москве музей (первый, очевидно, Румянцевский!), наша мать – знаменитая пианистка (никогда не выступала публично), я – необычайно одарена, «geistreich» (а арифметика? а рукоделие?), Ася необычайно «lieblich» (любовобильна). Я настолько «geistreich» и «frühreif» (раннего развития), что уже печатаюсь в русских детских журналах (*получаю* «Друг детей» и «Родник»), а Ася настолько любовобильна, что после каждой еды приходит к ней, фрейлейн Паула, «делать кошечку», то есть ластиться. (Салфеток ученицам не полагается, и Ася, еще не умеющая обходиться без, совершенно сознательно после каждой трапезы вытирает рот, щеки и руки, то есть горох, сало и ремень, о верх все того же черного платья невинной, умиленной фрейлейн Паула. И все это знают, кроме ласкаемой. И все, с наслаждением мести, ждут.)

– Все им могу простить... если бы они что-нибудь сдела-

¹²³ Песочным пирожным (*нем.*).

ли!.. За голос, которым они, завидев на улице собаку, говорят: «Ein Hu – und!»

В это время мы, и гейстрейх, и либрейх, уже лежим с собакой на полу и предаемся упоенному и деловитому нацеловыванию ее, Ася в одну щеку, я в другую, каждая в свой собачий профиль.

– Лучше не целовать в морду, – как-то неубежденно замечает хозяйка, – говорят, что у них...

– У них ничего нет! – горячо возражаю я. – Мы всю жизнь целуем!

– Всю жизнь? – переспрашивает Тур-унд-Таксис. – Всю вашу долгую, долгую жизнь? Значит, у них, действительно, ничего нет.

И опять в ушах ровная пряжа Паулиного нахваливания: отец – то-то... Мать – то-то... Младшая без слез не может видеть букашки... (Ложь!) Старшая знает наизусть всю французскую поэзию... Пусть фрау фюрстин сама проверит...

– Скажи мне, кинд, свое любимое, из всех любимое стихотворение!

И вот уже мои уши физически привстают от звука моего собственного голоса, уже плывущего по волнам великолепной оды Гюго «Наполеон II».

– Скажи мне, Марина, какое твое самое большое желание?

– Увидеть Наполеона.

– Ну, а еще?

- Чтобы мы, чтобы русские разбили японцев. Всю Японию!
- Ну, а третьего, не такого исторического, у тебя нет?
- Есть. – Какое же?
- Книжка, «Heidi».
- Что это за книжка?
- Как девочка опять вернулась в горы. Ее отвезли служить, а она не могла. Опять к себе, «auf die Alm» (альпийское пастбище). У них были козы. У них, значит, у нее и у дедушки. Они жили совсем одни. К ним никто не приходил. Эту книгу написала Иоганна Спири. Писательница.
- А ты, Азия? Каковы твои желания?
- Ася, скоропалительно:
- Выйти замуж за Эдисона. Это первое. Потом, чтобы у меня был «ascenseur»¹²⁴, только не в доме, без дома, в саду...
- Ну, а третье?
- Третьего я вам не могу сказать. (Взгляд на фрейлейн Паула.) Совсем не могу сказать!
- Дитя, дитя, не стесняйся! Ты же ничего плохого не можешь пожелать?
- Это не плохое, это... неудобное, неприличное. (Испуганное лицо фрейлейн Паула.) Оно начинается на W. Нет, не то, что вы думаете! – И вдруг, привстав на цыпочки и обняв за шею испуганную и улыбающуюся фрау фюрстин, – громким шепотом: – Weg! (Вон!) Вон из пансиона!

¹²⁴ Лифт (фр.).

Но обе не слышали, должно быть, не услышали, ибо одновременно и очень горячо заговорили, – о чем-то совсем другом, о Pfingstferien (каникулы Троицына дня), куда поедет пансион и поедет ли.

* * *

Как хорошо сидеть спиной к лошади, когда прощаешься! Вместо лошадей, которые непоправимо везут и неизбежно доставят нас туда, куда *не* хочется, в глазах то, откуда не хочется, те, от кого... Бесстрашно и бессовестно минуя взглядом: Ася – фрейлейн Энни, я – фрейлейн Паула, глядим меж их шляп, поверх их голов, – Ася, сначала привставшая, стойком стоит, – на белый дом в темном меху хвои, дослушиваем последние «лайки» Тираса, вместо предполагаемой прогулки увлекаемого хозяйкой в дом и с которым мы бы так охотно поменялись, – не только местом! Внутри, глубже слуха, внутренним слухом любимый – хранимый – длинный, неотразимый голос:

– Gott behüt Euch, liebe Fremdenkinder! (Храни вас Бог, милые чужие дети!)

* * *

Неделю спустя, когда белый дом уже окончательно ушел

в хвою, ели окончательно сомкнулись, голос окончательно ушел в глубину, фрейлейн Паула в той же зеленой комнате вручила нам с Асей по пакету. В том, с надписью «Марина», оказалась книжка «Heidi» и другая «Was wird aus ihr werden» («Что-то с нею будет?»), с над «ihr» красивым наклонным почерком: «dir» (тобой), а после «werden» – «Liebe Marina?». (Что-то с тобою будет, дорогая Марина?) В том, с надписью «Азия», – коробка с кубиками, из которых можно построить не только лифт, но целый Нью-Йорк, тот Нью-Йорк, где будет праздноваться ее свадьба с Эдисоном.

* * *

Дуинские «Элегии» Рильке. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще.

1933

Открытие музея

Белое видение музея на щедрой синеве неба. По сторонам входа двойные ряды лицеистов, от долгого стояния прислонившихся ряд к ряду спинами и тем каждую шеренгу являющих многолико-двуликим – но каким младоликим! – Янусом. Первое при входе – старик в долгополой шубе (май!) «А где тут у вас раздеваются?» – «Пожалуйста, ваше превосходительство». – «А нумера даете? А то шуба-то небось бобровая, как бы при торжестве-то...» Тесть моего отца, древний историк И<<ловайский>>.

Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла – как страж – в нечеловеческий и даже не в божественный: в героический рост – микеланджеловский Давид. Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг – звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.

Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно-молодые. Группа молодых великих князей не в счет, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон

вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что – с богами. Вот что *время* делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) – с человеком делает *искусство*. И, последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает со временем. Но я об этом, по молодости лет, не думаю, я только чувствую жуть.

Старость, в ее главной примете: обесцвеченность, пересиливает даже удар, по глазам, золота, ибо вся эта старость залита золотом: чем старше, тем золоче, чем дряхлее – тем блестятельнее, чем тусклее око – тем ослепительнее грудь. То же статуи, но иным. Если великокняжеское юношество статуи по форме: живой мрамор, сановники – статуи по материалу: гипсу *Rigidité*¹²⁵ (русского точного слова нет) старых, полых, заполненных смертной известью костей. Никогда не забуду, как один такой старичок, споткнувшись на лестнице, так и остался лежать, только ворочая головой, пока мой муж, сбежав к нему сверху, осторожно, но настойчиво не поставил его на ноги – как куклу. Сказав «кукла», я назвала дам. Белые, одинаковые, с одинаково-длинными шеями, особенно длинные от высоких, стягивающих горло, воротников, в одинаково-высоких корсетах, с одинаково-высокими «подъездами» причесок, может быть, молодые, может быть, старые, если и молодые, так старые, не старые-пожилые, – какого-то возраста, которого нет в жизни, собирательного

¹²⁵ Одеревенелость (*фр.*).

возраста, создаваемого днем, местом и туалетом – а может быть, и ровным верхним рассеянным фотографическим стереоскопическим музейным светом... Куклы во всей торжественности, устрашительности и притягательности этой все не детской вещи. Тройная белизна: стен, седин, дам – только фон, только берега этому золотому неустанно ползущему старческому Пактолу галунов и орденов. И еще одно разительное противоречие: между новизной здания – и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног. Видения (статуи), привидения (сановники), сновидения (тот живой мраморный цветник) и куклы... Смело скажу, что статуи в тот первый день музейного бытия казались живее людей, не только казались, но – были, ибо каждую из них, с живой заботой отлитую мастером, со всей заботой живой любви собственноручно вынимал из стружек мой отец, каждую, с помощью таких же любящих, приученных к любви простых рук, устанавливал на уготованном ей месте, на каждую, отступив: «Хороша!» Этих же сановников и дам, казалось, никто уже, а может быть, и никто никогда не любил, как и они – никого и ничего... Настоящий музей, во всем холоде этого слова, был не вокруг, а в них, был – они, были – они. Но стой: что-то живое! Среди общего белого дамского облака совершенно неожиданно и даже невероятно – совершенно отдельная, самостоятельная *рябая* юбка! Именно юбка, над которой блузка «с напуском». Закоренелая «шестидесятни-

ца»? Обедневшая знатная? Нет, богатейшая и консервативнейшая жена консервативнейшего из историков, консерватизм свой распространившая и на сундуки, то есть решившая, вопреки предписанию («дамы в белых городских закрытых»), лишние пять аршин белого фая – сохранить. И в удовлетворении выполненного долга, в зачарованном кругу одиночества своей рябой юбки, еще выше возносит свою тщательно прибранную, надменную, молодую еще головку маркизы с двумя природными ассгочесоеуг'а-ми¹²⁶. И так сильно во мне тяготение ко всякому одинокому мужеству, что, отлично зная мутные источники этого, не могу – люблюсь! Но церемониймейстер не любит. Кидая быстрые и частые взгляды на оскорбляющий его предмет и явно озабоченный, куда бы его и как бы его подальше убрать, он забывает о нем только под наплывом другой заботы: никто не становится в ряд, кроме купеческих старшин с бородами и с медалями, как вошедших – так выстроившихся «Господа, Mesdames... Их величества сейчас будут... Прошу... Прошу... Дамы – направо, господа – налево...» Но никто его не слушает. Слушают грузного, массивного, с умным лицом, сановника, который с плавными и вескими жестами что-то говорит – одному – для всех (Витте). Старшины глядят на Белого Орла на Нечаеве-Мальцеве, полученного им «за мужей». «Господа... Господа... Прошу... Их величества...»

Все мы уже наверху, в том зале, где будет молебен. Крас-

¹²⁶ Локонами на висках (*фр.*).

ная дорожка для царя, по которой ноги *сами* не идут. Духовенство в сборе. Ждем. И что-то близится, что-то, должно быть, сейчас будет, потому что на лицах, подобием волны, волнение, в тусклых глазах – трепет, точно от быстро пронесимых свеч. «Сейчас будут... Приехали... Идут!.. Идут!..» «И как по мановению жезла» – выражение здесь не только уместное, но незаменимое – сами, само – дамы вправо, мужчины влево, красная дорожка – одна, и ясно, что по ней сейчас пойдет, пройдет...

Бодрым ровным скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг – взгляд – прямо на меня, в мои. В эту секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские.

Глубокий *plongeon*¹²⁷ дам, живое и плавное опускание волны. За государем – ни наследника, ни государыни нет —

Сонм белых девочек... Раз... две... четыре...

Сонм белых девочек? Да нет – в эфире

Сонм белых бабочек? Прелестный сонм

Великих маленьких княжен...

Идут непринужденно и так же быстро, как отец, кивая и улыбаясь направо и налево... Младшие с распущенными волосами, у одной над высокими бровками золотая челка. Все

¹²⁷ Ныряние (*фр.*).

в одинаковых, больших, с изогнутыми полями, мелкодонных белых шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы улететь... За детьми, тоже кивая и тоже улыбаясь, тоже в белом, но не спеша уже, с обаятельной улыбкой на фарфоровом лице государыня Мария Федоровна. Прошли. Наша живая стена выпрямляется.

Благослови, владыко!

Молебен кончен. Вот государь говорит с отцом, и отец, как всегда, чуть склонив голову набок, отвечает. Вот государь, оглянувшись на дочерей, улыбнулся. Улыбнулись оба. Церемониймейстер подводит государыне Марии Федоровне московских дам. Нырок, кивок. Нырок, кивок. В этих нырках что-то подводное. Так водоросли ныряют на дне Китежа... Государь, сопровождаемый отцом, последовал дальше, за ним, как по волшебной дудке Крысолова, галуны, медали, ордена...

Воздух, после молебна, разреженнее.оборот некоторых голов на статуи. Называют имена богов и богинь... Одобрительные возгласы...

Старая отцова поклонница, обрусевшая итальянка, все время скромно державшаяся в тени, – если можно сказать «тень» о месте, где все свет, – выступив и, с отчаянием великих решений, схватив отца за рукав: «Иван Владимирович, вы должны выйти!» И, как заклинательница, трижды: «Выйти – и встать, выйти и встать, выйти и встать!» И, странно, без малейшего спору, точно не прослышав смысла слов и

повинуясь только интонации, мой отец, как в глубоком сне, вышел и встал. Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову – как всегда, когда читал или слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела. Это было видение совершенного покоя.

* * *

– Папа, а что государь с тобой говорил? – «А скажите, профессор, что за красивая зала, где мы слушали молебен, такая светлая, просторная?» – «Греческий дворик, Ваше Величество». – «А почему он, собственно, греческий, когда все здесь греческое?» Ну, я начинаю объяснять, а государь дочерям: «Марья! Настасья! Идите сюда и слушайте, что говорит профессор!» Тут я ему: – «Помилуйте, Ваше Величество, разве таким козам может быть интересно, что говорит старый профессор?..»

– Папа, а на меня государь посмотрел! – Так на тебя и посмотрел? – Честное слово! – Отец философски: – Все может быть, нужно же куда-нибудь смотреть. – И перенося взгляд с меня на последний портрет матери, где она так похожа на Байрона: – Вот и открыл Музей.

И оглядываясь еще дальше – на другого путеводного жен-

ского гения, со всей силой творческой и старческой благодарности:

– Думала ли красавица, меценатка, европейски-известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до двенадцати лет и сапогов-то не видал...

1933

Жених

Не мой и не Асин: общий. А в общем – ничей, потому что ни одна не захотела. Была еще старшая, но она уже была замужем. Но если бы и не была – тоже бы не захотела. Кто захотел бы? Впрочем, всякая, без чутья. Молодой, если не красивый, то благообразный, именно благообразный (вообще все, что угодно от блага: благоприличный, благоразумный, благонамеренный, все, все, кроме – *родный*, этого не было, и из-за этого-то...), как говорится, «умный», «образованный», «культурный», из приличной семьи, с хорошим будущим... В этом будущем-то все дело и было, ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал: охаживал. И как! – кругами, как кот – мясника. Кот, впрочем, был сытый, немножко даже слишком. Рослый и плотный, и, увы, весь какой-то потный, неуловимо, точно каким-то подкожным потом, как бывает подпочвенная вода. Вообще, с водой он был связан целиком. Во-первых, глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места. В детстве такие глаза именуется небесными, позже – честными. Почему у женщин такие глаза именуется русалочьими, а у мужчин – честными? Приводятся как гарантия честности, а принадле-

жат они, обыкновенно, самым пройдохам. Этими глазами-то они и проходят – в первые ученики, и в зятья, и в директора. «Человек с такими глазами не может...» Нет, человек с такими глазами именно *может*, и может – все. Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не минуя и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно пересмотреть. Второе ощущение: губы говорят одно, а глаза другое: свое и непременно нехорошее. – «А я знаю!» – что? – да какую-то про тебя гадость, такую гадость, которую ты и сам про себя не знаешь. И вот, в смятении, начинаешь искать. Если человек слаб, он непременно найдет. Так или иначе, вы этими глазами побиты заранее. Ибо свойство этих глаз – власть. Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит – внушения. Заставлю признаться! – В чем?! – Да в том, что ты такой же, как я. (Как если бы вчерашний каторжанин допрашивал бывшего товарища.) Глаза сообщничества, от которого вы тщетно отбиваетесь. Если вы их прочли, вы еще более пропали, чем если вы им поверили. И, странная вещь, именно их, у интеллигенции слывающих «честными», простолюдин неизменно назовет бесстыжими. Слово, которого, кстати, вы никогда не услышите о черных, нет, только о светлых, и из светлых – только о голубых. И о голубых с непременно черными ресницами, которыми правда точно черным побелому написана, и гласит она: – Берегись! И, чтобы все сказать: *честные, как речная вода.*

С водой жених еще был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Тарусе была дачка. Как только мы с Асей впервые в нее вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж... – что? Да благостно! Женихов отец с толстым темно-синим сатиновым животом, еле удерживаемым крученым, с кистями, поясом, медовым голосом приглашающий нас «испить чайку с медком», и даже, кажется, «почтить»; женихова мать – с теми же глазами, только разбавленными и расслабленными «бабьей долей», с теми же, но разведенными: все, что было голубого, слила сыну, себе же ополоснула – с каким-то зазыванием страшных снов влекшая нас к столу и варенье есть убеждавшая так, точно в вазочке не крыжовник, а живой жемчуг; сама обстановка, – именно обстановка: то, как вещи человека *обставали*: стулья – прислоняли, диванчики – засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротивления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растет, дому, «русском стиле» солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, – и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов «эхма» да «ух», разделяемых «сподобил Господь» и «все под Богом ходим», и, теперь я назову главное – почет. Почет, сразу наведший нас с Асей на верный след – Толиных честных глаз.

– И с чего это, – говорили мы, спускаясь и подымаясь, как по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, –

добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы... Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться... Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

– Просто выгнать – за один вид.

– А заметила, как одобряли, как на каждое слово хихикали?..

– Особенно отец.

– Особенно мать.

– А Толя сидел и обливался маслом. Ася, клянусь, что он облизывался. Да: на тебя!

– Гадости говоришь. Если облизывался, так уж конечно на тебя, потому что меня ему по крайней мере, по самой крайней мере еще три года ждать. А тебя только год.

Третья его связь с водою была баня. В Тарусе ли, в Москве ли, придешь в званые гости, его сестра Нина, еще с порога:

– А Толи еще нет. (Шепотом на ушко.) Он в бане. Просил вам не говорить, но я уж по дружбе скажу.

И когда после бани, явно-распаренный и недаром распаренным голосом: – «У вас голова Антиноя...» – самое мягкое, что можно было отрезать: – «Не говорите глупости!»

– Настоящий банный мужик, – говорила Ася с негодованием, – хотя я банных мужиков никогда не видела. Ему бы мочалкой купцов скрести, а не писать стихи про nereid. Недаром его отец всегда хвастается, что из простых мещан, а вот стал классным надзирателем. Я, конечно, за равенство, –

продолжала третьеклассница, горячась, – но только не в замужестве. Лучше за нелюбимого царя, чем за любимого пономаря. А этот еще и нелюбимый.

Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглаворяемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных – бледное русо-бородое и-усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.

– Марина! За вашу тайную мечту! Ася, – за нашу!

– Что-о-о?!

– Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar!¹²⁸

– Хороший молодой человек, – резюмировала немка после каждого его посещения. – Тихий, почтительный, с хорошим манер. Только, schade¹²⁹, что у него такое Käsegesicht¹³⁰. Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.

Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.

– Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)... поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать. Потому что душа у них самая змеиная.

¹²⁸ Ради Бога, дитя мое, не кричи так ужасно! (нем.).

¹²⁹ Жаль (нем.).

¹³⁰ Здесь: «непропеченное» лицо (нем.).

Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом – крестьянских мальчишек и девчонок, зимой – мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: – «Марина, у вас глаза совсем как у дриады...» – я, по совершенно чистосердечной ассоциации: – «А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low'a?» Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я назвала не случайно, ибо жених был ими – дриадами, наядами, русалками и весталками – начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалений гр. Валевской, приехавшей *к нему* на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, «впрок» – на случай, если Ася, действительно, *не*... А Ася – люблю девическое тринадцатилетие! – действительно *не* – и ни за что.

– Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в

унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?

– Для вас – никогда.

– Наконец, прозреете?

– На вас – никогда.

– Как вы еще молоды! Слишком молоды!

– Для вас – навсегда.

В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом наполнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: «Трансваль, Трансваль, страна моя»... В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.

– А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.

– У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)

– Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову паша. – И т.д., и т.д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая – милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.

– Если бы вы еще походили на Анатоля из «Войны и мира», – задумчиво говорила она, глядя на него то с правого бока, то с левого, – но так как вы похожи на Левина, и даже

не на Левина, а...

– Вам слишком рано дают читать серьезные книги... – перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.

– А такая книга, как вы, – не рано? Такие книги лучше не читать никогда.

* * *

– Папа, как тебе нравится Анатолий?

– Наш новый дворник?

– Нет, папа! Наш дворник – Антон, а это – студент, Тихонравов.

– А-а-а... Он, как будто, не особенно далекий? – (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах...

И эта аттестация – в ответ на «petits soins»¹³¹, которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное – складу, и в голову не могло прийти.

Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошлолетние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с

¹³¹ Здесь: подбострастие (*фр.*).

посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка – жирная раздавленная гусеница.

– Дурак, – сказала Ася холодно.

– Автопортрет, – уточнила я.

Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».

– Наглец. Он пишет, точно я уже в таком положении!

И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».

– Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит!

Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.

* * *

Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.

– Марина, пойду служить в Музей.

– С ума сошла! Там теперь Анатолий – директором.

– Анатолий – директором?! И даже не женись на нас? Ну и счастливец!

– Не только не женись на нас, но женись на самой обыкновенной, как надо, барышне.

– Как надо – барышне? Нынче же иду в Музей!

Возврат и рассказ:

– Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. – «Вы давно приехали?» – «Вчера». – «Что вам угодно?» – «Место в Музее». – «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте». – «Подумаю, *но* – если что-нибудь и найдется, то *не...*» – «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая – куда нам даже тогда! – по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.

Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование... но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все-таки посидел.

Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг – заграничные, метод писания – собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот – каким?

Сентябрь 1933

Мать и музыка

Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым догодовальным словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», – и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до – ре...» Это до – ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой – «кингой», как я говорила, пока что только ее «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном *ундинном* месте сердца – жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая – слезы. Это до – ре (Дорэ), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из «*Sans Famille*»¹³², счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (*estopié*¹³³, с точно спиленной ногой: *piéd*) калека *Père Barberin* сразу превращает в несчастного, сначала не

¹³² «Без семьи» (*фр.*). – Роман Г. Мало. – *Сост.*

¹³³ Искалеченный (*фр.*)

дав блинам стать блинами, а на другой день продал самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, единственной его обезьяне – Жоли Кёр, ужасной пьянице, потом умирающей у Реми за пазухой от чахотки. Это ре-ми. Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое, ми – желтое (может быть – midi?)¹³⁴, фа – коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре – голубое – река?) – и так далее, и все эти «далее» – есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого *свои* цвета и *свои*, на них, резоны.

Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем. Слух – от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я – ни при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия, – раз слух от Бога. «Твое – только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить», – говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а как старалась!), я этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъ-

¹³⁴ Полдень (*фр.*).

яснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно – заклясть. И чем темнее слова заклѳтия – тем глубже они в ребенка возрастают, тем непреложнее в нем действуют: «Отче наш, иже еси на небесех...»

С роялем – до-ре-ми – клавишным – я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. «Пять лет, а уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! – говорила мать, голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: – Впрочем, у нее и ноги такие!» – вызывая у меня этими «ногами» смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тем более что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером!), чего, однако, никогда не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо «рояль – святыня», и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газеты же мать, с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавишному, с рояля снимала – сметала – и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из этого ли одновременно широкого и педантического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты – нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира – месть. И если я когда-нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать *отчего*.

Кроме большой руки, у меня оказался еще «полный, сильный удар» и «для такой маленькой девочки удивительно-одушевленное туше». Одушевленное туше звучало как бархат, и было коричневое, а так как *toucher* – трогать, вышло, что я рояль трогаю, как бархат: бархатом: коричневым бархатом: кошкой: *patte de velours*¹³⁵.

Но о ногах я не кончила. Когда, два года спустя после Александра – меня, родилась заведомый Кирилл – Ася, мать, за один раз – приученная, сказала: «Ну, что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым, уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалось «ранга» (нога), мать не только огорчилась, но вознегодовала: «Нога? Значит – балерина? У меня – дочь балерина? У дедушки – внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не танцевал!» (В чем ошиблась: был один роковой, в жизни ее матери, бал и танец, с которого все и пошло: и ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая неизбывная беда. Но *она* этого не узнала – никогда. Узнала – я, без малого сорок лет спустя этого ее горделивого утверждения, в Русском Доме Св. Женевьевы – как, расскажу в свой срок.)

Годы шли. «Нога», как будто, сбывалась. Во всяком случае, Ася, очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно – совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо, что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но навряд ли она, добросовестно, до предела рас-

¹³⁵ Бархатной лапкой (*фр.*).

тянув руку, брала больше чем от *до* до *фа*. Рука (как и нога) была крохотная, удар – мимовой, а туше – мушиное. Все же вместе, когда доходило до уха, резало его, как бритвой (мочку).

– Значит, в Ивана Владимировича, – сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать, – у него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть, и если бы можно было расслышать, что она поет, – может быть, и было бы верно? Но почему она на рояле так фальшивит?

Мать не понимала, что Ася за роялем, по малолетству, просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо (нот!), как слепой щенок – мимо блюда. А может быть, сразу брала по две ноты, думая, что так скорее возьмет – все положенные? А может быть (по две), как муха, по недостатку веса не могущая нацелиться на именно эту клавишу? Так или иначе, игра была не только плачевная, но – слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комариным: и-и, и-и, и-и, от которого все в доме, даже дворник, хватались за голову с безнадежным возгласом: «Ну, завела!» И именно потому, что Ася играть продолжала, мать внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и бесслезной мне.

– Нога, нога, – говорила она задумчиво, идя с нами, уже подросшими и тоже стриженными, по стриженному осеннему калужскому лугу, – но что ж, в конце концов балерина тоже

может быть порядочной женщиной. Я знала одну, в Сокольниках – у нее даже было шесть человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже *дедушка* однажды отпустил меня к ней на крестины... – И уже явно шутя (и мы это понимали): – Муся – знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая)... знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. – И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: – Вот мои дочери и будут «свободные художники», то, чем я так хотела быть. (Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)

...Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу – слышно, а ноту – нет. Клавиша – есть, а ноты – нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для *Glückwunsch'a*¹³⁶ матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот – воробушков! Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши прыгивают, каждая на свою. Тогда она – звучит. Некоторые же, запоздавшие (как девочка Катя из «Вечерних досугов»: поезд, машина, уходит, а опоздавшие Катя с няней – плачут...) – запоздавшие, говорю, живут

¹³⁶ Поздравления (нем.).

над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают (и не всегда влопад, тогда – фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают. Лет двадцать пять спустя они у меня все же упали и даже – ринулись.

Все ноты ринулись с листа,
Все откровенья с уст...

Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа (лучше, чем с лица, где долго, долго читала – только лучшее!), – никогда не полюбила. Ноты мне – мешали: мешали глядеть, верней не-глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так – сбивали с рук, мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем «вечным третьим в любви» из моей поэмы (которой по простоте – ее, или сложности – моей, никто не понял) – и я никогда так надежно не играла, как наизусть.

Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антоннами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще

это, и еще это, и это еще... Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для долгией сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – *всё*. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, – то, чего всегда мало, дважды – мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало – как радия, то, что само есть – недостаток всего, сам недостаток, только потому и хватающий звезды! – то, чего не может быть слишком, потому что оно – само *слишком*, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горамидвигающую.

Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики,

как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – что не удалось, *наше* – что удалось!

После такой матери мне оставалось только одно: стать по-этом. Чтобы избыть ее дар – мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.

Знала ли мать (обо мне – поэте)? Нет, она шла *va banque*, ставила на неизвестное, на себя – тайную, на себя – дальше, на несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь.

Но все-таки для нот было слишком рано. Если неполные пять лет вовсе не рано для букв, – я свободно читала четырех, и много таких детей знаю, – то для нот то же неполное пятилетие бесспорно и злоторно – рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш – собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы – на голос. И, совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой вставляли – ноты, то между нотой и мной – вставляла клавиатура, постоянно теряемая – из-за нотного листа. Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне-гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе – звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линей-

ке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку – ноты гаммы, потом – пальцем – соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно – одного, за которым еще, всегда, другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное – души. Или уж – надо быть Моцартом!

Но клавиши – я любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, – за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что эта лестница – из-под рук! – и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи – ледяные лестницы ручьев вдоль спины – и жар в глазах – тот самый жар в долине Дагестана из Андриюшиной хрестоматии.

И за то, что белые, при нажмем, явно веселые, а черные – сразу грустные, *верно* – грустные, настолько *верно*, что, если нажму – точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз – слезы.

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, – и даже когда отпустишь!

За то, что с виду гладь, а под гладью – глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой – пропасть, за то, что эта пропасть – из-под рук, за то, что, с места не сходя, – падаешь вечно.

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении – и поглотить.

За страсть – нажать, за страх – нажать: нажав, разбудить – всё. (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)

И за то, что это – траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» – явилась и она сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил».

За прохладное «ivoire»¹³⁷, мерцающее «Elfenbein»¹³⁸, баснословное «слоновая кость» (как слона и эльфа – совместить?).

(И – детское открытие: ведь если неожиданно забыть, что это – рояль, это просто – зубы, огромные зубы в огромном холодном рту – до ушей. И это рояль – зубоскал, а вовсе не Андриюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь.)

За «клавиатуру» – слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем.

За «хроматическую гамму» – слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я на-

¹³⁷ Слоновая кость (*фр.*).

¹³⁸ Слоновая кость (*нем.*).

столько лучше понимала, чем грамматическое – что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебное простой, насколько длиннее и волшебное наша та-русская «большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом – Тверского бульвара от памятника Пушкина – до памятника Пушкина.

За то, что – это я сейчас говорю – Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй – мой. За то, что Хроматика – самое обратное, что есть грамматике, – Романтика. И Драматика.

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться – разыгрывается. И когда играют – по моим позвонкам играют.

...За слово – клавиш.

За тело – клавиш.

За дело – клавиш.

И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы, и рифмовавшее во мне с желтофиоль, никогда не виденным материн-

ским могильным цветком, с первой страницы «Истории маленькой девочки». И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Labemol же было для меня пределом лиловизны: лиловее тарусских ирисов, лиловее страховской тучи, лиловее сегюровской «Forêt des Lilas»¹³⁹.

Бемоль же, начертанный, мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину. Спуском брови над знаком глаза.

Бэкар же был просто – пуст: знак, что не в счет, олицетворенное как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Бэккере.

Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, *левым*, – а низ – дискантом, тонизной, *правым* концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. (Наверху – горы и гром, внизу – букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пискари, – такое...) Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть с начала к концу, а начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. (Тонкий звук сходит на нет, а глухой, басовый – *ins All*¹⁴⁰. В рояльный лак. В гулы.) Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы еврейско-

¹³⁹ «Сиреновой рощи» (*фр.*). – Повесть С. Ф. Сегюр. – *Сост.*

¹⁴⁰ В бесконечность (*нем.*).

му письму.

Но больше всего, из всего ранне-рояльного, я любила – скрипичный ключ. *Слово* – такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему *скрипичный*, когда – рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горным хрусталем сверкало и грохотало имя Сарразаты, мир, – я это уже знала! – где за игру продают черту – душу! – слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ: *Wohn*, ключ *Oheim Kühleborn*: Дядя Струй, из жемчужной струи разрастающийся в смертоносный поток... И еще ключ – другой:

...холодный ключ забвенья,

Он лучше всех жар сердца утолит! —

из Андриюшиной хрестоматии, с двумя неизвестными: «забвенье» и «утолит», и двумя известными: «жар» и «сердце», которые есть – одно.

Слово и вид – лебединый, вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге, с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода.

Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых, – ухо, простое грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми, – о глупость! не в нем, а рядом – и двумя вместо одной, точно можно в одном ухе

носить две серьги и точно, вообще, бывает одно ухо. (Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги – висели, называла это варварством, а ее падчерица, институтка Валерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутия добиться: то запухали, то зарастали, – так и ходила злая, с шелковинкой.) Слово же «басовый» – просто барабан, бас: Шаляпин. А одна полумная поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего трехлетнего Сашу на стол и заставляет его петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под глазами и он совершенно не растет. Нет, бог с басовым! И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями – стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу – полнее, вверху – стройнее, – целая вереница скрипичных лебедей!

Но это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального рвения – и пора об этом сказать – у меня не было. Виной, верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей – себя! С меня, уже писателя – меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои два часа – и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! „Noch ein wenig!“¹⁴¹ Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила – никогда. Была

¹⁴¹ Еще немножко! (нем.)

честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой – замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, – с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову – радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили!») и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» – и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу...» Бедный папа! В том-то и дело, что *не* слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валерииных (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь когда не играла я – играла Ася, когда не играла Ася – подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас – мать – целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего один мотив – из «Аиды» – наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже „Боже, царя храни“ не умеешь спеть!» – мать ему, с шуточной укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!» Но до «царя» не

доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутивно, – а с истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.

Позже, после ее смерти, он часто – Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» – для очистки совести, – заменяя мать.

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соблезнования и зовы – играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаюсь в него всем своим слоно-вым неповоротом – выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек – жасмин. Пот льет, пальцы красные – играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) *севрской* чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем – держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н – того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, – по француженке же: Henri. Все на воле: Ан-

дрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом – и я – по клавишам. Или, осень: Андрюша строгаёт палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eskerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна – «играю». (Зачем??)

– Нет, ты не любишь музыку! – сердилась мать (именно сердцем – сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. – Нет, *ты* музыку – *не* любишь!

Нет – любила. Музыку – любила. Я только не любила – свою. Для ребенка будущего нет, есть только *сейчас* (которое для него – *всегда*). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Ненгі. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходявшей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку». В ней две музыкальные крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком – другую, филологическую и явно-континентальную, с ее кровью, – неслиянную – и неслившуюся.

Мать – залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли – на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein*¹⁴². Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (*будущее* включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращенья? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже – Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще *не*, и кем только *не!*..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незабываемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже люби-

¹⁴² Не в жизнь, а в музыку (*нем.*).

ла, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто – неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь невыносимом жить, – так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно. «А если в твой дом бросят камнем?» – «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический шелк *подпала*, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука. Точно по мою душу идет этот звук! Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе нидохнуть, ни проглотить, и так же будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, – один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, – потому что его забыли закрыть – и доколе не выйдет завод. Неживой – живого, тот, которого нет, – того, который есть. А вдруг завод – никогда не выйдет, а вдруг я с табурета – никогда не встану, никогда не выйду из-под тик-так, тик-так... Это была именно Смерть, стоящая над душою, живой душою, которая может умереть – бессмертная (уже мертвая) Смерть. Метроном был – гроб, и жила в нем – смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезаящая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные, тех-

ника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый, мне, стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал – не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя – ее! – протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить – так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я – иду, а ты – стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но – немая, – точно я вдруг ослепла или одурела. Или та же стена отцовских латинских, материнских английских книг, именно стена – непроницаемая: читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы сознавать, что здесь, в этих коричневых, вожаденно-толстенных и громадных тетрадных томах – все «жемчужны струи» и моря материнской игры. Но не слышу – глухо! Видит око – да зуб неймет! Тогда, откашавшись, начинаю читать слова: Opus – Moll – Rubinstein – Нувеллист...

Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховен, Шуман, опусы, Dur'ы, Moll'и, Сонаты, Симфонии, Allegro non troppo, и Лёрино – Нувеллист. Нувеллист

+ Романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку – две буквенные), во-вторых, я всю Лёрину библиотеку могу прочесть *подстрочно*, минуя ноты. (Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность») и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», – я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире – и почувствовала себя омытой: всей Музыкой от всякой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной – как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся – родным, в праве на жизнь, наконец! Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты требуешь от стихов того, что может дать – только музыка!») Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот – книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь – и конец.

Вот Дивный Терем, с нарисованной зеленой вроде-дачей на ходулях и таинственной, колышками, вкось, надписью: «Посвящается Ее Высочеству Великой Княжне (не помню какой) ко дню возвращения (а может быть, и отбытия) Ее Августейшего Жениха, Принца (забыла – какого)». «Дивный терем стоит – И хором много в нем...» Помню ожигавший и заливавший меня ликованием возглас: «Он вернется, же-

них!» – точно все спасение мира было в том, чтобы жених – вернулся, обещание, от музыки становившееся обетовани-ем, звучащее совсем как: «Благословен грядый во имя Гос-подне!» – и, одновременно заливавшее меня тоскою – так, точно *не* вернется жених. Этот магический удар по мне Див-ного Терема – те же острые верхи тоски! – я потом узнала в Нибелунгах и, целую жизнь спустя, в бессмертном эпосе Зигрид Ундсет. Это была моя первая встреча с Скандинав-ским Севером. «Жених» же мне почему-то представлялся летящим на ковре-самолете, или просто Змеем-Горынычем, во всяком случае чем-то воздушным, с неба падающим на ту самую гору. И – как продолжение этой горы – в другом уже романсе: «Милые го-оры, мы возврати-имся...» Что это значило? И кто сочинил эти страшные слова, кроме которых ничего не помню, да, кажется, ничего и не было. Кто (да еще *мы*, во множественном!) утешает *горы*, что – возвратится? Может быть, те самые Ее Высочество с Змеем-Горынычем, улетающие со своей горы – царствовать? Во всяком случае, для романса – слова странные, и как Святополк-Мирский го-ворил, «теряюсь в догадках». Достоверно одно: страсть моя к горам и тоска на ровном месте, дикие для средне-россиян-ки, – оттуда. Горы во мне начались с тоски по ним и даже с тоски – их – по мне: ведь я же им в утешение пела, что «возвратимся»!

А вот еще, и тоже с картинкой, которую Валерия по многу раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институт-

ским подругам: темно-коричневая старуха с одной серьгой, в большом клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож, – Ворожея.

Погадай-ка мне, старушка,
Я давно тебя ждала.
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.

– Лохматая, в космотьях! – как во все горло пел Андриюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня – что любит. «Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее – улыбка, в сердце – радость и гроза...»

Всю эту Лёрину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» – «В сердце радость и гроза». – «Что это значит?» – Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». – «Что? Что?» – мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза – и радость». – «Какая гроза? Что значит – гроза?» – «Потому что ей страшно». – «Кому ей?» – «Которая подошла к старушке, потому что старушка – страшная. Нет, это старушка – подошла». – «Какая старушка? Ты с ума сошла!» – «Из Лёриной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка – с палкой... Это называ-

ется „Ворожея“ (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: „А что значит Ворожея“?» – «Я не знаю». Мать, торжествуя: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» – мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недостижимость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза... Та-та, та-та, та-та, та-та... Он глядит в ее глаза...» – Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой *бестактной* лирики. А иногда я, застигнутая, просто – врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) «Что ты опять тут делаешь?» – «Я смотрю на метроном». – «Что значит „смотрю на метроном“?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже наверху *спасательной* лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лёриных нотах рылась! А метроном – урод!»

К Лёриному репертуару относились еще все ноты ее матери, все эти оперы, и арии, и аранжировки, тоже со словами, но непонятными (пению училась в Неаполе) и с подавлявшим меня количеством ненавистных мне надлиней-

ных трижды и четырежды перечеркнутых нот. «Нувеллист» же я, за детскую простоту нотного начертания, полную его доступность моей детской несостоятельности – презирала: столько белых и никаких перечерков, – точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали (как кур кормят!) на целый год «Нувеллиста», – так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, – почти что мой «Леберт и Штарк», – только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. «От земли не видать, а уже педаль! Чем ты хочешь быть: музыкантом или (проглатывая „Лёру“)… барышней, которая, кроме педали да закаченных глаз… Нет, ты сумей *рукой* дать педаль!» Давала – ногой, но только в отсутствие матери, но зато так подолгу, что уже не понимала: уже я (гу-жу) или – еще педаль? (представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой – Plattfuss¹⁴³ – Золушки!). Но у педали была еще одна – словесная родня: *педель*, педель студенческих *сходок*, педель, забравший на сходке нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича (Аркаэксаныча), Андрюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение:

Все бегут на сходку:
Сходка где? Сходка – где?
Сходка будет на дворе.

¹⁴³ Плоскостопия (нем.).

Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора, и забирающий студентов (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскоряченной лапой, как Людоед – мальчиков с пальчиков. Людоед – но так как это *все-таки* университетский служитель – то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали – две. Но, назвав педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, белого ученого Капи из «*Sans Famille*», который рвет педеля за *панталоны* – тогда педель Аркаэксаныча выпускает, – и их общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры *падали*, той падали, которой пахнет – одну секунду – и каждый раз – и безумно сильно – в бузине, у самого подступа к нашей тарусской даче, падали, от детства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый раз, как это слово слышу – оборачиваюсь.

Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был, как все, должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие, это был *табурет*, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама – вертелась! На своей рубчатой шее, так напоминавшей оципанную индюшачью. Вывернешь ее до предела и ждешь не без волнения, что вот «голова», ослабнув, качнется и совсем отвалится. Но помню и отвал другой головы – собственной, когда, вжавшись руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз – до отрыва головы, рвущейся с шеи,

как шар с крутимой палки. «А-а-а! опять *завертелась!* – тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на мое зеленое лицо. – Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без нее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?» – «Нет». – «Так вот тебе Леберт! – Так вот тебе Штарк!» И, уверяю, удар был вовсе не *staccat'*ный.

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был на-чисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери – сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленно-исступленное «ох» в ответ на Валериино, часами, «подбирание» и «напевание», как сейчас вижу искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно-выразительном, при помощи педали, аккорде, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка, ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный безголосый сухо-горловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом, – крик, за который можно убить.

Но, возвращаясь к совершенно непричемному, непевшему и неигравшему Андрюше: Андрюшиному роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Ан-

дрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: петь мальчиков не учат, а рояль – *мейновское* (второ-женино). Бедный Андрюша, на которого не хватило: – ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? – всего и больше всего – слуха. Но вышло как пописаному: ни из Валерииных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных «тили-тили» – ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений – ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном – на чем отдохнуть: на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбылся: ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим бобриком), с ее гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал – все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и те-

бе так идет...» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что *тогда* послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второ-жениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андриюшиного исторического, не усадила: меня – за письменный стол, Асю – за геркулес, а Андриюшу – за рояль: «*До*, Андриюша, *до*, а это ре, до – ре...» (из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме Doré, Gustav'a...).

Но замечаю, что я еще ничего не сказала о главном действующем лице моего детства – самом рояле. (Золотыми буквами «Бэккер», – Royale a queue). Но рояль не один. В каждом играющем детстве: раз, два, три – четыре рояля. Во-первых – тот, за которым сидишь (томишься и так редко гордишься!). Во-вторых, – тот, за которым сидят – мать сидит – значит: гордишься и наслаждаешься. Не «как сейчас вижу» – так сейчас уже не вижу! – как *тогда* вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч на выдвижных боковых досочках. И еще раз ту же голову – в одном из парных стоячих зальных зеркал, в зеркальной его вертикали над рояльной горизонталью, ту же голову, но с невидимой нам стороны (тайна зеркала, усугубленная тайной профиля!) – в отвесном зеркальном пролете, отдаляющем ее от нас на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери,

между свеч от зеркала делающуюся – почти елкой!

Третий и, может быть, самый долгий, – тот, под которым сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир. Подводный не только из-за музыки, лившей на голову: за нашим, между ним и окнами, заставленные его черной глыбой, отделенные и отраженные им как черным озером, стояли цветы, пальмы и филодендроны, подрояльный паркет превращавшие в настоящее водное дно, с зеленым, на лицах и на пальцах, светом, и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, где как огромные чуда беззвучно двигались материнские ноги и педали.

Трезвый вопрос: почему цветы стояли за роялем? Чтобы неудобнее поливать? (С матери, при ее нраве, бы случилось!) Но от этого соединения: рояльной воды, и воды леечной, рук матери, играющих, и рук, поливающих, попеременно льющих то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествлен с водою, с водой и зеленью: лиственным и водным шумом.

Это – материнские руки, а вот – материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые существа, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую, но большую, в черном, бескаблучном башмаке на пуговках, которые мы зовем глазами мопса. Потому они и прюнелевые (*prunelle des yeux*¹⁴⁴ – мопса). Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она пра-

¹⁴⁴ Зрачки (*фр.*).

вая, а для меня левая? Как это она сразу – правая и левая? Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы оказалась левой, то есть короткой (по звуку). Почему же у матери она выходит правая, то есть звук – тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее – рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая, значит – ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смею, это мне, собственно, и в голову не могло прийти.

«Еще доказательство твоей немзыкальности!» – восклицала мать, после целого часа игры (из которой выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никого и ничего не узнавая), после часовой игры, наконец, обнаружившая, что мы весь час сидели под роялем: Ася – вырезая из картонного листа телесных девочек и их поштучное приданое, я – думая про правую и левую, а чаще ничего не думая, как в Оке. Андрюша под роялем скоро перестал сидеть; у него вдруг так выросли ноги, что он непременно попадал ими в ноги матери, которая тогда вставляла и усаживала его за книги, которые он ненавидел, потому что ему только их и дарили – именно потому, что ненавидел – для того чтобы любил. И еще потому, что у него от чтения сразу шла кровь носом. Так что, из инстинкта самосохранения, под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штенкпферде¹⁴⁵ в арке залы, показывая нам с Асей кулаки и

¹⁴⁵ Деревянной лошадке на палочке (нем.).

языки. «Музыкальное ухо не может вынести такого грома! – уже гремела мать, совершенно меня оглушая. – Ведь оглохнуть можно!» (Молча: «Это-то мне и нравится!» Вслух же:) «Так лучше слышно!» – «Лучше слышно! Барабанная перепонка треснуть может!» – «А я, мама, ничего не слышала, честное слово! – торопливо и хвастливо, Ася. – Я все думала про этот маленький, маленький, ма-аленький зубчик!» – в полном чистосердечии суя матери под нос безукоризненной резки кукольные панталонные фестоны. – «Как, ты вдобавок еще острыми ножницами резала! – мать, совсем сраженная. – Fräulein, где вы? Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дедушкины внуки, мои дочери... О, господи!.. – И, замечая уже дрожащие губы своей любимицы: – Асеньке – еще простительно... Асенька еще маленькая... Но ты, ты, которой на Иоанна Богослова шесть лет стукнуло!»

Бедная мать, как я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя «немузыкальность» была – всего лишь *другая* музыка!

Четвертый рояль: тот, над которым стоишь: глядишь и, глядя, входишь, и который, в постепенности годов, обратно вхождению в реку и всякому закону глубины, тебе сначала выше головы, потом по горло (и как начисто срезая голову своим черным краем холодной ножа!), потом по грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его чер-

ным и твердым холодом. (Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед? Такой да и такой нет?) Но, кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая детская шалость: надышать, как на оконное стекло, и на матовом, уже сбегавшем серебряном овале дыхания успеть отпечатать нос и рот, которые: нос – выходит пяточком, а рот – совершенно распухшим, точно пчела всюду укусила! – в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое короче, чем в жизни, и вдвое шире и который сразу исчезает, сливаясь с чернотой рояля, точно рояль мой рот – проглотил. А иногда я, за недостатком времени, с оглядкой на все выходы залы: в переднюю – раз, в столовую – два, в гостиную – три, в мезонин – четыре, откуда, из всех сразу, могла выйти мать, просто рояль целовала – для холода губ. Нет, можно войти дважды в ту же реку. И вот, с самого темного дна, идет на меня круглое пятилетнее пыльное лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту – вроде негра, окунутого в зарию, или розы – в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переводением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, *оттуда* увидеть.

И, наконец, последний рояль – тот, в который заглядываешь: рояль нутра, нутро рояля, струнное его нутро, как всякое нутро – тайное, рояль Пандориного: «А что там внутри?» – тот, о котором Фет, во внятной только поэту и музы-

канту, потрясающей своей зрительностью строке:

Рояль был *весь* раскрыт, и струны в нем дрожали...

Не те аллегорические «струны души», а настоящие, рукой мастера протянутые и которые рукой можно тронуть, проследить от серебряных закрепок до обутых в красный бархат молоточков, *Hämmerlein im Kämmerlein*¹⁴⁶, чем-то – гриммовских, чем-то гномовских. Рояль торжественных дней, карет, ротонд. Великого Созвездия Люстры, рояль больших четырехручных состязаний, римской квадриги – рояль! – редкостный его лик, когда он, поставленный дыбом крышкой, сразу обращался в арфу, а озерная его несомутимая гладь в струнную, бурей или богатырем низложенную изгородь Жар-Птицы – только задень, и что пойдет! Рояль, от которого утром, как от всякого ночного чуда, не оставалось ни следу!

Но чтобы ничего не обидеть в моем старом друге-недруге: *Notenpult*, полный пюпитр, та изгородь из неживых цветов – между волей и мной, – черные деревянные лакированные цветы, в шмелиные, змеиные, малинные дни заменявшие мне, увы, цветы полевые! Нотный пюпитр, который можно класть так, чтобы нотная тетрадь лежала, как в обмороке, – и ставить так, чтобы висела над тобой, как утес, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей.

¹⁴⁶ Молоточка в каморочке (*нем.*).

Рояльный пюпитр с освободительным треском его окончательного закрытия.

И еще – сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида, – я их никогда не видала! – а из-за звука, гиппопо (само тулово), а хвост – там. А потом, с переводом вещей на человеческое – пожилой мужской фигурой тридцатых годов: тучный, но *bien pris dans la taille*¹⁴⁷, несмотря на громоздкость – грация, тот опытный, немолодой, непременно – фрачный танцор, которого девушки, только взглянув, предпочитают самому воздушному и военному. А еще лучше – дирижер! ярко-черный, плавный, без лица, потому что всегда спиной, – и полный чар. Поставь рояль дыбом, и будет дирижер! И, оставив и танцора, и дирижера: ведь рояль только вблизи неповоротлив на вес – непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой все необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, *место стать собой*, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете. Горы только на тебя давят, и единственная возможность их с себя снять – либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль. Руками взойди. Как мать всходила.

Чтобы дать, хоть немножко, ее игру – три случая. Когда мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, приехали в Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Так мы и заснули, мы с Асей не увидев моря, она – не испро-

¹⁴⁷ Здесь: изящный (*фр.*).

бобав рояля. Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала – и села. Через несколько минут – стук в дверь. На пороге черный сладкий брюнет в котелке. «Позвольте представиться: д-р Манжини. А вы, если не ошибаюсь, – синьора такая-то, моя будущая пациентка? (речь шла на затрудненном французском). Я проходил мимо и слышал вашу игру. И должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь наш Pension Russe – сожжете». И, с неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: «Geniale... Geniale...» Играть он ей, конечно, надолго запретил.

Второй случай – уже на возвратном пути в Россию – умирать. Где-то, кажется в Мюнхене, она – все то же, куда бы мы ни прибывали, – только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла к роялю. И вот, видим с Асей, как какой-то мальчик, старше нас, должно быть, лет четырнадцати, ярко-розовый и весь отливающий волосьяным золотом, все подъезжает к ней на стуле, к ней: к ее рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не свалился ей под ноги вместе со стулом, то есть попросту – под рояль. Мать, ничего не замечавшая, тут сразу все поняла: без всякой улыбки помогла ему выбраться и, опустив ему на голову руку, тут же не отводя ее, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. (Сын. Александр.) Нужно сказать, что из всех присутствующих, а присутствовали – все те же, куда бы мы ни прибывали – *все*,

никто не засмеялся. (Ибо мальчик так же просто – с тем же полуоткрытым ртом – и с тем же стулом – мог бы свалиться на горячую печь – или в львиный ров.) Мы же с Асей отродясь знали, что глупо смеяться, когда другой падает: ведь Наполеон – тоже упал! (Я даже, в своем максимализме, шла дальше: глупо, когда *не* падает. Идет и не падает – вот дурак!) Никогда не забуду своей матери с чужим мальчиком. Это был самый глубокий, за всю мою жизнь, *поклон*.

– Мама (это было ее последнее лето, последний месяц последнего лета) – почему у тебя «Wagum»¹⁴⁸ выходит совсем по-другому?

– Wagum – «Wagum»? – пошутила с подушек мать. И, смытая с лица улыбку: – Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, wagum все так вышло – как вышло, wagum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, – ничего ни у кого – тогда и сумеешь играть «Wagum». А пока – старайся.

Последнее – смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции «Тарусская». Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. («Села пассажирским, а доеду товарным», – шутила она.) На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после

¹⁴⁸ «Почему» (нем.).

нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов.

– Ну посмотрим, куда я еще гожусь? – усмехаясь и явно – себе сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук – но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею...

Это была ее последняя игра. Последние ее слова, в той, свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройке, были:

– Мне жалко только музыки и солнца.

После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страха и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого – всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием – а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она мне меня – такую, как я есть – простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы – следы материнских морей – во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше – я бы, наверное, кончила Консер-

ваторию и вышла бы неплохим пианистом – ибо данные были. Но было другое: *заданное*, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

1934

Хлыстовки

Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с постарше, – чуть-помоложе с чуть-постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, – возраста собственного числа – между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного – белого, и бровного черного края ожигало вас одинаковое, собирательное, око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза – хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько – тридцать? сорок? больше? – дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос явно не был его сын, раз Кирилловнам – не брат. Теперь бы я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда же я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему *пароход* – «Екатерина». Екатерина – и всё тут. Кирилловны – и всё тут.

Острое ж звучание «хлыстовки», могшее бы поразить несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною

объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили – как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков, птиц – из-за вечной присказки няни, ведшей мимо: «А вот и ихнее гнездо хлыстовское», – без осуждения, а так, простая отмета очередного с дачи Песочной в Тарусу этапа: «Вот и часовню миновали... Вот и колода видна: полдороги... А вот и ихнее...»

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний – после скольких? – спуск, полная, после столького света, тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная, после той жары, свежесть, после сухости – сырость, и, по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий и быстрый ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиною – «ихнее гнездо хлыстовское». Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный всей той красотой и краснотой, особенно смородиновой, того сереющего где-то навеса и не отмечал, не включал его, как собственно надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: «Гуляют в саду и едят ягоды».

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу, если ее

так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа – лопух, пески, та самая «Екатерина»... Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе) – туда (к людям, – на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку Наткина, позже – на городской бульвар), – средостояние, междущарствие, промежуточная зона. И, вдруг, озарение: а ведь не вход, не переход – *выход!* (Ведь первый дом – всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход, – из всех городов! Из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи – выход! Из всякой плоти – в простор.

Из всей Тарусы, верней, из всех «гостей», то есть сластей, чужих детей... я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения – в зеленую, холодную, ручьевую тьму, минования – серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым – так это у меня и осталось – все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, все лето сразу, со всем, что в нем красного и сладкого, где стоит только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Да яблок, как ни странно в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год – а каждый был урожайным! – на базар выносили бельевыми корзинами и их уж и свиньи не ели, – яблок у Кирилловн не было, потому что приходили они за ними к нам, в

наш «старый сад», то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не они приходили за яблоками, не те, степенные, долуокие, а *оне*, то есть ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами – теперь бы сказала: очень рвано одетым и босым, их Христос – с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожевеной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение у родителей к этим набегам было... судьбинное. «Опять Христос приходил за яблоками...» или «Опять Богородица с Христом *возле* ходят...» Те не спрашивали, *эти* не запрещали. Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых (?) мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно, однако, прибавить, что, когда мы, дети, их за этим делом заставали, они, особенно Христос, все-таки сторонились, хоронились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они – не делают, а мы – не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других – нет, что это все – так себе...
– Папа! Христа видели!

– Опять приходил?

– Да.

– Ну, и Христос с ним!..

Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставляли тут же спать в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвела его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глазами указывая друг другу на «находку», уходили, отходили к нашей «яме», где сидели, болтая ногами, косясь на всё-спящего и всё отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила – бонне, что Христос этот горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же *горький* для нас объясняло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он – скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же, потому, что она была темная и крепкая, а он – светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, – как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дичи песня про какие-то сады зеленые... Мы даже никогда не задумывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же,

как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему *Богородица* и *Христос*, и не потому, что мы верили, что это – те, с иконы (те – на иконе, а кроме того, все-таки – яблоки...) – не *те*, но и не *не-те*. Может быть, и сами имена внушали трепет – не может же каждый называться Богородицей и Христом! – и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так: «Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, не совсем воруют». Да и не воровали – брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами – нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая пара была не просто – люди, а если не настоящие *те*, то все-таки как-то – *тоже*. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно, и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: «Так, должно быть, *та* Богородица ходила за тем Христом», – потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пятую (босую). Ходила, и телом, будто поддерживала, – он весь был расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а то вовсе без всякого смысла – вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в

лопушиных полях, на Оке... Но – как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать бы дико, что вдруг Христос – викторию принес! И, поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего – не только взглядом, всем телом мимо глядел!

– Барыня! Кирилны викторию принесли... Брать прикажете?

Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) – за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешься, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишься с только *чуть* поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовкиным взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? все одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская все еще потупленными глазами уходящую спину матери, спокойно и неторопливо – в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще – мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть – так, до обеда, по многу сразу, вообще – жадничать? Оттуда же, откуда и мы, – мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами – всё.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили

больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущность, крепость, – Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа, – за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну – на всех!

«А меня хлыстовки больше любят! – с этой мыслью я, обиженная, засыпала. – Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте „больше любил“ – всех), а меня зато – дедушка и хлыстовки!» Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что – единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего – скопом, особенно же своих детей – на людях), о, полное потрясение, нас – взяли. Настоял, конечно, отец.

– *Эту* будет тошнить, – возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, – непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того «дедушку») не тошнит, меня не тошнит, тебя не тошнит, наконец ни Лёру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.

– Ну, стошнит... – кротко соглашается отец, – стошнит, и вся беда... (И, явно уже думая о другом:) стошнит – и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет – на свежем воздухе...

– При чем тут свежий воздух? – горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. – Что вагон – что воз – что лодка – что ландо, на рессорах, и без рессор, на пароме, на ascenseur'e¹⁴⁹ – всегда тошнит, везде тошнит, а еще *морской* назвали!

– Меня пешком не тошнит, – робко-запальчиво вставляю я, расхрабрившись от присутствия отца.

– Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, – уговаривает отец, – платье, наконец, на смену...

– Только я с ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! – раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. – Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда...

– Возьмем одеколону, – продолжает отец, – а рядом сяду – я. (Ты только, пожалуйста, не удерживайся, – конфиденциально, мне, – замутит – скажи, остановим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь... А действительно странно: отчего тебя всегда тошнит? – И, примирительно: – Природа, природа, ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: «Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!» Соскочишь побыстрее и побежишь подальше – чтобы не расстраивать маму!)

Словом, поехали – и с тем самым моим маком в руке – доехали – до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.

¹⁴⁹ Лифте (*фр.*).

– Ай Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? – Кирилловны – окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то своим общим хлыстовским сокровищем. Своих – ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Лёры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была – их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникала, как та жучка в бессмертных стихах («впопыхах!»), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы...

«Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь...» – «Мама не позволит». – «А ты бы осталась?» Молчу. «Ну, конечно бы не осталась – мамашу жалко. Она тебя небось во-он как любит?» Молчу. «Небось, и за деньги не отдаст?» – «А мы мамашу и не спросим, сами увезем! – какая-то помоложе. – Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать...» – та же, певуче. «Не бойся, голубка, – постарше, приняв мой восторг за испуг, – никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и с мамашей, али с нянькой – небось каждый воскресный день

мимо ходите, все на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-о видим, всех... В белом платье придешь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках...» – «А мы тебя оденем в на-аше! – подхватывает та певучая неугомонная, – в черную ря-ску, в белый платочек, и волосы твои отрастим, коса будет...» – «Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет, – гостя наша мечтанная, дочка мысленная...»

И, обняв, прижав, подняв, поддав – ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа в чесучовом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и самые далекие зализы песка на Оке...

Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Париж, май 1934

Сказка матери

– Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-точку больше, другого не меньше, но этого чу-точку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), – если – Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали – кого, и она только ждала убийственного для меня *слова*, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

– Кого – больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? – с явным замешательством (и явно оттягивая) – мать. – Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

– Да, – неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже *мой* победоносный взгляд. – А все-таки – кого? Ну, хоть чу-точку, капельку, крошечку, точечку – больше?

– Жила-была мать, у нее были две дочки...

– Муся и я! – быстро перебила Ася. – Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

– Да, – подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, – две дочери, старшая и младшая.

– А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, – возбужденно продолжала Ася, – а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

– Да, – подтвердила мать.

– А младшая потом *еще* вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик – одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая – в это время – так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и вот раз младшая едет в *ландо* и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и – она была очень, очень добра! – ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) – сразу влезла – и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенно – и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа – и та разбилась на четыре части

вдребезги!

– Да, – снова подтвердила мать. – Отца у них не было, только мать.

– А отец умер – от диабета? Потому что слишком много ел сахара, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбир, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

– При чем Захарьин, – внезапно очнулась мать, – это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

– А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня *страшно* ущипнула!

– Врешь! – от негодования и изумления прохрипела я. – Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала *мой* карандаш, с «Муся» чернилом.

– Ма-ама! – заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меня рейс. – А когда человек сказал да, а во рту – нет, то что же он сказал? Он ведь *два* сказал, да, мама? Он пополам

сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

– Кто куда пойдет? – спросила мать.

– В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

– Гм... – задумалась мать. – У нас – не знаю. У католиков на это есть чистилище.

– Я знаю! – торжествующе Ася. – Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

– И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

– А я знаю! – я, молниеносно. – Разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

– Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

– Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда – одну...

– И я знаю *какую!* – Ася.

– Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме – потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

– Может быть, – сказала мать, прислушиваясь, – но я этого и сама не знала.

– Потому что он был в нее *влюблен!* – торжествовала я, и уже безудержно: – И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...

– Какие африканские страсти! – сказала мать. – Откуда это у тебя?

– Из Пушкина. Но я другому отдана, *но* буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

– А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

– Нет, мама, в «Курьере» – совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

– Мама, что такое молочная сестра? – спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

– Дочь кормилицы.

– А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

– Вот.

– Фу! – сказала Ася.

– А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

– Не твоя, – подтвердила мать. – Потому что Асю кормила я, а тебя – кормилица. Твоя молочная сестра – дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы – был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в

паркет, что потом ничего не могли найти.

– А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? – спросила Ася.

– Ни одной, – ответила мать, – их мать кормила сама, поэтому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». – «Нет, – сказал разбойник, – я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту – *выбрала*, а ту... Ну, которую же?» – «Нет, – сказала мать. – Скорей *ты* умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я – сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

– А кого, мама, она все-таки больше жалела? – не вытерпела Ася. – Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

– Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, – я, с ненавистью.

– Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну пррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее – больше любила!

– Может быть... – честно сказала мать, – то есть больше – жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

– Мама, не забудь про аппендицит! – взволнованно, Ася. – Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, – тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит – и она бы, наверное, умерла – но ночью приехал доктор Ярхо – из Москвы – и даже без шапки и без зонтика, – а шел даже град! – и он был совершенно мокрый. Это – правда – мама, *святой* человек?

– Святой, – убежденно сказала мать, – я святее не встречала. И притом – совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь *какая* гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

– Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор – да? А когда доктор заболит – кто его спасет? Просто – Бог?

– Всегда – Бог. И тогда тебя – Бог. Через доктора Ярхо.

– Мама, – я, устав слушать про Асю, – а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот – *пузо*? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

– *Непривычно*, – сказала мать. – Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

– Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? – после долгого общего молчания спросила Ася. – Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так – ушел?

– Не ушел, – сказала мать. – Не ушел, а сказал ей следующее: «Зажжем в церкви две свечи, одна будет...»

– Муся! А другая – Ася!

– Нет, имен в этой сказке нет. «...левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

– Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чуточку, кро-охотку...

– Нет, Ася, – уже строго сказала мать, – я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», – сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть – ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи – как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет – другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

– А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? – Ася.

– Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже – с двух разных сторон – разбойник слева, мать справа – потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла – и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви – а против

церкви – солнце вставало! – разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и —

– Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чуточку... – взволнованно, Ася.

– Две черные, – трезво я. – Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, – то все опять сначала.

– Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили – так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли – неизвестно, но когда она опомнилась – разбойника не было – как и куда ушел – неизвестно. Не дождались его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

– Мама! Это был – разбойник! – закричала я. – Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только – ужасно жаль.

– Что – жаль? – спросила мать.

– Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, – поплелся – ни с чем! – она, конечно... *я бы*, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

– Вышла бы за него замуж, – поправила мать. – Женятся – мужчины.

– Потому что она его и *вперед* любила, только она уже была

замужем, как Татьяна.

– Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, – сказала мать взволнованно, – разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

– Нет, – сказала я. – Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

– А дети? – спросила мать глубоко-глубоко. – Разве можно бросить детей?

– Ну, *тогда*, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

1934

Китаец

Почему я так люблю иностранцев, всех без разбору, даже подозрительных арабов и заносчивых поляков, не говоря уже о родных по крови юго-славянах, по соседству и воспитанию – немцев, по нраву и громовому р – итальянцев, не будем перечислять, – всех, без разбору? Почему сердце и рот расширяются в улыбку, когда на рынке слышу французскую речь с акцентом, верней, один акцент с привеском французской речи? Почему, если мне даже не нужно капусты, непременно, магнетически, гипнотически беру у «метека» кочан и даже, вернувшись, второй, только чтобы еще раз услышать его чудовищное для французских ушей «мерррси», с топором рубнувшим «мадам», а иногда и просто: «До свидания, приходи опять». Почему, при худшей капусте, для меня метеков лоток непреложно – лучше? Почему рука сама, через лоток, жмет арабову, арапову и еще не знаю чью – лапу? Почему, когда на рынке ловкий «камло», сыпля словами и жестянками, превозносит французскую сардинку и поносит португальскую, я, оскорбленная, отхожу? Ведь не меня же ругали – при чем тут русские? Но ругая португальскую сардинку, меня, мою душу задела, и это она увела меня из круга туземцев более властно, чем ангел-хранитель за руку, или ажан – тоже за руку, хотя иначе.

Потому ли (так люблю иностранцев), что нам всем, чу-

жакам, в Париже плохо? Нет, не потому. Во-первых, мне в Париже не плохо (не хуже, чем в любом месте, которого я не выбирала), во-вторых, моему рыночному другу-армянину, который молодых зовет «p'tite soeur»¹⁵⁰, а пожилых «p'tite mère»¹⁵¹, и даже самую нарядную даму не зовет «Madame», в Париже явно хорошо. Значит, дело не в плохости жизни, и любовь моя не «camaraderie de malheur»¹⁵².

А потому что каждому из нас кто-то, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть «метек», а мы этого ему крикнуть – не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой – нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке – и будь она целыми прериями – непрочны: нога непрочна, земля непрочна... Потому что малейшая искра – и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще несправедливыми разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо – виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в буню, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы. Потому что все мы, от африканца до гиперборейца,

¹⁵⁰ Сестрица (*фр.*).

¹⁵¹ Мамаша (*фр.*).

¹⁵² Товарищество по несчастью (*фр.*).

camarades ne de malheur, a: de danger¹⁵³. Потому что, если мы все под Богом, то на чужой земле еще и под людским гневом ходим. Гневом черни, одной – всегда, одним – всегда. Потому что стара вещь – вражда, и сильна вещь – вражда. Иностранца я люблю за то, что у него на всякий случай голова втянута в плечи, или – что то же и на тот же случай – слишком уж высоко занесена.

Не «плохо живется», а плохо может прийти.

Мне скажут: «А у себя, в Москве?» Да, было дело, и не раз: «Ишь, буржуйка, шляпу нацепила!» (Из глаз – ненавидящий *класс*.) – «А я зато в Москве родилась, а ты откуда взялся?» Ведь я, при всем моем превосходстве: стоянии *над* месторождением, отыгрывалась – им же! И этого довода «в Москве родилась», этой почвы из-под ног у меня никто не вырвет, даже если я, как сейчас, от нее за тридевять земель и запретов. Убьют – не возьмут!

Я сказала: *camarades de danger*. И все же – нет. Родина, в иные часы, настолько опаснее чужбины, насколько опаснее возможного несчастного случая – верная смерть. Смерти бежа, – побежали многие беженцы. *Camarades de danger*, но не физического. Страх оскорбления, а не смерти, нам всем головы втягивает, и вызов невидимому оскорбителю иным из нас головы заносит. Оскорбления, на которое в *иностранцевом* словаре – нет слов.

¹⁵³ Товарищи не по несчастью, а по опасности (*фр.*).

Camarades d'orgueil blessé¹⁵⁴. Пришла на почту отправить рукопись: печатными буквами, но рукой писанную, – ясно, что заказным письмом, то есть франка три, – рукой писанную, но печатными буквами, значит, может быть все-таки «imprimé»¹⁵⁵. Занятая этими сложными сделками со своей совестью и трусостью, упускаю начало предполагаемого рассказа и застаю его уже в виде прильнувшего к окошечку и оживленно жестикулирующего какими-то мелочами китайца.

«Дряй, дряй», – различаю я в тонкой и быстрой струйке его детского голосочка. «Что он говорит?» – почтовая барышня другой, по-французски. – «Это – японец (вторая), он говорит по-японски». И отдельно, как двухлетнему ребенку: «Сколько стоит это?» – раскачивая перед его лицом какую-то яркую мелочь, оказывающуюся кошелечком. И, в ответ на его явное непонимание, еще сокращая, как годовалому: «Сколько – это?» – «Дряй, дряй, дряй!» – мельчит китаец. «Это – китаец, и он говорит три», – поясняю я прелестной, вцепившейся в кошелек почтарше. «Мадам понимает по-китайски и говорит, что три», – шепотом поясняет барышня своей не менее миловидной и вождедеющей товарке, откровенно бросившей свое окошко и выудившей с прилавка первого – другой кошелечек, не менее соблазнительный. «Я не по-китайски понимаю, а по-немецки, – честно

¹⁵⁴ Товарищи по уязвленной гордости (*фр.*).

¹⁵⁵ Бандероль (*фр.*).

поясняю я и, уже увлекшись филологией, – по-немецки – дрэй, а у нас – три. (Бровный вопросительный знак.) – Я – русская. Мы с немцами соседи». – «Так скажите ему, мадам, – почтарша с неизъяснимым волнением уважения, – что...» – «Русский? – вдруг, мне, китаец. – Москва? Ленинград? Харашо!» – «Так вы и по-русски знаете?» – я, бросив барышню, бросаясь к китайцу, радостно. «Москва была, Ленинград была. Харашо была!» – тот, сияя всем своим родным уродством. «Он знает Россию, – я барышне, взволнованно, – мы ведь соседи, это почти компатриот...» – «Скажите ему, пожалуйста, что два! два!» – сбитая с толку барышня, для вящей понятности поднося растопыренные пальцы уже к моему лицу. «Я поняла: два. (Китайцу:) Zwei. Два. Die Dame gibt zwei Franken¹⁵⁶». – «Dutsch! Dutsch!¹⁵⁷ Берлин! – расплывается в улыбку китаец, топя в ней последние остатки глаз, и, по мере ее сбегания, вновь прозревая: – Zwei – не-е, drei, drei». – «Он не хочет два, он хочет три, – докладываю я и, испугавшись, как бы не отослала его ни с чем. – Но может быть и уступит. Но, предупреждаю вас, c'est un chinois, ce sera long»¹⁵⁸.

Пока барышни, как птички в клетках, шепотом и щебетом совещаются, показываю китайцу браслет с левой руки: неведомую птицу, раскинувшую хищные крылья и не менее хищ-

¹⁵⁶ Дама дает два франка (нем.).

¹⁵⁷ Немецкий (искаж. нем. Deutsch).

¹⁵⁸ Это китаец, это будет долгая история (фр.).

ный когтистый хвост над встречным движением нам неведомого дерева, кажущегося ее водным отражением. «Хина! Хина!» – ликует китаец, деликатно потрагивая желтым пальцем массивное серебро браслета. «Купила у „хины“ – в Москве – в войну – Krieg». – «Война? Купил?» – тот, почти смеясь уже. Но даже если бы ты мог меня понять, дорогой почти-соотечественник, не рассказала бы тебе – как, ибо купила – вот как. Иду по Арбату и наталкиваюсь – именно наталкиваюсь, как на столб, на китаянку в голубом балахоне, редкую, лицом, уродку, всю в серебре. И так как отродясь люблю серебро, и отродясь люблю огромные кольца, а сейчас (1916 г.) пуще всех колец – строки:

Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольца...

И дальше, на простонародном старинном *ы* настаивая:

И я, в который раз подряд,
Целую кольца, а не руки...

И так как это именно – кольца, старинные, простонародные, огромные, – щитами, на которых можно написать все, – огромные, но на каждый палец, ибо не запаяны, а загнуты, я прямо к китаянскому носу рубль, тоже серебряный и еще огромнейший: «Продашь?» – «Не-не-не-не», – китаянка, мелко и пронзительно, точно ее колют. Я, не вытерпев,

молча, второе колесо рубля. Сторговались: я отдала ей все свои рубли, а она мне все свои кольца, и с чистыми щитами, и с щитами, исчерченными, будем надеяться – заклетьями, а не проклетьями! Но, уже шагов пятьдесят пройдя, – блеск большого серебряного обода в глазах, блеск, переходящий в нестерпимый, от секунды к секунде растущий разгар ожога: осознаю, что не купила у нее прекрасного, с птицей, браслета, которого за суетней колец и рублей, как-то не дорассмотрела, не доосознала. Возвращаюсь – китайянки нет. Ищу на Арбатской площади, на Пречистенском бульваре, на Воздвиженке – исчезла.

Несколько дней спустя, на том же Арбате – глазам не верю – она! Первый взгляд на руку: *он* цел! (Да и кому тогда, во всей Москве, кроме меня, нужен был *серебряный* браслет?) Я – десятирублевую бумажку: «Продашь?» – «Не-не-не-не...» Я – еще пятирублевую, и маша ею перед вдавленным носом. «Да?» – лепет, – живое немецкое «*lispein*»¹⁵⁹ – нечеловеческое: листовенное, точно совсем бессмысленное, точно не я не понимаю, а и нечего понимать, – точно кошка лакает из блюдца, и – цап мои бумажки! Теперь хочу браслет, но-о, удивление, негодование, отчаяние, похолодание – браслета не дает, не дает даже притронуться: «Не-не-не-не-не...» А деньги тоже уж «не-не-не» – исчезли: нет: проглотила, что ли? «Давай браслет!» – я, как умею, строго. Она, совсем закрыв глаза (лицо совершенно идольское) и зажав

¹⁵⁹ Лепетание (нем.).

под мышкой браслетную руку, да еще прижав ее для верности другой (сейчас уйдет! сбежит! и остолбенев – уже остолбенела – я): «Не-не-не...» Но тут – кулак. Огромный безмолвный кулак. Оборачиваюсь – солдат. Солдат, стоявший и наблюдавший сцену. «*Это* – видала?» Да, увидела сквозь закрытые глаза, которые тут же раскрыла, так же как, торопливым и покорным жестом, на руке, браслет. Подала. Наде-ла. «Ах ты, желтюга косоглазая! – солдат, уже *для души* замахиваясь. – Деньги – брать, а браслетку – жать? Да я тебя, такую-сякую...» – но нецензурный конец тонет в громком его хохоте, ибо китайка уже бежит, быстрит, быстро-быстро, мелко-мелко, мелким бесом и бисером перекатываясь на неправдоподобно-крохотных своих болванчиковых китайских ногах. «Ну и дура ж ты, прости Господи! барышня! Да рази так можно? С нехристями этими? Деньги давать до-преж как вешш в руках. Пятнадцать, что ль, дала?» – «Пятнадцать» – «Видно, деньги твои неслитанные. Да я бы за такое, прости Господи (нецензурное слово) – и рубля, что руб-ля, и полтины...»

Птичий браслет на моей руке и поныне, заклятые кольца же, что-то особой удачи не приносившие, я в один особен-но-неудачный день наотрез сняла: ведь если даже и *не* проклятые, – Бог их знает, почти-компатриотов, – может быть: что китайцу польза, то русскому – вред?

«Не-не-не-не... – лепечет китаец, – нэй, нэй!» – «Он не хочет два», – огорчается барышня. «Так дайте два пятьде-

сят». – «А что скажет мой муж?» – «Мужу скажете: два». – «Вы так думаете?» – «Да. Берите, а то я возьму, все возьму». Кошельки, как по мановению, с помощью еще нескольких рук, разобраны: ушел и чудный малиновый животастый мандарин, и разлтая – азалии? магнолии? – ветка, и паланкин, и рисовый обед. Мне достался – остался – последний, худший, и даже не китайский, а японский: две неприятно-тощие японки с гребнями и без всяких животов. Потом, по дружбе и без всякой надежды, роюсь в его заветном товаре: черных зеркальных шкатулках с щелчком – выскакивающим золотым аистом, подносящим папиросу, золотых кадилыницах-курильницах, и – о сюрприз! – китайские папиросы в золотой коробке. «Сколько?» – я – китайцу. «Твоя – два». – «Хорошие?» – «Харош!» – зашивает щели глаз и выкатывает китайские яблочки ноздрей. «Что это?» – почтарша, заинтересовавшись. «Китайские папиросы. Дешево». – «Пахнет розой, – барышня, обнюхав, и, мечтательно: – Как должно быть, приятно и необыкновенно – розовый табак». Я, работая на китайца: «Купите тоже!» – «О, нет, нет, муж курит только „Житан“, от розового табака, вы знаете, мужчину стошнить может». – «Так попробуйте мою!» На лице у барышни – ужас. «Да что вы! Ведь это – ваши!» —»Потому-то и предлагаю вам (обращаясь к другой) и вам». – «Нет, – первая барышня твердо, – я не могу допустить, чтобы вы из-за меня портили вещь». – «Но ведь я их все равно открою!» – «Дома, при вашем муже – другое дело, но чтобы

из-за меня...» – «Ну, сделайте мне удовольствие, – умоляю я, – я сама буду курить, все покурим, и китаец покурит». – «Я вам бесконечно благодарна, но это невозможно», – барышня, для пущей убедительности отъезжая вместе со стулом вглубь. «Тогда открою – я!»

Открываю, и – о, изумление! – вместо стройного ряда белых или хотя бы «розовых» папирос, – мозаика черных друг в друга вжатых шершавых треугольников. Я, неуверенно протягивая: «Но как же это курить?» Барышня, вертя между пальцами, с внезапным вскриком: «Но ведь это уголь! (Показывая замшево-черные пальцы:) Смотрите! – Строго, китаецу: – Что вы продали Madame?» Китаец, шумно втягивая воздух носом и изображая на лице блаженство: «Харош!»

«Да ведь это для курильницы, – подошедший почтальон, – у моей тещи как раз такие же. И очень даже хорошо пахнет, когда зажечь». – «И у меня есть китайская курильница, – не без гордости, барышня, – только никогда не зажигали». – «Так возьмите!» – «Что?» – «Уголь возьмите – к курильнице». – «Но мой муж...» – «Даром возьмите, сделайте мне это одолжение, что же мне с ним делать, у меня же нет камины, в плите, что ли, жечь вместо boulet?»¹⁶⁰ Шутка удалась, общий смех, но рука все еще не решается. «Да берите же, – знаток-почтальон, – Madame – русская? Я знаю русских, они делают все, что им приходит в голову, и не тер-

¹⁶⁰ Сорт дешевого угля.

пят, чтобы им противоречили. Правда, Madame?» – «Совершенная, – серьезно подтверждаю я, – и больше того: когда им не дают делать того, что им приходит в голову, они эту голову – теряют (ils perdent la tête) – поняли?»

И, вложив окончательно оробевшей барышне в руку «розовый табак», выходим – китаец, мой сын и я. На перекрестке, исполосованном автомобилями, долго ждем. «Не-не-не», – китаец, мотая головой на машины. Наконец перешли. Ему вправо, мне – влево. Прощаясь за руку, отмечаю, что жмет, как мы, жмет, а не отсутствует, как французы. И, уже несколько шагов пройдя: «Э-э-э-иэ-иэ-иэ...» – какое-то – слабое хотя, – голошенье. Оглядываюсь: он, желтый, лошадо-волосый, бегущий, чем-то машущий: цветком на палочке, который сует в руку моему сыну: «На, на, моя – твоя...» Я: «Бери же, Мур. (Китайцу:) Спасибо. Сколько?» Он, маша уже пустой рукой и сотрясаясь от беззвучного смеха: «Не-не-не-не... твоя дала, моя дала... моя дала, моя твоя дала... ла-ла-ла-ла...» И, вознося в небо деревянное изделие своего лица: «Харош русск!.. Хорош – Москва!..»

«Какой хороший китаец, – сказал мальчик, пыхтя над игрушкой. – А почему почтовая барышня так боялась взять у вас уголь?» – «Потому что здесь незнакомым – не дарят, а если дарят – пугаются». – «Но китаец ведь тоже незнакомый... – и удачно раздув рябую плиссированную бумагу в не то цветок, не то птицу, не то грушу, не то дворец: – Мама, а насколько китайцы больше похожи на русских, чем фран-

цузы».

1934

Черт

Связался черт с младенцем.

Черт жил в комнате у сестры Валерии, – наверху, прямо с лестницы – красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль.

Начиналось с того, что меня туда зазывали: «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет», либо: «Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет (протяжно) сюрпри-из». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, что это за «кто-то» и какой это сюрприз, и зазывавшие знали, что – знаю. Были это – либо Августа Ивановна, либо Асина няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда – женщина, и никогда – мать, и никогда – сама Валерия.

И вот, полуподталкиваемая, полу – комнатой – втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком – входила.

Черт сидел на Валериинной кровати, – голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смиренно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная

гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти – догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.

Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей – уши. Что было – хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног – так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять-таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил – он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, – не атрибуты, главное были – глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы – без всего.

Действия не было. Он сидел, я – стояла. И я его – любила.

По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валерииной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетавшей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валерииной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугу-

ная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. Общими были: масть – с серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед: печи – летом, подпотолочный рост – и полная неподвижность. Печь стояла так смиренно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я с особой усладой тайного узнавания прижималась к ней стриженным, горячим от лета, затылком, читая Валерии вслух запрещенные матерью и поэтому Валерией разрешенные – в руки данные – «Мертвые Души», до которых – мертвецов и душ – так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться – и мертвецы и души – как нарочно слышался шаг матери (кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только, в нужную минуту – как по заводу – проходила) – и я, обмирая от совсем уже другого – *живого* страха, пихала огромную книгу под кровать (ту!). А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаруживалось, что *их* уже нет, что *они* уже опять отъехали вперед – на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до *мертвых душ* никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшной той названия: не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия.

...Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой – к ледяному. Но к

нему – только в образе печки, к нему – тому – никогда. Впрочем, все же – да, но это потому что на руках и через реку.

Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь – одна, на середине Оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто сразу, тону. Уже потонула. Начнем сначала: тону на середине Оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла – взлет (который *знаю* с первой секунды!) – я – на руках, высоко над Окой, голова под небом, и несут меня «утопленники», собственно – один и, конечно, совсем не утопленник (утопленник – я!), потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь, и он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею – по праву всякого утопающего.

Шагаем с ним по водам, то есть шагает – он, я – еду. А другие («утопленники» – или кто? Его подвластные) громко и радостно, где-то под низом – во-оют! И, ступив на другой берег – тот, где дом Поленова и деревня Бёхово – он, с размаху ставя меня на землю, с громовым – так и гром не грохочет! – смехом:

– А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «черт возьми» – из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и, как самый обыкновенный мужик – или студент – «черт возьми!», – точно он может этого бояться – или желать, – точно его, или меня на его

руках, – вообще может взять черт! И никогда меня не омрачила мысль, что это – для меня из снисхождения к моему малолетству, точка над *i* собственной *identité*¹⁶¹, чтобы я не ошиблась, что он – действительно – он. Нет, он просто играл – в простого смертного, что «я не я и лошадь не моя».

Нужно сказать, что, за ошеломляющим – из его уст – «черт возьми», само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его, во мне, отзвуках, сама несколько *отходила* – о, нестерпимость этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам... Он со мной – поженится! На совершенно мокрой, маленькой...

И вот, однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока – не в силах:

– Мама! Мне сегодня снились... утопленники... Будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот, главный утопленник, мне сказал: «Мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми!»

– Поздравляю! – сказала мать. – Я тебе всегда говорила! Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты...

Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я, торопливо:

– Но это, правда, были утопленники, самые-совершенные, синие...

¹⁶¹ Тождественностью (*фр.*).

И в распухнувшее тело
раки черные впились!

– И ты находишь, что это – *лучше?* – иронически сказала мать. – Какая гадость!

Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, – типа встреч, одна-единственная – неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериину трехпрудную комнату, но не один кто-то, а много, – целый шепчущий и тычущий пальцем круг: тут и няня, и Августа Ивановна, и весной, с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и другая Марья Васильевна, с лицом рыбы и странной фамилией Сумбул, и даже та портниха, *у* и *от* которой так пахнет касторкой (кумачом) – и все они, в голос:

– Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет...

Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, – мнусь. Наконец вхожу. И – о, ужас! Пусто. На кровати – никого. Его на постели – нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната – одна, как я – одна. Без него.

Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жарптицной ширме (за которой его, наверно, нет, ибо не будет же он играть в прятки!), от ширмы к книжному шкафу, – такому странному: где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с – как няня говорит – «безделушками», от «без-

делюшек» к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа, от атласа к белой, в синюю клетку, печке, увенчанной уральским хрусталем и ковылем... В том же столбняке шагаю к окну, из которого видны *те* деревья: серые ивы вокруг зеленой церкви, серые ивы моей тоски, местонахождения которых в Москве и на земле я так никогда и не узнала и не попыталась узнать.

С сосущим чувством: обману-ул! – стою, упершись лбом в первый низкий квадрат окна, жгу себе глаза удерживаемыми слезами, и опустив, наконец, глаза, чтобы отпустить, наконец, слезы... – на ватном дне окна, между двумя рамами, в зеленоватом стекле, как в спирту! – целая россыпь крохотных серых скачущих, страшно-веселых, вербных, с рожками-с-ножками, все окно превративших в вербную чертикову бутыль.

Вежливо улыбнувшись, как на слишком младенческую игрушку, и постояв сколько нужно, чтобы не обидеть – не их, бессмысленно-скачущих и меня знать-не-знающих, а – того, немножко утешенная, немножко обиженная, в последний раз проверив пустующую кровать – выхожу.

– Ну как? Ну как? – с гримасами и ужимками няня, Августа Ивановна, две Марьи Васильевны, портниха Марья Игнатьевна и еще три нафталиновых монашки, которые, при особых обстоятельствах времени и места, дико щекоча, запихи-вают меня в Валериин красный сундук за перегородкой.

– Ничего. Спасибо. Очень хорошо, – я, нарочито-медлен-

но и напряженно-непринужденно проходя сквозь их тянущиеся и несмеющие руки. (Проходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень уж похожа, и у няни почему-то из угла рта висит язык...)

Чертики в окне и страхобесие у двери не повторились. Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог прийти, – или искуc, испытание взрослости и верности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящего и единственного, на то вербное множество? То есть, встав спиной к пустой – им – кровати, не стану ли попросту – играть?

Нет, с игрой было кончено! Дьявол моего младенчества мне, среди много другого, оставил в наследство: неизбывное, как догов зевок, от всего, что игра: «Ску-учно!»

Почему Черт жил в комнате Валерии? Тогда я об этом не думала (а Валерия так никогда и не узнала). Это было так же просто, как то, что я живу в детской. Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте, а Черт – в комнате Валерии. Тогда это был факт.

А теперь – знаю: Черт жил в комнате Валерии, потому что в комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого – «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Ка-такомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, вино-вато и неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь, как те

на Бога, но никогда не предав своего змея. («Это тебе Лёра дала?» – «Нет, сама взяла».) Черт в Валериину комнату пришел на готовое место: моего преступления – материнского запрета.

Но было еще – другое. В Валериинной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» – и первый роман моей жизни – «Anais». В ее комнате *была* любовь, жила – любовь, – и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц – но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня – глазами глядят! – серебряные пилюли.

Конфетки – но страшные, пилюли – но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно – загораживаясь спиной и лбом в комод – глотала, как я – лбом в шкаф – «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли – ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж – за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» – «Нет». –

«Почему?» – «Потому что тебе не нужно». – «А если съем – я умру?» – «Во всяком случае, заболеешь». Потом (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что пилюли – самые невинные, *contre les troubles*¹⁶² и т.д. – самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко – малиновым.

А не приходил ли Черт к самой Валерии? Ведь она-то не знала, что он ко мне приходит, так же и я могла не знать, что он – к ней. (Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, – ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы.) И все же – нет. Нет, ибо она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, – вообще всю жизнь *пропоступала*. Первая же примета его лю-

¹⁶² Успокоительные (*фр.*).

бимцев – полная разобщенность, отродясь и отовсюду – исключенность.

Нет, Черт никакой Валерии не знал. Но он и матери моей не знал, такой одинокой. Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была – *его* девочка, его чертова сиротиночка. Черт в меня, как в ту комнату, пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная комната – и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге.

Но одна моя встреча с ним, как ни странно, произошла через мать, через...

«Красный карбункул, —

провозгласила мать. – Что такое «Красный карбункул»? Ну, ты, Андрюша!» – «Не знаю», – твердо ответил он. «Ну, что тебе кажется?» – «Ничего не кажется!» – так же твердо ответил он. – «Но как это может быть, чтобы ничего не казалось! Всегда – кажется! И тебе – кажется! Кар-бункул. Ну?» – «Карболка?» – равнодушно предложил Андрюша. Мать только рукой махнула. «Ну, а ты, Асенька? Только вслушайся внимательно: кар-бункул. Неужели тебе ничего не представляется?» – «Пред-ставляется!» – слегка преткнувшись, но с большим апломбом выпалила ее любимица. «Ну – что же?» – с страстной жадностью ухватилась мать. «Только не знаю – что!» – с той же быстротой и апломбом – Ася. «Ах нет, Асенька, ты, должно быть, действительно,

слишком мала для такого чтения. Мне это дедушка читал, когда мне было уже семь лет, а тебе только пять». – «Мама, мне тоже уже семь!» – наконец не выдержала я. «Ну и что же?» Но не последовало – ничего, потому что я уже опять оробела. «Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?» – «Такой красный графин?» – упавшим голо- сом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkeln¹⁶³). «Нет, но ближе. Карбункул – это красный драгоценный ка-мень, по бокам (кар-бун-кул) – граненый. Поняли?»

Все шло хорошо до Зеленого. Кто-то приходит – не то в погребок, не то в пещеру. «А Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует». – «Кто такой Зеленый? – спросила мать, – ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?» – «Охотник», – равнодушно сказал Андрюша. «Какой охотник?» – наводяще спросила мать.

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
Gib sie wieder her!
Gib sie wieder her!
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schieassgewehr,
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schiess-ge-we-ehr!¹⁶⁴ —

¹⁶³ Графин, сверкание (нем.).

¹⁶⁴ Ну-ка, лис, верни поживу,Брось гуся живьем! (2 раза)А не то охотник живоГромыхнет ружьем! (2 раза)(Пер. с нем. А. Парина).

с полной готовностью пропел Андрюша. «Гм... – и намеренно минуя меня, *уже и так же* рвущуюся с места, как слово с уст. – Ну, а ты, Ася?» – «Охотник, который ворует гусей, лисиц и зайцев», – быстро срезюмировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами. «Значит – *не* знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?» – «Мама! – в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. – Я – знаю!» – «Ну?» – уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги. «Зеленый, это – *der Teufel!*¹⁶⁵» – «Ха-ха-ха!» – захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не уместаясь. «Хи-хи-хи!» – угодливо залилась за ним Ася. «Нечего смеяться, она права, – сухо остановила мать. – Но почему же *der Teufel*, а не... И почему это всегда *ты* все знаешь, когда я *всем* читаю?!»

* * *

От Зеленого и «тасует», а отчасти и от маминой горничной Маши Красновой, все ронявшей из рук: подносы, сервизы, графины – и даже целых судаков под соусами! ничего не умевшей держать в руках, кроме карт, я к семи годам прирастилась к картам – до страсти. Не к игре, – к ним самим: ко всем этим безногим и двуголовым, безногим и однору-

¹⁶⁵ Черт (*нем.*).

ким, но обратно-головым, и обратно-руким, самим себе-обратным, самим от себя отворотным, самим себе изножным и самим с собою незнакомым высокопоставленным лицам без местожительства, но с целым подданством одномастных троек и четверок. Что тут было в них, или, как Ася – ими играть, когда они сами играли, сами и были – игра: самих с собою и самих в себя. Это было целое живое нечеловеческое по-попоясное племя, страшно-властное и не совсем доброе, бездетное и бездедное, не живущее нигде, как на столе или за щитком ладони, но тогда и зато – с какой силой! Что в дюжине – двенадцать яиц, этому меня учили – годы, но что в каждой масти – тринадцать карт и что тринадцать – чертова дюжина – с этого бы меня не сбили даже в самом сонном сне. О, как сразу я, так медленно усваивавшая четыре правила – усвоила четыре масти! Как с первого раза я, до сего дня не уверенная в значении деепричастия и, вообще, назначении грамматики, усвоила значение каждой карты: все эти дороги, деньги, сплетни, вести, хлопоты, марьяжные дела и казенные дома – значение карты и назначение карт. Но больше всего, даже больше бубнового неженатого короля, моего жениха через девять лет, даже больше пикового короля, – грозного, тайного, – Лесного Царя, как я его звала, даже больше червонного валета сердца и бубнового валета дорог и вестей (дам я, вообще, не любила, у всех у них были злые, холодные глаза, которыми они меня, как знакомые дамы – мою мать, судили), больше всех королей и валетов я любила – пиковый туз!

Пиковый туз у Маши был удар, и удар – *был*, удар занесенным черным вверх глядящим сердцем конца алебарды – в сердце. Пиковый туз был – Черт! И когда та же Маша, сняв положенные мне, бубновой, ибо незамужней, даме на сердце карты и открывши последнюю, сердечную, сама пугалась: «Ай-ай-ай, Мусенька, плохое твое дело, а под самым низом-то – удар! Ну, ничего, может, еще никто не помрет – да кому и помирать? Дедушка – померли, старого больше у нас никого – значит, мамаша заругает или опять с Густыванной подерешься», – я, со всем превосходством знания, со всей непоколебимостью тайны: «Это не удар, – а – секрет». Удар был – привет. Удар по мне привета. Удар по мне радости и страха: любви. Так я, несколько лет спустя, в генуэзском Нерви, нечаянно заведев из окна гостиницы «Beau-Rivage» и направляющегося к ней: в ней заточенным нам с Асей – революционера «Тигра», испугалась от радости – так, что швейцарская бабушка, испуганно: «Mais, qu'as-tu donc? Tu es toute blanche! Mais, qu'as-tu donc vu?»¹⁶⁶. Я, внутри рта: «Lui»¹⁶⁷.

Да, туз был – Lui. Он, сгустившийся до черноты и сократившийся до клинка. Он, собравшийся в удар, как тигр – в прыжок. Позже и этого стало много, позже удар с сердца, на котором лежал, перешел – в сердце. Изнутри меня – шел, толкая – на все дела.

¹⁶⁶ Но что с тобой? Ты совсем бледная! Да что с тобой? (*фр.*)

¹⁶⁷ Это Он (*фр.*).

Но был у меня, кроме пикового туза, еще один карточный Он, и на этот раз не от русской Маши, а от дерптской Августы Ивановны, непосредственно с его баронской родины, и уже не гадание, а игра, общеизвестная детская игра с немножко фамильярным названием «Der schwarze Peter»¹⁶⁸.

Игра состояла в том, чтобы сбыть другому с рук пикового валета: Шварцего Петера, как в старину соседу – горячку, а еще и нынче – насморк: *передать*: наградив, избавиться. Сначала, когда карт и играющих было много, никакой игры, собственно, не было, вся она сводилась к круговой манипуляции карточным веером – и Петером, но когда, в постепенности судьбы и случая, стол от играющих и играющие от Черного Петера – очищались, и оставалось – двое, – о, тогда игра только и начиналась, ибо тогда все дело было в лице, в степени твердокаменности его. Прежде всего, это была дисциплина дыхания: не дрогнув вынести каждое решение – и перерешение – то схватывающей, то спохватывающей, и вновь промахивающей, и вновь опоминающей партнеровой руки. Дело берущего было – *не* взять, дающего – сдать. Берущего – почуять, дающего – сбыть, сбить другого с верного чутья, внушить всем своим изолгавшимся существом – другое: что черное – красное, а красное – черное: Шварцего Петера держать с невинностью шестерки бубен.

О, какая чудесная, магическая, бестелесная игра: души –

¹⁶⁸ «Черный Петер» (нем.).

с душою, руки – с рукою, лица – с лицом, всего – только не карты с картой. И, конечно, в этой игре я, с младенчества воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в этой игре мастером была – я.

Не буду говорить то, чего не было, ибо вся цель и ценность этих записей в их тождественности бывшему, в тождестве того, признаюсь, странного, но *бывшего* ребенка – самому себе. Просто было бы сказать и естественно было бы мне поверить, что я моего Черного Петера соседу совсем не подсовывала, а, наоборот, – отстаивала. Нет! Я в этой игре оказалась его настоящей дочерью, то есть страсть игры, то есть – тайны, оказывались во мне сильней страсти любви. Это была еще раз моя с ним тайна, и никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитро и блистательно – сдавала – сбывала, еще раз мою с ним тайну – скрывала, и, может быть, главное, – еще раз умела обойтись – даже без него. Чтобы все сказать: игра в schwarze Peter была то же самое, что встреча с тайно и жарко любимым – на людях: чем холоднее – тем горячее, чем дальше – тем ближе, чем чуждее – тем *моее*, чем нестерпимее – тем блаженнее. Ведь когда Ася, и Андрюша, и Маша, и Августа Ивановна – для которых это входило в игру – с гиканьем и тыканьем в живот, как бесы кривляясь и носясь вокруг меня, орали: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – я даже отыграться не могла: даже одной хотя бы улыбкой из всей заливавшей меня тайной радости. Задержанный аффект радости бросал-

ся в руки. Я дралась. Но зато – с высоты какой убежденности, с какой через-край наполненностью я, додравшись, роняла им в веселые лица: «Я – Schwarze Peter, зато вы – ду-ра-ки».

Но так же трудно, если не еще трудней, как не просить лицом от Шварцего Петера, было не потемнеть лицом, когда в руке, вместо наверного его – вдруг – шестерка бубен, пара к уже имеющейся, уводящая меня из игры и Черным Петером оставляющая – другого. И плясать вокруг шварце-петринской Августы Ивановны с преступными, издевательскими, предательскими криками: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – было, может быть, еще большим героизмом (или усладой), чем каменным, а затем и дерущимся столбом стоять среди беснующихся «победителей».

Может быть, я эту игру рассказала слишком бестелесно? Но что тут было рассказывать! Ведь действия не было, вся игра была внутри. Были только жесты рук, жест сбрасываемой карты, важной только, как пара: тем, что ее можно было сбросить. Без козырей, без ставок, без взяток, без (самоценности) королей, дам, валетов, – *карт*, с колодой, состоящей только из одной карты: *него!* – которого нужно было сбыть. Игра не взять хотящая, а отдать. В этой игре, по ее бесплотности и страшности, действительно было что-то адово, аидово. Убегание рук от *врага*. Так друг другу, в аду, смеясь и трясясь, сбывают горящий уголь.

Смысл этой игры – глубок. Все карты – парные, он один – один, ибо его пара до игры – сброшена. Всякая карта должна

найти свою пару и с ней уйти, просто – сойти со сцены, как красавица или авантюристка, выходящая замуж, – со стола всех еще возможностей, всеможности, единоличных и, может быть, исторических судеб – в тихую, никому уже не любопытную, не нужную и не страшную стопу отыгранных – парных карт. Предоставляя ему – весь стол, его – своей единственности.

Еще одним видом моего интимного общения с Петером была игра «Черт-черт, поиграй да отдай!», игра – только от слова «поиграй», ему – игра, а вовсе не просителю, заветную вещь которого: папины – очки, мамино – кольцо, мой – перочинный нож, он – заиграл. «Никак не иначе, как черт занес! Привяжи, Мусенька, платочек к стуловой ножке и три раза, да так – без сердца, ласково: „Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт, поиграй да отдай...“

Стянутый узлом платок концами торчал, как два рога, малолетняя же просительница сомнамбулически шлялась по огромной, явно пустой зале, ничего не ища и во всем положась и только приговаривая: «Черт-черт, поиграй да отдай... Черт-черт...» И – отдавал, как рукой подавал: с чистого подзеркальника, где только что и столько безнадежных и очевидных раз не было ничего, или просто случайно руку в карман – там! Не говоря уже о том, что папе пропажу он возвращал непосредственно на нос, а маме – на палец, непременно на тот.

Но почему же Черт не отдавал, когда потеряно было на

улице? А ноги не было, чтобы привязать! Не к фонарному же столбу! Другие привязывали куда попало (и, о, ужас! Ася однажды, заторопясь, даже к козьей ножке биде!), у меня же было мое заветное место, заветное кресло... но не надо про кресло, ибо все предметы нашего трехпрудного дома – заводят далёко!

С водворением в доме парижанки Альфонсины Дижон «Черт-черт, поиграй» удлинился на целый католический вежливый отросток: «Saint-Antoine de Padoue, trouvez-moi ce que j'ai perdu»¹⁶⁹, что в контексте давало нечто нехорошее, ибо после третьего черта, без запятой и даже без глотательного движения, как припаянный: «Saint-Antoine de Padoue...» И *moi* вещи находил, конечно, Черт, а не Антоний. (Няня, с подозрением: «Анто-он? Свя-то-ой? На то и французинка, чтоб в такое дело святого мешать!») И до сих пор не произношу твоего святого, Антоний Падуанский, имени, без того, чтобы сразу в глазах: торчок бесовского платка, а в ушах – собственное, такое успокоительное, такое успокоенное – точно уже все нашла, что когда-либо еще потеряю! – воркование: «Черт-черт, поиграй да отдай, черт-черт...»

Одной вещи мне Черт никогда не отдал – меня.

Но не Валериины козни. Не материнский «Карбункул». Не Машин картеж. Не остзейская игра. Все это было толь-

¹⁶⁹ Святой Антоний Падуанский, отыщи мне то, что я потеряла (*фр.*).

ко – служба связей. С Чертом у меня была своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог – Черт!» Бог – с безмолвным молниеносным неизменным добавлением – Черт. И здесь уже Валерия была ни при чем – да и кто при чем? И в каких это – книгах и на каких это – картах? Это была – я, во мне, чей-то дар мне – в колыбель. «Бог – Черт, Бог – Черт, Бог – Черт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства и не можа остановиться, пока не остановится мысленный язык. «Дай, Господи, чтобы я не молилась: Бог – Черт», – и как с цепи сорвавшись, дорвавшись: «Бог – Черт! Бог – Черт! Бог – Черт!» – и, обратно, шестым номером Ганона: «Черт – Бог! Черт – Бог! Черт – Бог!» – по ледяной клавиатуре собственного спинного хребта и страха.

Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели – чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Черт, Черт, который врезался в «Бог», конечное z (x) которого уже было – $ч$. (О, если бы я тогда догадалась, вместо кощунственного «Бог – Черт» – «Дог – Черт», от скольких бесполезных терзаний я была бы избавлена!) О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская!

А – может быть – проще, может быть, отрожденная поэтова сопоставительная – противопоставительная – страсть – и склад, та же игра, в которую я в детстве так любила играть:

черного и белого не покупайте, да и нет не говорите, только наоборот: только да – нет, черное – белое, я – все, Бог – Черт.

Когда я, одиннадцати лет, в Лозанне, на своей первой и единственной настоящей исповеди рассказала об этом католическому священнику – невидимому и так потом и не увиденному – он, верней тот, за черной решеткой, те черные глаза из-за черной решетки сказали мне:

– Mais, petite Slave, c'est une des plus banales tentations du Démon!¹⁷⁰ – забывая, что ему-то, тертому и матерому, – «banale»¹⁷¹, а мне – какво?

Но до этой первой исповеди – в чужой церкви, в чужой стране, на чужом языке – была первая православная, честь честью, семилетняя, в московской университетской церкви, у знакомого священника отца, «профессора академии».

«А этот рубль ты после исповеди отдашь батюшке...» У меня в жизни в руке не было рубля, ни своего, ни чужого, а если на бедную медную одну копейку дают у Бухтеева два ириса, то сколько же на серебряный рубль? И не только ирисов, а книжек, вроде «Аксютка-нянька» или «Маленький барабанщик» (2 коп.). И это всё, и ирисы и Аксютки, я, за свою же неприятность с грехами, с утайкой грехов – ибо не могу же я рассказывать папиному приличному знакомому и заведомо расположенному ко мне ака-де-ми-ку, что я говорю

¹⁷⁰ Но, маленькая славянка, это же одно из самых обычных искушений дьявола! (фр.).

¹⁷¹ Обычное (фр.).

«Бог – Черт»? И что хожу к Валерии в комнату на свидание к голому догу? И что, когда-нибудь, на этом голом доге – том главном утопленнике – женюсь? – итак, за свою же смертную опасность, а может быть, даже – смерть («одна девочка на исповеди утаила грех и на другой день, когда подходила к причастию, упала мертвая...»), должна отдать – сразу все, сама положить в руку «ака-де-ми-ку»?!

Холодный новый круглый, как нуль – полный, рубль как зубами врезался отточенным своим краем в руку, сжатую для верности в кулак, и я всю исповедь как ногами простояла на одном – не дам! И дала только в последнюю секунду, совсем уже уйдя, с величайшим усилием и насилием, и вовсе не потому что – плохо, а из страха: а вдруг батюшка погонится за мной через всю церковь? Нечего говорить, что мне, занятой рублем, и в голову не пришло осведомить батюшку о моих черных, серых делах. Батюшка спрашивал – я отвечала. А откуда ему было знать, что *такое* нужно спросить: «Не говоришь ли ты, например, Бог – Черт?»

Этого не спросил, спросил – другое. Первым его вопросом, первым вопросом моей исповеди было: «Ты чертыхаешься?» Не поняв и сильно уязвленная в своем самолюбии признанно умной девочки, я, не без заносчивости: «Да, всегда». – «Ай-ай-ай, как стыдно! – сказал батюшка, соболезнующе качая головой. – А еще дочь таких хороших богобоязненных родителей. Ведь это только мальчишки – на улице...»

Слегка обеспокоенная взятым на себя неизвестным грехом, а отчасти из любопытства: что это я такое *всегда* делаю? – я, несколько дней спустя, матери: «Мама, что такое чертыхаться?» – «Черты – что?» – спросила мать. «Чертыхаться». – «Не знаю, – задумалась мать, – может быть – поминать черта? И вообще, откуда ты это взяла?» – «Так мальчишки на улице ругаются».

Вторым же вопросом батюшки, еще более, хотя иначе меня удивившим, было: «С мальчишками целуешься?» – «Да. Не особенно». – «С которыми же?» – «С Володей Цветаевым и с андреевским Борей». – «А мама позволяет?» – «С Володей – да, а с Борей – нет, потому что он ходит в Комиссаровское училище, а там, вообще, скарлатина». – «Ну и не надо целоваться, раз мама не позволяет. А какой же это Цветаев Володя?» – «Это сын дяди Мити. Но только я с ним очень редко целуюсь. Раз. Потому что он живет в Варшаве».

(О, Володя Цветаев, в красной шелковой рубашечке! С такой же большой головой, как у меня, но ею не попрекаемый! Володя, все свое трехдневное пребывание непрерывно раскатывавшийся от передней к зеркалу – точно никогда паркета не видал! Володя, вместо «собор» говоривший «Успенский забор» – и *меня* поправлявший! Володя, заявивший обожавшей его матери, что я, когда приеду к нему в Варшаву, буду жить в *его* комнате и спать в *его* кровати.

– Но при чем тут черт? Ах, все такое – черт: тайный жар.)
Своего не предав и все главное утаив, я, естественно, на

другой день без радости – и не без робости – подходила к причастию, ибо слово матери и соответствующее видение: «Одна девочка на исповеди утаила грех» и т.д. – все еще стояли у меня в глазах и в ушах. До глубины я, конечно, в такую смерть не верила, ибо умирают от диабета, и от слепой кишки, и еще, раз, в Тарусе, мужик – от молнии, и если гречневая каша – хоть бы одна гречинка! – вместо *этого* горла попадет в то, и если наступить на гадюку... – от *такого* умирают, а не...

Поэтому, не упав, не удивилась, а запив теплотой, в полной сохранности отошла к своим – и потом меня все поздравляли – и мать поздравляли «с причастницей». Если бы знали и если бы мать знала – с какой. Радости поздравлениям, как и белому платью, как и пирожкам от Бартельса – из-за полной всего этого незаслуженности – не было. Но и раскаяния не было. Было – одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной. То же одиночество, как во время бесконечных обеден в холодильнике храма Христа Спасителя, когда я, запрокинув голову в купол на страшного Бога, явственно и двойственно чувствовала и видела себя – уже отделяющейся от блистательного пола, уже пролетающей – гребя, как собаки плавают – над самыми головами молящихся и даже их – ногами, руками – задевая – и дальше, выше – стойком теперь! как рыбы плавают! – и вот уже в розовой цветочной юбочке балерины – под самым куполом – порхаю. – Чудо! Чудо! – кричит народ. Я же улыбаясь – как те

барышни в Спящей Красавице – в полном сознании своего превосходства и недостижимости – ведь даже городской Игнатьев не достанет! ведь даже университетский педель не заберет! – одна – из всех, одна – над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой розовой юбочке – порхаю.

Что, мне об этом тоже нужно было рассказывать «академику»?

Есть одно: его часто – нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти и даже смерти: *такт*. Пугать батюшку чертом, смешить догом и огорошивать балериной было не-прилично. неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть *как все*.

Другая же половина такта – жалость. Не знаю почему, но, вопреки их страшности, священники мне всегда казались немножко – дети. Так же, как и дедушки. Как детям (или дедушке) рассказывать – гадости? Или страшности?

Кроме того, как мне было рассказывать о *нем*, говорить о нем *он*, когда для меня он был *то* и *ты*. Говорить о нем *черт*, когда для меня он был Мышатый: *ты*, имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслух, а только в постели или на поляне, шепотом: «Мышатый!» Звук слова «Мышатый» был сам шепот моей любви к нему. *Не*-шепотом это слово не существовало. Звательный падеж любви, других падежей не имеющей.

Ведь если я о тебе сейчас пишу *он*, то ведь это потому

что я о тебе пишу, не тебе! В этом вся ложь любовного рассказа. Любовь неизменно второе лицо, растворяющее – даже первое. Он есть объективизация любимого, то, чего нет. Ибо никакого он мы никогда не любим и не любили бы; только ты, – восклицательный вздох!

И – внезапное прозрение – по-настоящему, до дна души исповедоваться – во всем тебе во мне (для ясности: во всем «грехе» твоего присутствия во мне) – во *всей* мне – я бы могла – только тебе!

...Не тьма – зло, а тьма – ночь. Тьма – все. Тьма – тьма. В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Что это – *моя родная* тьма!

* * *

Нет, со священниками (да и с академиками!) у меня никогда не вышло. С православными священниками, золотыми и серебряными, холодными как лед распятия – *наконец* подносимого к губам. Первый такой страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого, кстати, учился Бальмонт) – очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках – в которые я так и не пошла.

– Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу – копошение серебра в ладони, переливание се-

ребра из руки в руку, из руки в бумажку: столько-то батюшке, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то просви́рне... Не надо бы – при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям *серебряного* времени, про тридцать серебряников. Звон серебра сливался со звоном кадила, лед его с льдом парчи и распятия, облако ладана с облаком внутреннего недомогания, и все это тяжело ползло к потолку белой, с изморозными обоями, залы, на непонятно-жутких повелительных возгласах:

– Благослови, Владыко!

– О-о-о...

Все было – о, и зала – о, и потолок – о, и ладан – о, и кадило – о. И когда уходили священники, ничего от них не оставалось, кроме последнего, в филодендронах, о – ладана.

Эти воскресные службы для меня были – вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».

– Барыня, покойники пришли, – прикажете принять?

Посредине черный гроб,

И гласит протяжно поп:

Буди взят моги-илой!

Вот этот-то черный гроб стоял у меня в детстве за каждым священником, тихо, из-за парчовой спины, глазел и грозил. Где священник – там гроб. Раз священник – так гроб.

Да и теперь, тридцать с лишним лет спустя, за каждым служащим священником я неизменно вижу покойника: за

стоящим – лежащего. И – только за православным. Каждая православная служба, кроме единственной – пасхальной, *вопнящей* о воскресении и с высоты разверстых небес отрясающей всякий прах, каждая православная служба для меня – отпевание.

Что бы ни делал священник, мне все кажется, что священник над *ним* наклоняется, *ему* кадит, изо всех сил уговаривает и даже – заговаривает: «Лежи, лежи, а я тебе попою...» Или: «Ну, лежи, лежи, чего уж тут...» Заклинает.

Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают. *Они*, так пышно и много одетые, казались мне не-нашими¹⁷², а не тот, скромно– и серо-голый, даже бедный бы, если бы не осанка, на краю Валерииной кровати.

От священников – серебряной горы спины священника – только затем горы, чтобы *скрыть*, мне и Бог казался страшным: священником, только еще страшней, серебряной горой: Араратом. И три барана детской скороговорки – «На горе Арарат три барана орали» – конечно, орали от страха, оттого, что остались одни с Богом.

Бог для меня был – страх.

Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила. Ничего, кроме тоскливого желания: когда же кончится? и безнадежного сознания: никогда. Это было еще

¹⁷² Народное наименование черта (*примеч. М. Цветаевой*).

хуже симфонических концертов в Большом зале Консерватории.

* * *

Бог был – чужой, Черт – родной. Бог был – холод. Черт – жар. И никто из них не был добр. И никто – зол. Только одного я любила, другого – нет: одного знала, а другого – нет. Один меня любил и знал, а другой – нет. Одного мне – тасканьями в церковь, стояньями в церкви, паникадиллом, от сна в глазах двоящимся: расходящимся и вновь сходящимся – Ааронами и фараонами – и всей славянской невнятицей, – навязывали, одного меня – *заставляли*, а другой – сам, и никто не знал.

* * *

Но ангелов я – любила: одного, голубого, на жарко-золотой, прямо – горячей бумаге, прямо – трещавшей от сдерживаемого огня. Жаркой еще и от моих постоянных, всегда вскипавших и так редко перекипавших, обратно – вкипавших, одиноко выкипавших слез на печном румянце щек. И еще одного, земляничного, тоже немецкого, с раскрашенной картинки к немецкому стихотворению «Der Engel und der

Grobian»¹⁷³. (Помню слово: «im rothen Erdbeerguss» – в красном земляничном потоке...)

Один мальчик собирал на полянке землянику. Вдруг видит – перед ним стоит другой мальчик, только большой и весь в белом и с длинными кудрями, как у девочки, а на кудрях – золотой круг. «Здравствуй, мальчик, дай и мне земляники!» – «Вот еще выдумал! – первый, с четверенек и даже не сняв шапки („rückt auch sein Käpplein nicht“¹⁷⁴, – сам собирай, и вообще убирайся – это моя полянка!» И опять – носом в корм. И вдруг – шум. Так лес не шумит. Подымает глаза: а мальчик уже над полянкой... «Милый ангел! – кричит невежа, срывая с себя колпачок, – вернись! Вернись! Возьми все мои ягоды!» Но – поздно. Вот край его белой одежды уже над березами, вот уже выше – уж и самой высокой березе рукой не достать, самой длинной из своих рук... Обжора, упав лицом в злосчастную землянику – плачет, и плачу с ним – сама земляничная обжора и невежа – я.

Много я с тех пор видала земляничных полянок и ни одной, чтобы за краем непременно березы не увидеть того безвозвратного края одежды, и немало раз, с тех пор, землянику – ела, и ни одной ягоды в рот не клала без сжатия сердца. Даже слово Grobian для меня навсегда осталось ангельским. И никакие Адам и Ева с яблоком и даже со змеем так во мне добра не предрешили, как мальчик – с другим

¹⁷³ «Ангел и грубиян» (нем.).

¹⁷⁴ И даже шапочки не снял (нем.).

мальчиком, поменьший с побольшим, гадкий – с хорошим, земляничный – с заоблачным. И если я потом, всю жизнь, столько «Grobian'«ов – на полянках и в комнатах – видела ангелами, демонами, небожителями, то, может быть, от раз навсегда меня тогда ожегшего страха: небесного не принять за земного.

Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потом нескончаемо-черными, – так поздно – красными! так рано – черными! – мать и Валерия, летом – Окою, осенью большой дорогой, сначала березовой, потом *большою*, в два голоса – пели. Эти две враждующих природы сходились только в пении, не они сходились – их голоса: негромкое, смущающееся быть большим контральто матери с превышающим собственными возможностями Валерииным сопрано.

Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiss,
Als wie heimliche Liebe
Von der niemand was weiss...¹⁷⁵

От этих слов: Feuer – Kohle – heiss – heimlich – (огонь – уголь – жарко – тайно) – у меня по-настоящему начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли – горлом глотаю.

¹⁷⁵ Ни пламя, ни угли Не жгут горячей, Чем тайная страсть, Что храню от людей.
(Пер. с нем. А. Парина).

Keine Rose, keine Nelke
Kann blühen so schön,
Als wenn zwei verliebte Seelen
Zu einander thun stehn¹⁷⁶.

Тут-то меня и сглазили: verliebte Seelen! Ну, что бы – Herzen! И было бы все, как у всех. Но нет, что в младенчестве усвоено – усвоено раз навсегда: verliebte – значит Seelen. А Seelen это ведь See (остзейская «die See» – море!) и еще – sehen (видеть), и еще – sich sehnen (томиться, тосковать), и еще – Sehnen (жилы). Из жил томиться по какому-то морю, которого не видал, – вот душа и вот любовь. И никакие Rosen и Nelken не помогут!

Когда же песня доходила до:

Setze Du mir einen Spiegel
Ins Herze hinein...¹⁷⁷

– я физически чувствовала входящее мне в грудь Валерино зеленое венецианское зеркало в венце зубчатого хрустала – с постепенностью зубцов: setze Herze – и бездонным серединным, от плеча до плеча заливающим и занимающим меня зеркальным овалом: Spiegel.

¹⁷⁶ Ни гвоздика, ни роза
Не столь хороши,
Как льнущие друг к другу
Две любящих души. (Пер. с нем. А. Парина).

¹⁷⁷ Вставь мне зеркало
В сердце... (нем.).

Кого держала мать в *своем* зеркале? Кого – Валерия? (Одно лето, моих четырех лет, – одного: того, кому в четыре руки – играли и в четыре же руки – вышивали, кому и о ком в два голоса – пели...) *Я?* – знаю кого.

...Damit Du konnest sehen.
Wie so treu ich es mein,¹⁷⁸

– пояснительно тянули и дважды повторяли певицы. Пяти лет я не знала *meinen* (мнить, глагол), но *mein* – мой – знала, и кто *мой* – тоже знала, и еще *Meun* (Мейн) знала – дедушку Александра Данилыча. От этой включенности в песню дедушка невольно включался в тайну: мне вдруг начинало казаться, что дедушка – *тоже*.

С уходом Августы Ивановны (это она занесла в дом песню) – то есть с концом младенчества, семилетием, кончился и Черт. Зрительно кончился, на Валерииной постели – кончился. Но никогда я, до самого моего отъезда из Трехпрудного – замуж, не входила в Валериину комнату без быстрого и косвенного, как тот луч, взгляда на кровать: там?

(Дом давно-о снесен, от кровати и ножек нет, а тот все сидит!)

А вот еще одна встреча, так сказать, заскочившая за младенчество: жалко ему было с такой девочкой расставаться!

Мне было девять лет, у меня было воспаление легких, и

¹⁷⁸ Чтобы ты могла видеть, Как искренно мое чувство (нем.).

была Вербя.

«Что тебе принести, Муся, с Вербы?» – мать, уже одетая к выходу, в неровном обрамлении – новой гимназической шинелью еще удлинненного Андрюши и – моей прошлогодней, ей – до полу, шубой – еще умаленной Аси. «Черта в бутылке!» – вдруг, со стремительностью черта из бутылки вылетело из меня. «Черта? – удивилась мать, – а не книжку? Там ведь тоже продаются, целые лотки. За десять копеек можно целых пять книжек, про Севастопольскую оборону, например, или Петра Великого. Ты – подумай». – «Нет, все-таки... черта...» – совсем тихо, с трудом и стыдом прохрипела я. – «Ну, черта – так черта». – «И мне черта!» – ухватила моя вечная подражательница Ася. – «Нет, тебе *не* черта!» – тихо и грозно возразила я. «Ма-ама! Она говорит, что мне не черта!» – «Ну, конечно – *не*... – сказала мать. – Во-первых, Муся – раньше сказала, во-вторых, зачем дважды одну и ту же вещь, да еще такую глупость? И он все равно лопнет». – «Но я не хочу книжку про Петра Великого! – уже визжала Ася. – Он тоже разорвется!» – «И мне, мама, пожалуйста, не книжку! – заволновался Андрюша, – у меня уже есть про Петра Великого, и про все...» – «Не книжку, мама, да? Мама, а?» – клещом въедалась Ася. – «Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо: *не* книжку. Мусе – не-книжку. Асе – не-книжку, Андрюше – не-книжку. Все хороши!» – «А тогда мне, мама, что? А мне тогда, мама, что?» – уже дятлом надалбливала Ася, не давая мне услышать ответа. Но мне было все равно

– ей что, *мне* было – *то*.

– Ну вот тебе, Муся, и твой чертик. Только сначала сменим компресс.

Укомпрессованная до бездыханности – но дыхания всегда хватит на любовь – лежу с ним на груди. Он, конечно, крохотный, и скорей смешной, и не серый, а черный, и совсем не похож на *того*, но все-таки – имя – одно? (в делах любви, я это потом проверила, важно *сознание* и *название*.)

Сжимаю тридцатидевятиградусной рукой круглый низ бутылки, и скачет! скачет!

– Только не клади его с собой спать. Заснешь и раздавишь. Как только почувствуешь, что засыпаешь – положи возле, на стул.

«Как только почувствуешь, что засыпаешь!» – легко сказать, когда я весь день только и чувствую, что – засыпаю, просто – весь день сплю, сплю, с многими и буйными видениями и громкими радостными воплями: «Мама! Король напился!» – тот самый король над моей кроватью – «Он в темной короне, с густой бородой» – а у меня еще и с кубком в руке – которого я звала Лесной Царь, а который по-настоящему, я потом догадалась, был *der König im Thule – gar treu bis an sein Grab – dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher*¹⁷⁹. И этот король с кубком – *всегда* в руке, *никогда* у рта, этот король, который никогда не пьет – вдруг – напился!

¹⁷⁹ Король жил в Фуле дальней, И кубок золотой Хранил он, дар прощальный, Возлюбленной одной. (Пер. с нем. Б. Пастернака).

– Какой у тебя даже бред странный! – говорила мать. – Король – напился! Разве это бред девятилетней девочки? Разве короли – напиваются? И кто, вообще, когда при тебе напивался? И что значит – напился? Вот что значит потихоньку читать фельетоны в «Курьере» про всякие пиры и вечеринки! – забывая, что она сама же живописала этого августейшего бражника на полотне и поместила его в первом поле моего утреннего зрения и сознания.

Однажды, застав меня все с тем же чертом в уже остывающем кулаке, мать сказала: «Почему ты меня никогда не спросишь, почему черт – скачет? Ведь это интересно?» – «Да-да-а», – неубежденно протянула я. «Ведь это *очень* интересно, – внушала мать, – нажимаешь низ трубки и, вдруг – скачет. Почему он скачет?» – «Я не знаю». – «Ну, вот видишь, в тебе – я уже давно вижу – нет ни искры любознательности, тебе совершенно все равно, почему: солнце – всходит, месяц – убывает, черт, например – скачет... А?» – «Да», – тихо ответила я. «Значит, ты сама признаешь, что тебе все равно? А все равно – быть не должно. Солнце всходит, потому что земля перевернулась, месяц убавляется, потому что – и так далее, а черт в склянке скачет, потому что в склянке – спирт». – «О, мама! – вдруг громко и радостно завывла я. – Черт – спирт. Это ведь, мама, рифма?» – «Нет, – совсем уже огорченно сказала мать, – рифма, это черт – торт, а спирт... погоди-ка, погоди, на спирт, кажется, нет...» – «А на бутылку? – спросила я с живейшей любознательностью. – Копилка

– да? А еще – можно? Потому что у меня *еще* есть: по затылку, Мурзилка...» – «Мурзилка – нельзя, – сказала мать, – Мурзилка – собственное имя, да еще комическое... Так ты понимаешь, почему черт скачет? В бутылке – спирт, когда он в руке нагревается – он расширяется». – «Да, – быстро согласилась я, – а нагревается – расширяется – тоже рифма?» – «Тоже, – ответила мать. – Так скажи мне теперь, почему черт скачет?» – «Потому что он расширяется». – «Что?» – «То есть наоборот – нагревается». – «Кто, кто нагревается?» – «Черт. – И, видя темнеющее лицо матери: – То есть наоборот – спирт».

Вечером, когда мать пришла прощаться, я, со сдержанным торжеством:

– Мама! А на спирт все-таки есть рифма, только ничего, что по-немецки?

Droben bringt man sie zum Grabe,
Die sich freuten in dem Thal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe,
Dir auch singt man dort einmal.¹⁸⁰

«Христос – воскрес, а черт взял да и лопнул! – торжествуя сказала Асина няня, Александра Мухина, стоя пасхальным утром над моей кроватью. – Давай, давай осколки!» – «Неправда! – орала я, сжимая в кулаке драгоценные останки

¹⁸⁰ На горах легли в могилы, Кто резвился по лугам. Пастушонок, отрок милый, И тебя оплачут там. (Пер. с нем. А. Парина).

и бия ногами в туго натянутый свод одеяла. – Он лопнул совсем не потому, что Христос воскрес, а потому, что я на него легла... Я его просто заспала, как на суде Соломона». – «Вот Бог, значит, и наказал, что с такой нечистой спишь». – «Ты сама нечисть! – орала я, пробившись наконец ногами сквозь одеяло и – ими помогая. – Тебя самое Бог накажет за то, что ты радуешься несчастью ближнего!» – «Уж и несчастье! – презрительно фыркнула нянька. – Черт лопнул! Когда дядя родной, Федя, помер, небось не плакала, а тут из-за черта паршивого, прости Господи!» – «Врешь! врешь! врешь! – орала я, уже встав и, как он, скача. – Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это ты сейчас будешь плакать, когда я в тебя... (и, ничего не найдя вокруг, кроме градусника)... когда я тебя своими руками разорву, чертовка окаянная!»

«Что-о? – спросила входящая мать. – Это что такое? Что тут за представление?» – «Да ничего, барыня, – с лицемерным смирением сказала няня, – это Мусенька в Светлое Христово Воскресение чертом ругается, да-а-а...» – «Мама! У меня лопнул черт, а она говорит, что это Бог!» – «Что?» – «Что это Бог меня наказал за то, что я его больше любила, чем дядю Федю». – «Какие глупости! – неожиданно повернула мать. – Разве можно сравнивать? Няня, ступай на кухню. Но чертом ругаться в первый день Пасхи, да и вообще... Ведь сегодня же – Христос воскрес!» – «Да, а она сказала, что он потому и лопнул». – «Глупости! – отрезала мать. – Простое совпадение. Он лопнул потому, что нужно же ко-

гда-нибудь лопнуть. Но и ты хороша – связываться с неграмотной женщиной. А еще в подготовительном классе казенной гимназии... Но главное – что ты могла себя поранить. Где он?» Молча, чтобы не заплакать, разжимаю руку. «Но ведь тут ничего нет? – мать, внимательно всматриваясь. – Где же он сам?» Я, давась от слез: «Не знаю. Я его так и не нашла. Он куда-то совсем выскочил!»

Да, черт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту.

* * *

– Вот видишь, – говорила мать, сидя над моими тихими слезами, – никогда не нужно привязываться к такой вещи, которая может лопнуть. А они – все лопаются! Помнишь заповедь: «Не сотвори себе кумира»?

– Мама, – сказала я, отряхываясь от слез, как собака от воды. – А какая рифма на «кумира»? Тамара?

* * *

Милый серый дог моего детства – Мышатый! Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и «отец лжи», то меня ты научил – правде сущности и прямоте спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня в хребте, – живая

линия твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не знала, что он – есть.

Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою: *le divin orgueil*¹⁸¹ – словом и делом его.

Тебе, кроме столького, я еще обязана бесстрашием своего подхода к собакам (да, да, и к самым кровокипящим догам!) и к людям, ибо после тебя – каких еще собак и людей бояться?

Тебе я обязана (так Марк Аврелий начинает свою книгу) своим первым сознанием возвеличенности и избранности, ибо к девочкам из нашего флигеля ты *не* ходил.

Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди, после которого – все уже было преступлено.

Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разедавая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня по-этом, а не любимой женщиной.

Это ты, когда я со взрослыми играла в карты и кто-то, нечаянно и неизменно, загребал мой выигрыш, вгонял мне обратно в глаза – слезы, в глотку – слово: «А ставка была – моя».

Это ты оберег меня от всякой общности – вплоть до газет-

¹⁸¹ Божественной гордыней (*фр.*).

ного сотрудничества, – нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык: «Берегитесь! Кусается!»

И не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, ко всем *causes perdues*¹⁸² – последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов.

Это ты – на всю свою непреклонность превышая распластаный в сдаче город – последним всходишь на сходни последнего корабля.

Бог не может о тебе низко думать – ты же когда-то был его любимым ангелом! И те, видящие тебя в виде мухи, Мушиным князем, мириадам мух – сами мухи, дальше носу *не* видящие.

И мух вижу, и нос вижу: твой длинный серый баронский замшевый догов нос, брезгливо и огрызливо наморщенный на мух – мириады мух.

Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим *богом*.

* * *

Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога:

Jusqu'a la mort nous Te serons fidèles,
Jusqu'a la mort Tu seras notre Roi,

¹⁸² Поверженным (*фр.*).

Sous Ton drapeau, Jesus, Tu nous appelles,
Nous y mourrons en combattant Pour Toi...¹⁸³ —

ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место – другому. «Ну, попробуй – кротостью...» Ты никогда не снизошел до борьбы за меня (и за что бы ни было!), ибо все твое богоборчество – бой за одиночество, которое одно и есть власть.

Ты – автор моего жизненного девиза и могильной надписи:

Ne daigne!¹⁸⁴ —

чего? Всего: ничего не daigne – да хотя бы – снизойти до здесь-лежащего праха.

И когда мне, на всей моей одиннадцатилетней жизни грехи, из черной дыры чужих глаз и чужой исповедальни было сказано:

Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l'enfonce encore plus profondément. Un noble coeur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement. Soyez le sculpteur de

¹⁸³ До смерти мы верны Тебе сердцами, До смерти Ты для нас господь и царь, Ты призываешь под святое знамя — Погибнем, охраняя Твой алтарь... (Пер. с фр. А. Парина).

¹⁸⁴ Не снисхожу (фр.).

Чьи это слова?

* * *

Тебе я обязана зачарованным, всюду со мной передвигающимся, из-под ног рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыханием растяжимым, *всё* вмещающим и *всех* исключаяющим кругом своего одиночества.

И если ты когда-то в виде серой собачьей няни снизошел до меня, маленькой девочки, то только затем, чтобы она потом всю жизнь сумела одна: без нянь и без Вань.

* * *

Грозный дог моего детства – Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость – голод, здоровье – болезнь: все то же равнодушие – все виды страсти, все та же сытость – все виды голода, все то же здоровье – все виды болезни, все то же благополучие – все

¹⁸⁵ Прекрасная глыба мрамора лежит, вдавленная в мостовую. Человек заурядный проходит поверху и вдавливают ее еще глубже. Благородное сердце извлекает глыбу из земли, очищает ее и создает изваяние, которое живет вечно. Будьте ваятелем собственной души, маленькая Славянка... (*фр.*)

виды беды.

Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца – священник. Тобой не благословляются бои и бойни. *Ты* в присутственных местах – *не* присутствуешь.

Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, – там, где право – тебя нет, там, где много – тебя нет.

Нет тебя и на пресловутых «черных мессах», этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости – любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь – одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.

Тобой, который есть – зло, общество *не* злоупотребило.

Ванв, 19 июня 1935

Повесть о Сонечке

Часть первая Павлик и Юра

*Elle était pâle – et pourtant rose,
Petite – avec de grands cheveux...*¹⁸⁶

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было – обратное бледности, а все-таки она была – *pourtant rose*, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918 г. —1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась: – Юрию и Вере З., их дружбе – моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий – моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из

¹⁸⁶ Она была бледной – и все-таки розовой, Малюткой – с пышными волосами (фр.).

встречного видения, особенно – рот, от природы – презрительный, углами вниз, и глаза – обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли – меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей – оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера – корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история – с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,

В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась – с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,
Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет – сорвался и умолк...

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший – странный – непокорный, —
Тот голос памятный: – Ужо Тебе!

– Да что же это, да чье же это такое, наконец?

– Автору – семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ – Павлик А.

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ – поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся. От поражения отыгрывающийся – стихами. Пахнуло Пушкиным: *теми* дружбами. И сверху – ответом:

– Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро – новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
Твои глаза...

– А этот – из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик – он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма – разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только – черноглазый: Пушкин – легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы – так, что мы – внутренно – звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке – не знаю сколько, мы оба вышли – тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел – и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: – Павлик, как Вы думаете – можно назвать – то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Павлик, еще более робко: – Это называется – сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. – «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы выскакивают, а вместо барышни – я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» – привел. – А вот это, Марина, мой друг – Юра З. – с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза – на это ушло много времени, ибо Юра не кончался – я обнаружила Верины глаза и рот.

– Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы – брат... У вас не может не быть сестры Веры!

– Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас – вместе и нас порознь – своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был – глубокая ночь, которая была – раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —
С братом – брат, с другом – друг.
Вместе, на одной постели...

Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,
Полюбила их навеки,
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!
Лучше буду, лучше буду
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась – Метель.

Чтобы сдержать свое слово – не разводите *этих* рук – мне нужно было свести в своей любви – другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что

Юрий плюс Павлик были уже данное, – мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле – усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает – дела не меняло.)

Отношение с самого начала – стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе – и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: – Вы? – Я. – А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам *без* Павлика? – Когда? – Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка – уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени – еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное – не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я – даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была – он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуточку прощания, когда я, проведив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, – да

ничего, только взгляд: – да? – нет – может быть да? – пока еще – нет – и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя – нелегкого торжества. (Еще одна такая победа – и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же – оказался, то я и одарила его Павлика – в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне – для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы – бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были – студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех – бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше – для актера – когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» – та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен – лицом: 1917 г. – Павлик А.,

зима 1918 г. – Юрий З., весна 1919 г. – Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность – моя последняя, посмертная верность.)

Итак – та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запыхало лицо, но – так, что я боялась – волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала – могу сказать – в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом – как пьют! – но и как поют! – самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат

Высокая луна.

Ты – женщина, ты ничего не помнишь,

Не помнишь...

(настойчиво)

не должна.

Странице – сон.

Страннику – путь.

Помни! – Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бенцов.)

Когда я кончила – все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я – замолчала. – Великолепно. – Необычайно. – Гениально. – Театрально – т. д. – Юра будет играть Господина. – А Лиля Ш. – старуху. – А Юра С. – купца. – А музыку – те самые безвозвратные колокольчики – напишет Юра Н. Вот только – кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: – *Ты* – не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги короткие.)

(Я, молча: – Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив – заблагодарили. – За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец – он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: – Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе – моя любовь?*

– А это, Марина, – низкий торжественный голос Павлика, – Софья Евгеньевна Голлидэй, – совершенно так же, как год назад: – А это, Марина, мой друг – Юра З. Только на месте *мой друг* – что-то – проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною – живой пожар. Горит все, горит – вся. Го-

рят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят – точно от пламени выются! – косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

– Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это – было, теперь я знаю, что это – есть. Потому что это – правда – было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха – сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом – отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми – дальше нельзя! – глазами – спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня – нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась – действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно – вышли. Сцена была – наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

– О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно

полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно – я сама вас так полюбила сразу.

– А он *не* полюбил.

– Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю – за то, что не любит вас – на коленях.

– Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

– Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

– Значит, внутри пылало, а я боялась – всю сцену – весь театр – всю Москву сожгу. Я тогда думала – из-за него, что ему – его – себя, себя к нему – читаю – перед всеми – в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало. Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка – мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь – до последнего нецвета.

Пылание ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бес-
сменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

– Сонечка, откуда при вашей безумной жизни – не спите, не едите, плачете, любите – у вас этот румянец?

– О, Марина! Да ведь это же – из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпитафия:

Elle etait pâle – et pourtant rose...¹⁸⁷

То есть бледной – от всей беды – она бы быть должна была, но, собрав последние силы – нет! – пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица – даже самые молодые – цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, – да, конечно, это был – порт, и она – фонарь, а все мы – тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) – пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avail le rire si près des larmes et les larmes si près du rire – quoique je ne me souviens pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux etaient trop chauds pour les laisser couler,

¹⁸⁷ Она была бледной – и все-таки розовой... (фр.).

qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts a pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire – des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur – et non de l'humidite, puisqu'avec toute sa bonne volonté – mauvaise volonté des autres – elle ne parvenait pas a en laisser couler une seule.

Et pourtant – si!

Belles, belles, telles des raisins egrenés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer – on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer a chaudes larmes»? Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes, et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber – roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, saées comme la mer. ...On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Ее смех был так близок к слезам – а слезы так близки к смеху, – хотя я не помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, излучение тепла, а не влажности, ибо при всем своем желании (нежелании – других), ей не удавалось пролить ни единой слезинки. И все же – !Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее, плачущей, хотелось смеяться – от наслаждения! Это и есть, вероятно – «плакать жаркими слезами»? Значит, я видела человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех прочих – у меня, у остальных – они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так был силен жар ее щек, что они

А вот, что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

– Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'etaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'etait un brun ardent et veloute qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibirie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variete de rose tremière presque noire qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visite les forges a minuit, vous avez du remarquer la lueur etrange que projette une plaque d'acier chauffee au rouge brun: voila tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle a le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de vorte espalier¹⁸⁹.

казались розовыми. Горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море. Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски (*фр.*).

¹⁸⁹ Эдмон Абу... в «Горном короле»:– Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего же спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и некоторых садовых цветах.

Понятен теперь возглас Павлика?

Знай, что готов я на любой костер взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть —
Твои глаза...

Мое же, скромное:

Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с — на дне — янтарем: *не* балтийским: восточным: красным. Почти черные, с — на дне — красным золотом, которое временами всплывало: янтарь — растапливался: глаза с — на дне — топленным, потопленным янтарем.

Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было ресниц, казалось — они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно: даже когда они плакали — эти глаза смеялись. Поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва — тем слезам — не поверила. Поверила я одна.

Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, на мои бьющие по всем площадям восторги, отзывались... сдержанно, да и

Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, хотя и не передают точно, чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали и кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге; но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал — это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем саду (*фр.*).

сдержанно-то – из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение.

– Да, очень талантливая... Да, но знаете, актриса только на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит – не играет вовсе. Она – просто живет. Ведь Сонечка в комнате – и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

Выходит маленькая, в белом платье, с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает: – Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью пришила... А мне стыдно...

Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.

Сонечку знал весь город. На Сонечку – ходили. Ходили – на Сонечку. – «А вы видали? такая маленькая, в белом платье, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

Белые Ночи были – событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История Лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая – как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту – на се-

бя и жилище. Посреди огромного сарая – туфля. Одинокая, стоптанная. И вот – размахом ноги – через всю сцену. Навела красоту!

Но это – не Сонечка. Это к Сонечке – введение.

Второе? Мне кажется – что-то морское, что-то портовое, матросское, – может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

А третье – занавес раздвигается: стул. И за стулом, держа за спинку – Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке – или об Евгении Багратионовиче – так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя – концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков – вся и Сонечкина *игра*.

Думаю, что даже платице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, – шестнадцатилетнее, может быть?

– Ходил на спектакль Второй студии. Видал Вашу Сонечку...

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, – такая же *моя*, как мои серебряные кольца и браслеты – или передник с монистами – которых никому в голову не могло прийти у

меня оспаривать – за никому, кроме меня, не-нужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это станет живее, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было – никогда, к любимым вещам – всегда. Даже не как к любимой книге, а именно – как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще – моему, еще в том кургане – моему, у того цыгана – моему, кольцу так же мне радующемуся, как я – ему, так же за меня держащемуся, как я за него – самодержающемуся, неотъемлемому. Или уж – вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня – точно на Сонечку не могут разориться! – я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и *оне*) не понимают, что она – именно Сонечка, что иначе о ней – грубость, что ее нельзя – *не* ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая *не* общественный деятель) звать за глаза по фамилии – фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза – ее детским именем – признак близости и

нежности, не могущий задеть материнского чувства – даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее – как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне – Сонечка. С почтительным добавлением – ваша.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоящим здесь на ее внешности – во избежание недо-разумений:

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и ко-сами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но – только на поверхност-ный: ничего типичного, национального в этом личике не бы-ло – слишком тонка была работа лица: работа – мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины – так раковину работает океан – от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц – и ушко! – все было рез-ное, точеное – и одновременно льющееся – точно эту вещь *работали* и ею же – *играли*: не только Океан работал, но и волна – играла. *Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage etait plus perle et plus rose*¹⁹⁰.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит – весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее – апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперен-

¹⁹⁰ Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее (*фр.*).

ные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня – на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах – жалоба: – Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить – вас, Марина, не полюбить вас – на коленях – немислимо, несбыточно, просто (удивленные глаза) – глупо? Потому я к *вам* так долго и не шла, потому что *знала*, что вас так люблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас *уже* любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза – читать. А потом – о, какой нож в сердце! какой нож! – когда он к вам *последний* подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, – так что он совсем *в вас* говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь – мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть *вы*, Марина, и теперь я сама вижу, что он *не мог* вас любить, потому что – если бы мог вас любить – он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы – был, или не Антонием, а вообще святым...

– Юрием.

– Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал.

И ушел бы в Армию.

– Святым Георгием.

– Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьём, как на кремлевских воротах! Или просто бы *умер* от любви.

И по тому, как она произнесла это *умер* от любви, видно было, что она сама – от любви к нему – и ко мне – и ко *всему* – умирает; революция-не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики – все равно умрет от любви, потому что это ее призвание – и назначение.

– Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня *всегда* будете любить, потому что я *скоро* умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру, и потому, потому все так *безумно, безнадежно* люблю... Когда я говорю: Юра – вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... – Только вас, Марина, нет в других городах, а – их!.. – Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль – тот, кого вы могли бы любить? А может быть – сходит с корабля – у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос – все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За пять минут – все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию – конечно, не все эти широты и долготы и гра-

дусы (меридианы – любила), – имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! – и что на каждой точке этого земного шара – потому что шар только на вид такой маленький и точка только на вид – точка – тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем-самым ртом, тем-самым полным ртом, тем-самым полным *им* ртом! потому что и *это* правда, потому что *оба* – правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать – у меня чего-то не хватает, ну – как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю – ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. – Чему нас в школе учат??! – Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) – за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар – со всеми моими любимыми!

«...Ни кто – часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией – и вот, сквозь эту «талию» – тончайшей струечкой – песок – в пятиминутный

срок.

– Вот еще пять минуточек прошло... (Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, неожиданно!) – сейчас будет последняя, после-едняя! песчиночка! Все!

Так она играла – долго, нахмутив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я – в нее.) И вдруг – отчаянный вопль: – О, Марина! Я пропустила! Я – вдруг – глубоко – задумалась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что – представьте себе, что мы на острове, кто нам скажет, *откуда* нам знать?!

– А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? – Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шести цепей! Или – проще: с нами после кораблекрушения спасся – кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что «Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des chats»¹⁹¹. У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему и глаза и ответил: – Полдень.

– Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее – перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

– Вы *время* убили, Сонечка:

¹⁹¹ Китайцы узнают время по кошачьим глазам (*фр.*).

Который час? его спросили *здесь*,
А он ответил любопытным: – Вечность.

– О, как это чудесно! Что это? Кто этот *он* и это *правда*
– было?

– Он, это с ума шедший поэт Батюшков, и это, правда,
было.

– Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он
и сошел с ума – от таких глупых вопросов. Нашли себе часы!
Ему нужно говорить время, а не у него – спрашивать.

– Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели про-
верить.

– И опозорились, потому что это ответ – гения, чистого
духа. А вопрос – студента-медика. Дурака. (Поглаживая ука-
зательным пальчиком круглые бока стопочки.) Но, Марина,
представьте себе, что я была бы – Бог... нет, не так: что вме-
сто меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну,
задумался на секундочку – и – *кончено* время.

...Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы
хотела с ней спать...

Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшитель-
ное (*умалительное, умолительное, умилительное...*), вся
речь. Точно ее малenькoсть передалась ее речи. Были слова,
словца в ее словаре – может быть и актерские, актрисинские,
но, Боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например –

манерочка. «Как я люблю вашу Алю: у нее такие особенные манерочки...»

Манерочка (ведь шаг, *знак* до «машерочка»)! – нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой – старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом – актриса. А может быть институтка, гувернантка и потом – актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети...)

– Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка...

Манерочка... гримасочка... секундоочка... струечка... а сама была... девочка, которая ведь тоже – уменьшительное.

– Мой отец был скрипач, Марина. *Бедный* скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минутки от него не отходила, – он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. (Обманывает меня или нет – память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора – придворный? Английского? Русского? Потому что – я забыла сказать – Голлидэй есть английское Holliday – воскресенье, праздник.

Сонечка *Голлидэй*: это имя было к ней привязано – как бубенец!)

– Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры, и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые – настоящие леди. Это я – такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою – и делом заботилась. – Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были *хорошие* платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием восторга) – красавицы. Они высокие, Марина, стройные – это я одна такая маленькая. – И вы, такая маленькая, младшая, должны... – Именно потому, что такая маленькая. Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам – всегда – во всех сказках – много нужно. Не могут же они одеваться – как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платьице – в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала – сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) – голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских шляпах...

– Гляди, Алечка, видишь – эти две дамы. Это мои сестры. Правда, они – красавицы?

– Вы – лучше.

– Ах ты, дитя мое дорогое! Это тебе лучше, потому что ты меня любишь.

– Я потому вас люблю, что вы лучше всех.
Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки – иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь – я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались – сестры. Сестры – Золушки.

Мать помню как Сонечкину *заботу*. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее «Белые ночи». – Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я *никогда* не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще и *он*, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я – двоюсь, а меня – два, двое: даже в любви к Юре: я – я, и я – еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал – знаю (оттого и не жду ничего!) – мне смешно сказать: когда я – он, мне самой лень меня любить...

Только с Вами, Марина, я – я, и – еще я.

А верней всего, Марина, я – все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама – белая ночь...

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо

московского «плохо». – А это очень худо? – Что? – Говорить «худо», – и сама смеется. – Для вашего худа, Сонечка, одна рифма – чудо.

Кто и откуда,
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: – Кто и откуда? – уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.
Может, письмо Вам угодно оставить родным,
Может быть, локон угодно отрезать на память.
Все, что хотите – просите! Такой уж день:
Всё Вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом – *все*, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем *всю* любовь.

В этом – Розанэтта – имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились – все мужчины, изревновались к тебе – все жены, исстрадались по тебе – все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадях с ее жалобного, в первый приход ко мне, возгласа: – О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна», как с «Белыми Ночами», сразу – второй (тысячный) раз.) Как я бы вашу Даму в «Метели» – сыграла. Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу – *каждое* дыхание... Так, Марина, как я бы – ее *никто* не сыграет. Но я не могу – я такая маленькая...

Не ростом – не только ростом – мало ли маленьких! – и маленькость ее была самая обыкновенная – четырнадцатилетней девочки – ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой – *была*... А год был – Девятнадцатый. Сколько раз – и не стыжусь этого сказать – я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой – большого плавания... Но таких в Москве Девятнадцатого года – не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака – хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин – умер и что я за тридевять земель и двудевять лет – просто – вою?!)

...Ни малейшего женского кокетства. Задор – мальчишки (при предельно-женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство – *Iutin*¹⁹². Вся что немцы называют «*Einfall*»¹⁹³. (Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского не знаю – там бы я много для тебя нашла. А – в испанском!..)

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Поцелуйте куклу!»... Наташа Ростова, охватив колена, как индус, как пес, поющая на луну, пением уносимая с подоконника... Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса... Козэтта с куклой и Фантина с Козэттой... Все девические видения Диккенса... Джульетта... Мирэй... Миньона, наконец, нет, даже *он*: *Mignon*, – тот мальчик арфист, потом ставший Миньоной, которого с какой-то своей *Wanderung*¹⁹⁴ привел домой к матери юноша, ставший – Гёте.

(Знаю, что опять ничего не даю (и много – беру), однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз – быть...)

Но главное имя – утаиваю. И прозвучит оно только в стихах – или нигде.

И вот, потому что ни одной моей взрослой героиней быть не могла – «такая маленькая» – мне пришлось писать ма-

¹⁹² Шаловливость (*фр.*).

¹⁹³ «Причуда» (*нем.*).

¹⁹⁴ Поездка (*нем.*).

леньких. Маленьких девочек. Розанэтта в «Фортуне», девочка в «Приключении», Франческа в «Конце Казановы» – все это Сонечка, она, живая, – не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен для поэта – но всегда живая, если не вся – она, то всегда – она, никогда: не-она.

А один свой стих я все-таки у нее – украла: у нее, их не писавшей, в жизни не написавшей ни строки, – я, при всей моей безмерной, бесприммерной честности – да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде:

– О, Марина! И у меня были такие большие слезы – крупные глаз!

– А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно – по точности и...

– О, берите, Марина! Все, что хотите – берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в *ваших* руках *все* будет жить – вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день в день) стих:

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Вздохов мысленных: – Назад!)
Были слезы – большие глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: – Вернись!)
Были взмахи – большие рук.

Руки прочь хотят – от плеч!
Губы вслед хотят – зажать!
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость...
– Господи, взгляни на нас! —
*Были слезы больше глаз
Человеческих – и звезд
Атлантических...*

(А атлантические звезды горят над местечком, Ласапау-Осеан, где я свою Сонечку – пишу, и я, глядя на них вчера, в первом часу ночи, эти строки вспомнила – наоборот: что на океане *звезды* больше глаз! Вот и сошелся круг.)

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их – Сонечка.

И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях – когда мы уже давно, давно расстались – в припеве к моему «Молодцу»: – А Маруся лучше всех! (краше всех, жарче всех...) – в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самое смерть, но и бессмертье свое отдаст, чтобы вме-

сте пропасть – с любимым.

– Марина, вы думаете, меня Бог простит – что я так многих целовала?

– А вы думаете – Бог считал?

– Я – тоже не считала.

...А главное я всегда целую – первая, так же просто, как жму руку, только – неудержимее. Просто никак не могу дождаться! Потом, каждый раз: – Ну, кто тебя тянул? Сама виновата! Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться... А главное – я терпеть не могу, когда другой целует – первый. Так я по крайней мере знаю, что я этого хочу.

– Марина, я никогда не могла понять (и себя не понимаю), как можно – только что целовавшись – говорить молитву. Теми же губами... Нет, не теми! Я, когда молюсь – никогда не целовалась и когда целуюсь – никогда не молилась.

– Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста *ваши*.

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (Я была года на три старше, по существу же – на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».)

Братски обнимала.

Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу, пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. *Пусть* останется.

– Je ne me souviens pas de l'avoir embrassée hors le baiser usuel, presque machinal du bonjour et de l'adieu. Ce n'était pas de la mauvaise – ou bonne – honte, c'était – mais la même chose qu'avec le «tu»: je l'aimais trop, tout était moins.

Car un baiser, quand on n'aime pas – dit tellement plus, et quand on aime – dit tellement moins, est tellement moins. Boire pour reboire encore. Le baiser en amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer ou sang – bon pour les naufrages!) Si cela a déjà été dit – je le redis. L'important, ce n'est pas de dire du neuf, c'est de trouver seul et de dire vrai.

J'aimais mieux garder ma soif entière.

Et – une chose qui n'a sûrement, par sa simplicité même, jamais été écrite: le baiser en amour c'est le mauvais chemin menant à l'oubli de l'autre. De l'aime, non à l'aime. Commencé par baiser une âme, on continue par baiser une bouche et on finit par baiser – le baiser. Aneantissement.

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, fraternellement, protectionnellement, pour la cacher un peu à la vie, au froid, à la nuit. C'était la Révolution, donc pour la femme: vie, froid, nuit.

...Ma petite enfant que je n'ai jamais laissée rentrer seule.

Et simplement je n'y avais jamais pense – qu'il y avait – за, cette possibilite entre gens comme nous. (Cette impasse.) Ce n'est que maintenant, quinze ans après que j'y pensé, pleine de gratitude de n'y avoir alors pas même pense¹⁹⁵.

Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москва-реке, окруженное пустырями – просторами.

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно, после

¹⁹⁵ Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной – или хорошей – стыдливости; это было – так же, как с «ты»: я слишком любила ее, все прочее было меньше. Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят – настолько меньше; сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви – это морская вода во время жажды. (Морская вода или кровь – хороши для потерпевших кораблекрушение!) Если это уже было сказано – повторю. Потому что главное – не новое сказать, а найти единственно верное слово. Я предпочитала не утолять жажду вообще. И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность: поцелуй и любви – дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начинают с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем – поцелуя. Уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи. Революция для женщины и есть: быт, холод, ночь... Моя малютка, которой я не позволяла возвращаться одной. Да я просто не думала об этом – ибо оно было – эта реальность между такими, как мы. (Эта безысходность.) Только теперь, спустя пятнадцать лет, я вспоминаю обо всем, исполненная благодарности за то, что тогда все это не приходило мне в голову (*фр.*).

всех слез и записочек – засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых...

C'etail son lit, son nid, sa niche...¹⁹⁶

К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косога забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк»... (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще – такими буквами!)

Стоит дом. В доме – кресло. В кресле – Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива. (Еще немножко – зальет.) Ножки спрыгивают, ручки – навстречу: – Марина! Какое счастье!

Заботливо разгружает меня от кошелки и черезплечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не-сажать меня в кресло: знает твердость моего нрава – и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкой. За ним – воля. За спиной – воля, перед глазами – любовь.

– Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала (деловито, загибая в ладонь пальчики): – Юра меня не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит... А мог бы! хотя бы, как дочь, потому что я – Евгеньевна, – в Студии меня не любят...

– А – я?!

– О – вы! Марина, вы меня *всегда* будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить... А Юра – уже успел, потому что я сама не успела...

¹⁹⁶ Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой... (фр.).

умереть.

(Любить, любить... Что она думала, когда все так говорила: любить, любить?..)

Это напоминает мне один мой собственный, тогда же, вопрос солдату бывшего полка Наследника, рассказывавшему, как спасал знамя:

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А – ничего не чувствовал: есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка.

(Есть любовь – есть жизнь, нет любви...)

Сонечкино любить было – быть: *небыть* в другом: сбываться.)

Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себе – от всего (как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину:) – угнеживается... А вокруг и над и под – лес, свод, прилив кресла.

По тому, как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных широких любящих старших руках. (Ведь кресло – всегда старик.)

Но Сонечке в кресле видна была вся любящность ее природы. (Натура – слово *ее* словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое.

Поняла: она у него просто сидела на коленях!

Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, расска-

зываю, насказываю ей, как вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я, посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладины – воду, от страха – села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей: как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддерживали ангелы, а поддерживали – потому что в последнюю минуту узнали, что «эта дама с солдатской сумкой через плечо» – поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами – ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку, и потом с нами катались на карусели, «Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране...» и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок, и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова... «потому что эти ангелы были не ангелы, а... вы сами, Марина, знаете, *какие* это были ангелы...»

И как мы, с Алиной и ангельской помощью, действительно перешли мост и действительно катались на карусели: я – на льве, она – на баране... и как я ей тут же, за хороший перевод через мост, покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого Вожатого из «Капитанской Дочки» – и так далее – и так далее... – до Сонечкиного просветления – потом – смеяния – потом сияния...

– Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции – всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье. Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке. Розовом. Как надела – ну, просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство, от всего: и в косынке и в огромной белой шляпе моих сестер... я иногда думаю: хоть корону надень! – но нет, провалится: ведь у меня ужасно маленькая голова: смехотворная – нет, нет, не говорите! Это – *волосы*, а попробуйте меня обрить! Говорю Вам: *ничего* не останется!.. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите – бритую, потому что перед вами всякий – бритый, перед вами даже Юрочка – бритый, нет, полубритый: арестант! – Марина, я страшно-много говорю? Неприлично-много, и сразу обо всем, и обо всем – всё сразу? Вы знаете, нет минуты, когда бы мне *не* хотелось говорить, даже когда плачу: плачу – навзрыд, а сама говорю! Я и во сне все время говорю: спорю, рассказываю, доказываю, а в общем – как ручей по камням – бессмыслица, Марина! Меня же *никто* не слушает. Только вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила – он был гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были взрослые дети – за это и любила – и он был *очень* снисходительный, никогда не сердился, даже *он* мне, часто, шутя, с упреком: – Ах, Соня! Неужели вы не понимаете, что есть минуты, – когда *не нужно* говорить?

А я – продолжала – не переставала – не переставая гово-

рила – мне всё время всё приходит в голову, всё сразу – и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз... Ой, Марина, вот я и договорилась до чревовещателя!

(Да, она «страшно много» говорила. О ней царицыно любимое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопады...»)

...Так – про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и изпод платочка – вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку – танцует. А шарманку вертит – чиновник. Немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. (Нос сам вроде кокарды.) Тут я его страшно пожалела: бедный! должно быть, с должности прогнали за пьянство, так он – с голоду... А оказалось, Марина, от любви. Он десять лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая и должно быть страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она в него – нет, потому что была уже замужем – за чревовещателем), и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так десять лет и крутит, и не заметил, что она разжирела – и уже не красивая, а страшная... Мне кажется, если бы он крутить – перестал, он бы сразу все понял – и умер.

Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина ни

разу не поцеловала – потому что, если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкручивал! – Марина! я перед всем народом... Подхожу к нему, сердце колотится: – «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю: как вы все бросили из-за любви, а так как я сама такая же...» – и перед всем народом его поцеловала. В губы.

Вы не думайте, Марина, я себя – заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и... просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: – Завтра ярмарка уезжает, – раз. Сегодня последний срок, – два. Его никто в жизни не целовал, – три. И уже не поцелует, – четыре. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего, – пять. Докажи, – шесть. И – *есть*, Марина, поцеловала! Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.

– Ну. а он?

– Он? (С веселым смехом):

Стоит как громом пораженный —
Евгений...

Да я и не смотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть – до сих пор стоят... Десять лет, десять лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала – все-таки не та!

А вот еще, Марина, история – про моряка Пашу...

Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 г. только запись: «Рассказ Сонечки Голлидэй про моряка Пашу» – а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша! Заплыл моряк Паша!

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений...

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – сундук, рыжий, кожаный, еще с тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. – Сонечка, что в нем? – Мое приданое! (какое – потом узнаем). Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьезному: с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флер д'оранжем, с фатою... Я ненавижу венчаться... в штатском! Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить: – Мы уже год как жены. Это без-дарно. Потому что – и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли – и чтобы подарки были – а главное – чтобы плакали! О, как я буду плакать, Марина! По моему Юрочке, по Евгению Багратионычу, по Театру, по всему, всему *тому*, потому что тогда уже – кончено: я буду любить только его.

Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был – порядок. Немыслимый, несбыточный в Революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пы-

линки, ни соринки, ничего сдвинутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. Или все – под подушкой? Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната – сто, нет – двести лет назад. Или еще проще – матросская каюта: порядок, не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Гак гардемарин стоит навытяжку.

И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, о которой – потом!). А вернувшись, эту воблу – об стенку била. Все – Сонечка, самолично, саморучно.

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом – где все было сдвинуто – раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось, все дальше и дальше – пока не уходило за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу?

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его безмерная свобода и... сюрпризность: вот уже *boote a surprises*¹⁹⁷, с возникающими из-под ног чудесами – гигантская *boote*, с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую – *sans nom*¹⁹⁸...

Сонечке мой дом *детски* нравился, как четырнадцатилет-

¹⁹⁷ Коробкой сюрпризов (*фр.*).

¹⁹⁸ Безымянные (*фр.*).

нему ребенку, которым она была.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был – диккенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немножко из «Оливера Твиста» – на мешках. Сонечка же сама – вся – была из Диккенса: и Крошка Доррит – в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса, с Домби-братом на руках, и та странная девочка из «Общего друга», зазывающая старика еврея на крышу – *небыть*: – Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort!¹⁹⁹ – и та, из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая на клавишине и в стуже первых капель ливня слышащая топот толп Революции...

Диккенсовские девочки – все – были. Потому что я встретила Сонечку.

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.

(Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых Ночей» – три автора. Мою Сонечку писали – три автора.

Как ей было не *суметь* – Белых Ночей?!)

Приходила я к ней всегда утром, – заходила, забегала одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии – точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени

¹⁹⁹ Поднимайтесь! Поднимайтесь! Умрите! (*фр.*)

кресла и зелень кресла в темном золоте паркета.

– Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести – в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди Осьмнадцатого века – вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались – женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались – чувствам, и во всяком случае – радовались поцелуям, которыми вы в Девятнадцатом году всех только пугаете.

Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а – туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а – вовсе не ступали, чтобы их подошвы были – как у еще не ходивших детей.

Ибо вы (все искала вам подходящего слова – драгоценность? сокровище? *joyau*? *bijou*) – *Kleinod!*²⁰⁰ и никто этого в Москве Девятнадцатого Года – не видит, кроме меня, которая для вас – ничего не может.

– Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!

Перед «ним» – на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем: смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович – я уже где-то когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные стихи к нему:

²⁰⁰ Сокровище (*фр. и нем.*).

Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь!
Рук не исправить – топором рубя!
О, сокровеннейшее из сокровищ:
Порода! – узнаю тебя.

Как ни коптись над черной сковородкой —
Все вокруг тебя твоих Версалея – тишь.
Нет, самую косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь!

Над снежной грудой иль над трубною сажей
Дугой согбен – все ж *гордая* спина!
Не окриком, – все той же барской блажью
Тебе работа задана.

Выменивай но нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос —
Все равенство нарушит – нос горбатый:
Ты – горбонос, а он – курнос.

Но если вдруг, утомлено получкой,
Тебе дитя цветок протянет – в дань,
Ты так же поцелуешь эту ручку,
Как некогда – царицы длань.

(Один из слушателей, тогда же: – Что это значит: утомлено получкой? – Когда человек, продащик, устает получать. (Непонимающие глаза.) Устает получать деньги, ну – прода-

вать устает. – Разве это бывает? (Я, резво:) – Еще как. Вот с Львом Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинения гр. Л. Н. Толстого – и вышел в поле. – Но это – исключительный случай, гений, у Вас же рэчь (мой собеседник – поляк) – о «дитя». – Мое дитя – женщина, а получать ведь вопрос терпенья, а женщины еще более терпеливы, чем гении. Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу...)

Второе:

Не от запертых на семь замков пекарен
И не от заледенелых печек —
Барским шагом, распрямляя плечи,
Ты сошел в могилу, русский барин.

Старый мир пылал – судьба свершалась.
– Дворянин, дорогу – дровосеку!
Чернь цвела, а вблизи тебя дышалось
Воздухом Осьмнадцатого века.

И пока, с дворцов срывая крыши,
Чернь рвалась к добыче вожделенной —
Вы «*bon ton, maintien, tenue*»²⁰¹ мальчишек
Обучали – под разгром вселенной.

Вы не вышли к черни с хлебом-солью,
И скрестились – от дворянской скуки! —

²⁰¹ Хорошим манерам, умению держаться, поведению (*фр.*).

В черном царстве трудовых мозолей —
Ваши восхитительные руки.

(Не мне презирать мозоли — тогда бы я должна была презирать себя первую — но *тогда* эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть.)

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии — Второй, где шли и Сонечкины «Белые Ночи» с единственным действующим лицом — Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом — Стаховичем (кольцо — молодежь).

Вот об этих-то *leçons* «*bon ton, maintien, tenue*» Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках.

— Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать.

— Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может? Ну, вы, — Голлидэй, Соня.

И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал — перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам... ножкам...

О ножки, ножки, где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?

Но выхожу, Марина, потому что другому – некому, потому что другие – еще хуже, не хуже одеты, а... ну, еще меньше умеют... дать руку, отпустить гостя. О, как я бы все это умела, Марина, – если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все умею, знаю! Как все – сразу – узнаю!

И он всегда меня хвалил, – может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках? – «Так, так, именно – так...» и никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня – *жгут*. И я не глядела, я ведь только *до* боялась, до того, как он скажет: – Ну, вы – Голлидэй, Соня! – А когда уже сказал – кончено, я свободно шла, я о них и не думала, – о, Марина! я до них не снисходила.

Но он их – отлично замечал, потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что башмаки тяжелые» – «Какова бы ни была обувь – остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее на каждой ножке – по пуду железа, как у узника Бонивара?»

– Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой Русалочке?
– Которая танцевала на ножках? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги... битюги... Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя – ею. Как ей хотелось всплыть – и как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым... и принцем,

и как потом его оживила – и онемела – и как потом немая танцевала перед ним на ножах... О, Марина, ведь это высшее блаженство – так любить, так любить... Я бы душу отдала – чтобы душу отдать!

– Ах, Марина! Как я люблю – любить! Как я безумно люблю – сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до-утро – еще спать и уже знать, что опять... Вы когда-нибудь забываете, когда любите – что любите? Я – никогда. Это как зубная боль – только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь – и слова нет. (Подумав: поёт?) Ну, как сахар обратное соли, но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки. (Я, все же изумленная: – Кто?) – Да те, кто *не* любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы *тебя* любили. Я не говорю... конечно... – устаете – как в стену. Но Вы знаете, Марина (таинственно), нет такой стены, которую бы я *не* пробила! Ведь и Юрочка... минуточками... у него *почти* любящие глаза! Но у него – у меня такое чувство – нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою – еще гора, и еще гора, и еще гора... – целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его *никогда* не говорят?! Мне один объяснял, что это... грубо... (фыркает)... отстало, что: зачем слова, когда – дела? (то есть поцелуи и так далее). А я ему – «Э-э! нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово

– всё». Мне ведь только этого от человека нужно: лю-блю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно не любят, я делам не поверю, потому что слово – было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отошала.

О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: – Ты только – скажи. Я проверить – *не* буду. Но не говорят, потому что думают, что это – жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. (Они и вторым не говорят, Марина, некоторым.) Точно со мной можно *не*-первому уйти!

Марина! Я – в жизни! – не уходила первая. И в жизни – сколько мне ее еще Бог отпустит – первая не уйду. Я просто *не могу*. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой ушел, потому что *мне* первой уйти – легче перейти через собственный труп. (Какое страшное слово. Совсем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда – до последней возможности, до самой последней капельки – как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана – а все еще тянешь, и только собственный пар!

Ах, знаете, вы будете смеяться – это была совсем короткая встреча – в одном турне – неважно, кто – совсем молодой – и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера са-

дился в первый ряд – и *бедно* одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что – либо глаза выскочат, либо сам – вскочит на сцену. (Говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно понять! Потому что это не был обычный влюбленный мужской *едящий* взгляд (он был почти мальчик) – это был пьющий взгляд, Марина, он глядел как замороженный, точно я его каждым словом и движением – как на нитке – как на канате – притягиваю, наматываю – это чувство должны знать русалки и еще скрипачи, верней смычки – и реки... И пожары, Марина!.. Что вот-вот вскочит в меня – как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что *у меня*, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза – оступлюсь.

И когда я с ним, наконец, за кулисами (знаю, что это ужасная пошлость, но *всё* пошлость, как только оно *где*, и *скалы*, на которых сидели *девы* д'Аннунцио – ничуть не лучше!)... за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного: спасена!

...Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом – замолчала. Потому что нельзя, я – не могу, чтобы в ответ на мои слова – только глаза, только поцелуи! И вот лежу утром, до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю, да, – губами, словами... Вслушалась – и знаете, что это было: – *Еще* понравься! Еще

чутьочку, минуточку, секундочку понравься! – Ну, и? – Нет. Он – *не* смог. – Чего? – Еще-понравиться. Не смог бы – даже если бы услышал. Потому что вы не думайте: я не его, спящего, просила – мы жили в разных местах, и вообще... – я в воздух просила, может быть – Бога просила, я просто закллинала, Марина, я сама себя закллинала, чтобы еще немножко вытянуть. – Ну, и? (с сияющими глазами:) Вытянула. Он не смог, я – смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец генерал в Москве, который даже не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед поедет, ламповщиком сделается?) – и никогда не забуду (*это* не наврала), и когда уже поезд трогался – потому что я на людях никогда не целуюсь – поцеловала *его* розы в окне... Потому что, Марина, любовь – любовью, а справедливость – справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не *его* вина, а *моя* беда: бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный.

А пьеса – когда мы так друг в друга влюбились – была Юрия Слезкина. Смешное имя? Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: – Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина. (Деловито:) – А он, вы не знаете, Марина, – старик?

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь – выше художества.

Это «еще понравься!» – мой второй плагиат.

Как та чахоточная, что в ночь
Стонала: еще понравься!

И, дальше:

Как та чахоточная, что всех
Просила: *еще* немножко
Понравься!..

И – конец:

Как та с матросом – с тобой, о жизнь,
Торгуюсь: *еще* минутку
Понравься!..

Так, в постепенности, дана и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо, будь Сонечка старше, она бы именно так – кончила.)

– Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов о чем еще были эти уроки? – Обо всем. Например – как надо причесываться. – Женская прическа должна давать – сохранять – охранять форму головы. Никаких надстроек, волосы должны только – и *точно* – обрамлять лица, чтобы лицо оставалось – главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо: как у вас – Голлидэй,

Соня. – Алексей Александрович! А ведь у меня... не очень гладко! – я, смеясь. – Да, но это – природные завитки, потому что у вас природная волна, и *рама* остается, только – немножко – рококо... Я говорю об общей линии: она у вас проста и прекрасна, просто – прекрасна. (О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что *за ним* – выделяет!)... Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется: – С кем бы вы ни шли – спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок... Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спокойно, спокойно... Покажите вы, Голлидэй! Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет... Что вы делаете?

И – показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спокойно...

– Bravo, bravo – Голлидэй, Соня! Если вы, действительно, с *любим* спутником, а не только со мной (и у него тут такая чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)... старым учителем... сохраните такое хладнокровие...

Однажды я не удержалась, спросила: – Алексей Александрович, откуда вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы?.. Откуда вы нас так знаете – с головы до ног? И он, серьезно (ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я – нет): – Что я все знаю – неувиди-

тельно; я старый человек, а вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других, как *не* надо, на мне – как надо, меня мальчишки так и звали: Стаховичев показ.

– А девчонки – завидовали?

Она, торжествующе: – Лопались!! Это ведь была такая честь! Его все у нас страшно любили, и если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные! И – в каких локонах! (фыркает). – У *них* настоящие туфли, дамские.

– Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете?

Она, кротко: – У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня – только Юра. И мама. И две сестры. Они ведь у меня...

– Красавицы. Знаю и видела. А вы – Золушка, которая должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то – вы.

– А зато они – старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла – и решила.

А *их* (показывает ножку) я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили! Никак не могла привыкнуть.

Марина! Это было ужасно. Он впервые пришел в Художественный театр после тифа – и его никто не узнавал. Просто – проходили и не узнавали, так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: – Я никому не нуж-

ный старик...

...А как он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос!

(Сидим наверху в нашей пустынной деревянной кухне, дети спят, луна...)

– Да, то был вальс – старинный, томный...

Да, то был див-ный

(обрывая, как ставят точку)

– вальс!

Когда бы мо-лод был!

Как бы я Вас лю-бил!

– Алексей Александрович! Это – уж вы сами! Этого в песне нет! – мы ему, смеясь.

– В моей – есть.

Почему вы, Алексей Александрович, – женщинам – и жемчужинам – и душам – знавший цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг нее дышалось «воздухом осьмнадцатого века». *Чего* вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без *чего* вы не вынесли – еще одного часа?

А она была рядом – живая, прелестная, готовая любить и

умереть за вас – и умирающая без любви.

Вы, может быть, думали: у нее свои, молодые... Видала я их! Да и вы – видали.

Как вы могли ее оставить – всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых Вы так бесплодно обучали.

Был, впрочем, один среди них... Но о нем речь – впереди.

В театре ее не любили: ее – обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Левановичу Мchedелову (ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл).

– Марина Ивановна, вы не думайте: она очень трудна. Она не то, что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда – неуместно смешлива (сам был – глубоким меланхоликом) ей говоришь, а она смотрит в глаза – и смеется. Да так смеется – что сам улыбаешься. И уроку – конец. И престижу – конец. Как с этим быть? И – не честолюбива, о, совсем нет, но – властолюбива, самовластна: *она* знает, что нужно – так, и – никаких.

– А может быть, она действительно знает, и действительно нужно – так?

– Но тогда ей нужен свой театр, у нас же – студия, совместная работа, ряд попыток... Мы вместе добиваемся.

– А если она уже отродясь добилась?

– Гм... В «Белых ночах» – да. Она вообще актриса на самое себя; на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы... Она *исключительно* одарена, но я все

еще не знаю, одаренность ли это – актерская – или человеческая – или женская... Она – вся – слишком исключительна, слишком – исключение, ее нельзя употреблять в ансамбле: только ее и видно!

– Давайте ей главные роли!

– Это всегда делать невозможно. Да она и не для всякой роли годится – по чисто-внешним причинам – такая маленькая. Для нее нужно бы специально – ставить: ставить ее среди сцены – и все тут. Как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все *может* – сама. Что тут делать режиссеру? (Я, мысленно: – Склониться.) И, кроме того, мы же студия, есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя – другим. Это актриса Западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы...

– Вахтанг Леванович, у вас в руках – чудо.

– Но что мне делать, когда *не это* – нужно?

– Не нужно самому – отдайте в хорошие руки!

– Но – где они?

– А я вам скажу: из вашего же обвинительного акта – скажу: эти руки – в Осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената – руки, на которых бы он ее носил – в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук – и только собственного розового театра – раковины. Разве вы не видите, что это – дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица? Malibran, Аделина

Патти, oiseau-mouche²⁰², а совсем не студийка вашей второй или третьей студии? Что ее *обождать* нужно, а не *обиждать*?

– Да ее никто и не обижает – сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то... Может быть – прекрасная душа, но – ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее – не знаете, вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто – никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка – сплошное выхождение из круга. Или, что то же – сплошной центр.

И – удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить – плачет. Плачет и тут же – что-нибудь такое уж ядовитое... Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!

(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил – иначе, и во всех она осталась – загвоздкой: не любили – с загвоздкой.)

– Марина! У меня сегодня ужасное горе!

– Опять наш с вами ангел?

– Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили ставить «Четыре Черта», и мне не дали ни одного, даже

²⁰² Колибри (*фр.*).

четвертого! даже самого маленького! самого пятого!

(Тут-то она и сказала свое незабвенное: – И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!)

Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали – еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой – молчали – или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А – «злоба»? – как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая *сдача*. Либо рипост – кошачьей лапы.

Petite fille modèle – et Bon petit Diable. Toute ma petite Сонечка – immense – tenue dans la C-tesse de Segur. On n'est pas compatriotes pour rien!²⁰³

(Графиня де Сегюр – большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de Fees» (Bibliotheque Rose)²⁰⁴ – лучшее и наименее известное из всего ею написанного – сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единоличные (без ни единого заимствования – хотя бы из народных сказок). Сказ-

²⁰³ Примерная маленькая девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка – безмерно – похожа на графиню де Сегюр. Недаром они соотечественницы! (*фр.*).

²⁰⁴ «Волшебные сказки» (Розовая библиотека) (*фр.*).

ки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четырежды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня – неизбежно – купить).

Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчедлове – чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратиону»), от которого на меня веяло и даже дуло – холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески – чет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это *что* было *все*, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» – да может быть и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене, четыре действия сряду – четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне – из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за *слово*. И – слезы.

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины – за красоту, мужчины – за ум, актеры (*mâles et femelles*)²⁰⁵ – за дар, и те, и другие, и третьи – за особость: опасность особости.

Toutes les femmes la trouvent laide,
Mais tous les hommes en sont fous...²⁰⁶

Первое – да (то есть как в стихах, как раз наоборот), второе – нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара – ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой... и опаской.

Для мужчин она была опасный... ребенок... Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней... Не умели... (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой...», а третий – не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними – смеется. Когда я вспоминаю, *кого* моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женственность – от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка, и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае – напрашивающегося – малороссийского-национального, са-

²⁰⁵ Самцы и самки (*фр.*).

²⁰⁶ Все женщины находили ее безобразной, Но все мужчины были от нее без ума... (*фр.*)

мого типичного-национального. Испански же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета – до аллегии, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть – Сонечкино лицо.

Только – географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди севильской площади – и станет – своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней: – Маленькая сигарера! И даже – ближе: Консуэла – или Кончита – Конча. Concha, – ведь это почти что Сонечка! – О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча, – ведь это: сейчас кончится, только еще короче!

И недаром первое, что я о ней услышала – Инфанта. (От инфанты до сигареры – испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)

Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо – среди четырнадцатилетних. С поправкой – неповторимости.

Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве – в тургеневские времена. (Весь последний Турге-

нев – под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней – огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня – белая».) Такие личики бывали у младших сестер – седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая – красавица...»

На слободках... На задворках... На окраинах... Там, где концы с концами – расходятся.

Этому личику шли бы – сережки.

И еще – орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатались. – «Такие зеленые и если зубами – кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг – сам орех: кремовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали – ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна – вам, другая – мне. Но я не только лесные люблю (а их братъ, Марина! когда наверху – целая гроздь, и еще и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и – вдруг! – вырвалась, и опять вверху качается – в синеве – такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они – как звезды, Марина! Шелуха – как лучи!)... я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые – такие чудные негрские малютки!.. целый мешок!

и читать „Войну и мир“, я Мир – люблю, Марина, а Войну – нет, всегда – нечаянно – целые страницы пропускаю. Потому что это мужское, Марина, не наше...»

...От раскатываемых орехов, и от ручья по камням – и струек по камням и камней под струйками – и от лепета листвы («ветер листья на березе перелистывает»...), и от тихо сжимаемых в горсти жемчугов – и от зеленоватых ландышевых – и даже от слез градом! – всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется – смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще – белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно-богаче, чем в природе...

– словом:

Все бы я слушал этот лепет.

Все б эти ножки целовал...

Мужчины ее не любили. Женщины – тоже. *Дети* любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.

Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях – любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава – лучше имени («та, что – „Белые ночи...“») и все это в ее руках было – прах, потому что она сама хотела – сама любить. Сама любила.

На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой

же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого года – не было. Их уже – нигде не было.

– О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю – я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: – Куда ты! убьют! там – самая пальба!

И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что, ведь, есть – надо?

И сквозь всех красногвардейцев проходила. – Ты куда идешь, красавица? – Больной маме обед несу, она у меня за Москвой-рекой осталась. – Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой! – Ой, нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый – кот, а бородатый – козел! Я, правда, к маме! (И уже плачу.) – Ну ежели правда – к маме, проходи, проходи, да только в оба гляди, а то неровен час – убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля – и останется старая мама без обеда.

Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа Спасителя, ведь я *туда* им обед носила, моим голубчикам.

– Марина! Я иногда ужасно вру! И сама – верю. Вот вчера, я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом – хорошим: того же ждет, что и мы – сначала о ценах, потом о более важном, серьезном (*Ее* произношение). – Какая вы,

барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем *правду* знаете... – Да я и не барышня совсем! Мой муж идет с Колчаком! И рассказываю, и насказываю, и сама слезами плачу – оттого что я его так люблю и за него боюсь – и оттого что я знаю, что он не дойдет до Москвы – оттого что у меня *нет* мужа, который идет с Колчаком...

Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет – сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.

– Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?

Ирину на колени. Алю под крыло – правую, свободную от Ирины руку. (– «*Я всегда* ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы правой защищать. И – обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижимом блаженстве группу трех голов: Ирину, крутолобую, чуть было не сказала – круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступом лба, Алину, бледно-золотую, куполком, рыщаренка, и между ними – Сонечкину, гладковьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую – от одной к другой. И – смешно – взрослая Сонечкина казалась только ненамного больше этих детских:

Мать, что тебя породила,
Раннею розой была:
Она лепесток обронила —
Когда тебя родила...

(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее – в глубь времен.

Не понимаю, а заново создаю.)

...Так они у меня и остались – группой. Точно это тогда уже был – снимок.

Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренсы с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!

Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет – девочки-Богородицы:

Над первенцом – Богородицы:

Да это ж – не переводится!

– Ну, теперь довольно про Галлиду, а то я зазнаюсь! Теперь Ай ду-ду давай (вполголоса нам с Алей – почти что то же самое!) – как это ты поешь, ну?

– Ай ду ду,

Ай ду ду,

Сидит воен на дубу.

Он гает во тубу,

Во ту-бу,
Во ту-бу.

– Так, так, моя хорошая! Только еще продолжение есть: – «Труба точеная, позолоченая»... – но это тебе еще трудно, это когда ты постарше будешь.

И так далее – часами, никогда не уставая, не скучая, не ищая.

– Марина, у меня никогда не будет детей. – Почему? – Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно – все эти внутренности.

Серьезная, как большая, с ресницами, уже мерцающими как зубцы звезды.

И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками.

– Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка! – она, на вопиюще-вопрошающие глаза Ирины. – Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут... А не дали – потому что они гадкие – и Царя убили, и мою Ирину голодную посадили... Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару...

– Сахай давай! – Ирина – радостно-повелительно.

– Ирина, как тебе не стыдно! – Аля, негодуя, готовая от смущения просто зажать Ирине рукою рот.

И Сонечкино подробное разъяснение – ничего кроме «са-

хар» не понимающей Ирине – что сахар – завтра, а завтра – когда Ирина ляжет совсем-спать, и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст ей картошечки, и...

– Кайтошка давай!

– Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю... – Сонечка, с искренним смущением.

– Сонечка! (Аля, взволнованно) с Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить!

– О, Марина! Ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас – кажется – счастлива: ведь это такой ужас, такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать... Впрочем, остаются все чужие...

Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

Две записи из Алиной тетради весны 1919 г. (шесть лет).

«Пришел вечер, я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Маринину шелковую шаль, быстро спустилась и спросила: Кто там? (Марина знала ту полудевочку – актрису Софью Евгеньевну Голлидэй.) Там за дверью послышались слова:

– Это я, Аля, это Соня!

Я быстро открыла дверь, сказав:

– Софья Евгеньевна!

– Душенька! Дитя мое дорогое! Девочка моя! – воскликнула Голлидэй, я же быстро взошла через лестницу к Марине и восторженно сказала: – Голлидэй! – Но Марины не было, потому что она ушла с Юрой Н. на чердак.

Я стала мыть ноги. Вдруг слышу стук в кухонную дверь. Отворяю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет меня на колени и говорит: – Моего милого ребенка оставили! Я думаю – нужно всех гостей сюда позвать. – Но как же я буду мыть ноги? – Ах, да, это худо.

Я сидела, положив лицо на мягкое плечо Голлидэй. Голлидэй еле-еле касалась моей шали. Она ушла, обещав прийти проститься, я же вижу, что ее нет, и в одной рубашке, накинув на себя шаль, вхожу к Голлидэй и сажусь к ней на колени. Там были Юра С., еще один студиец, и Голлидэй, а Марина еще раньше ушла с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без башмаков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно! Юра С. подарил мне белый пирожок. Голлидэй была весела и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Голлидэй, послышались чьи-то шаги по крыше. Оказалось, что Марина с Юрой Н. через чердачное окно вместе ушли на крышу. Юра С. влез на крышу со свечой, воскликнув: – Дайте мне освещение для спасения хозяйки! Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь к крыше. Голлидэй звала свою знакомую и говорила: – Ой, дитя идет на крышу! Возьмите безумного ребенка!

Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Нако-

нец, сама Голлидэй сняла меня и стала нести в кровать. Я не билась и говорила: – Галлида гадкая! Галлиду я не люблю! Она полусмеялась и дала меня С-ву, говоря, что я слишком тяжела для ее рук. Только что они усадили меня, как вдруг я увидела Марину, которая сходила с чердака. (Голлидэй, когда несли меня, то все говорила: – Аля, успокойся! Ты первая увидишь Марину!) Марина держала в руках толстую свечу в медном подсвечнике. Голлидэй сказала Марине: – Марина, Алечка сказала, что она меня не любит!

Марина очень удивилась – как я думаю».

«У нас была Сонечка Голлидэй. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне: – Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку: „Милая девочка Сонечка! Я очень рад, что Вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня“. А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили. А не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Голлидэй маленькое розовое лицо и темные глаза. Она маленького роста, и у нее тонкие руки. Я все время думала о нем и думала: – Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он, правда, гадкий человек, он бы этого не писал».

...Не гадкий. Только – слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью кроме тщеславия, так обильно – и обидно – пита-

емой его красотой. Что я помню из его высказываний? На каждый мой резкий, в упор, вопрос о предпочтении, том или ином выборе – хотя бы между красными и белыми – «Не знаю... Все это так сложно...» (Вариант: «так далек-не-просто»... по существу же «мне так безразлично»...) Зажигался только от театра, помню, однажды больше часу рассказывал мне о том, как бы он сделал (руками сделал?) маленький театр и разделил бы его на бесчисленное количество клеток, и в каждой – человечки, действующие лица своей пьесы, и междуклеточной – общей... – А что это были бы за пьесы... В чем, собственно, было бы дело?.. (Он, таинственно:) – Не знаю... Этого я еще пока не знаю... Но я все это прекрасно вижу... (блаженно). – Такие маленькие, почти совсем не видеть...

Иногда – неопределенные мечты об Италии: – Вот, уедем с Павликом в Италию... будем ходить по флорентийским холмам, есть соленый, жгутами, хлеб, пить кьянти, рвать с дерева мандарины... (Я, эхом:) – И вспоминать – Марину... (Он, эхом эха:) – И вспоминать Марину...

Но и Италия была из Гольдони, а не из глубины тоски.

Однажды Павлик – мне: – Марина? Юра решил ставить Шекспира. (Я, позабавленно:) – Ну-у? – Да. Макбета. И что он сделает – половины не оставит!

– Он бы лучше половину – прибавил. Взял бы – и постарался. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл? А Юрий Александрович вспомнил, восполнил.

Однажды, после каких-то таких его славолюбивых бреден – он ведь рос в вулканическом соседстве бредового, театрального до кости Вахтангова – я ему сказала: – Юрий Александрович, услышьте раз и жизни – правду. Вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины.

Его товарищи-студийцы – кроме Павлика, влюбленного в него, как Пушкин в Гончарову – всей исключенностью для него, Павлика, такой красоты (что Гончарова была женщина, а Юрий З. – мужчина – не меняло ничего, ибо Пушкин, и женись на Гончаровой, не обрел ее красоты, *остался* маленьким, юрким, и т. д.) – но любовь Павлика была еще и переборотая ревность: решение любить – то, что по существу должен был бы ненавидеть, любовь Павлика была – чистейший романтизм – итак, кроме Павлика, его товарищи-студийцы относились к нему... снисходительно, верней – к нам, его любившим, снисходительно, снисходя к нашей слабости и обольщаемости. – «З-ий... да-а...» – и за этим протяжным *да* не следовало – ничего.

(Их любовь с Павликом была взаимная ревность: Юрия – к дару, Павлика – к красоте, ревность, за невозможностью вытерпеть, решившая стать и ставшая – любовью. И еще – тайный расчет природы: вместе они были – Лорд Байрон.)

Весь он был – эманация собственной красоты. Но так как очаг (красота) естественно – сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он – ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо – лучшее в тебе и

красота – главное в тебе, когда товар – всегда лицом, – твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по векселям этой красоты, режиссеры – как женщины. Все кругом ходили, просили. (Я одна *подала* ему на красоту.) – Но, помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал... – Нет, родной, такое лицо уже есть – посул. Только оно обещало то, чего ты не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни. Драгоценные – насквозь. Цветочные – насквозь. Или уж святые Севастианы. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. (Откуда мне сие?!) Но это не улучшало, это только ухудшало – дело. Единственный выход для мужчины – до своей красоты не снисходить, ее – презирать (пре-зри: гляди поверху). Но для этого нужно быть – больше, он же был – меньше, он сам так же обольщался, как все мы...

Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорит ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим – одно.

Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет – и седая, чистого серебра, прядь.

И еще – с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.

Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был – фигура. Девятнадцатый Год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида Св. Антония, то есть всегда – одежда, всегда – ту-

маны. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы до нивы – гонит ветер прихотливый – золотые переливы»... (серебряные). Было собирательное лицо ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И – узнавала.

Но зря ангельский облик не дается, и *было* в нем что-то от ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по-французски *organe*), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как, приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу – глядел, в том, как внезапным недвижимым видением в дверях – вставал, в том, как без следу – исчезал.

Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то – учила, чему-то выучила, *она* диктовала ему шаг («он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело, – поэтому *сказать* он ничего не мог (ничего было!), *выказать* – все.

Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы – до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может...» (*Так* – не любил, никак не любил.) «Какая-то тайна...» Тайны не было. Никакой – кроме самотайны такой красоты.

Научить *ступить* красота может (и учит!), *поступить* – нет, *выказать* – может, *высказать* – нет. Нужному голосу,

нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову – нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князья – мы, «карлики Инфанты».

Не «было в нем что-то от Ангела», а – все в нем было от ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были – самые обыкновенные, полу-школьные, полу-актерские, если не лучшие его среды и возраста – то и не худшие, и *ничтожные* только на фоне такой красоты.

Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и личины – не было. Было – обличие. Ангельская обличовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю – надгробие), но все таки лучше, что – было, чем – не было бы!

Ему – дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! – его тогдашний возраст! – моя стихотворная россыпь «Комедьянт», ему, о нем, о живом тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, осьмнадцатого века фонарем:

...да неужели ж руки

И у меня потрескаются? Черт

Побрал бы эту стужу! Жаль вас, руки...

(Это черт звучало нежнее лютни!) – Вижу игру темно-синего света и светло-синей тени на его испуганно-свидетельствуемой руке... *Ему* моя пьеса (пропавшая) «Каменный Ангел»: каменный ангел на деревенской площади, из-за кото-

рого невесты бросают женихов, жены – мужей, вся любовь – всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он – стоял... Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась – как те... *Его* тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке... Но о *нем* – другая повесть. Сказанное – только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.

Сонечка! Простим его ангельскому подобию.

Однажды я зашла к нему – с очередным даром. Его не застала, застала няньку.

– Вот книжечку принесли Юрочке почитать – и спасибо вам. Пушай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, – с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл – звонят, и только глаза смежил – звонят – и все больше с пустыми руками да поцалуюями. Да я тем барышням не в осуждение – молоденькие! а Юрочка – хорош-расхорош, завсегда хорош был, как родился хорош был, еще на руках был – все барышни влюблялись, я и то ему: – Чего это ты, Юрий Алексаныч, уж так хорош? Не мужское это дело! – Да я, няня, не виноват. – Конечно, не виноват, только мне-то двери отворять бегать от этого – не легче... Пушай целуют! (все равно ничего не выцалуют), а только:

коли цалуешь – так позаботься, – чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку – вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час и он: одно лицо, одна кровь – не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, – а ко мне на кухню: «нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на кухню, так – что не любит – плакаться. И голова пуста и руки пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуйами.

А зато одна к нему холит – золото. (Две их у меня – носят, только одна – строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них...) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: – Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаныч говорила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала. – Дома, говорю, красавица, только спит. – Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот – принесла ему, только вы, няня, ему не говорите...

И пакетец сует, а в пакетце – не то, чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая... И где она их берет?!

Или носки сядет штопать. – Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки. – Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело. – Нет уж! – и так горячо, горячо, ласково, ласково в глаза глядит – вы меня барышней не зовите, а зовите – Соня, а я вас – няня. Так и стала звать – Сонечка, как малюточку.

Ну уж и любит она его – и сказать не могу!

Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, не ведает), поцалует меня в щеку – кланяйтесь, няня, Юрочке – и пойдет.

Сколько раз я своему красавцу говорила: – Не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет – себя оправдывает, и в самую что ни на есть темную ночь к дохтуру побежит, весь город на ноги поставит, а уж дохтура приведет: с такой женой болеть можно! – а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую в сыновья взяла. И ростом – под стать: ты – во-о какой, а она – ишь какая малюточка! (Мне: – Верзила-то завсегда малюточек любят.) Только мал золотник – да дорог.

– А он?

– Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит – вот что.

– Другую любит?

– Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки.

(Я, мысленно: – И себя в зеркале.)

– Так про Сонечку чтоб досказать. Не застанет – веселая уходит, а застанет – завсегда со слезами. Прохладный он у нас.

– Прохладный он у вас.

Зеркало – тоже прохладное.

У Сонечки была своя нянька – Марьюшка. «Замуж буду выходить – с желтым сундуком – в приданое». Не нянька – старая прислуга, но старая прислуга, зажившаяся, все равно – нянька. Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, не видала – потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердится» (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено...)

Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо – и уже с порога.

– Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате поселился гроб.

– Что-о-о?

– А вот – слушайте. Моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба – да – самые настоящие гроба (пауза) – ну, для покойников – потому что ведь сейчас это – роскошь, вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в Студии – всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила – каждый день ходила, выхаживала – приказчик, наконец, терпение потерял: – Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим – и тому подобные любезности, ну, а она – твердая: обещано – так обещано, я от своего не отступлюсь. И ходит, и ходит. И, наконец, нынче приходит – есть! Да, да, по тридцатому талону карточки широкого потребления. – Ну,

дождалась, бабка, своего счастья? – И ставит ей на середину лавки – голубой. – Ну-ка примерь, уместись в нем со всеми своими косточками? – Умещусь-то умещусь, говорю, да только не в этом. – Как это еще – не в этом? – Так, говорю, потому что этот – голубой, мужеский, а я – девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, будьте добры, розовенький, – потому что голубого не надо нипочем. – Что-о, говорит, карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще – *девица* оказалась, в розовом нежиться желаешь! Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет. – Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький, – я ему, – испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил – потому что в мужеском голубом лежать для девицы – бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Тут он на меня – ногами как затопчет: – Бери, чертова девица, что дают – да проваливай, а то беду сделаю! Сейчас, орет, Революция, великое сотрясение, мушшин от женщин не разбирают, особенно – покойников... Бери, бери, говорю, а то этим самым предметом угроблю! – да как замахнется на меня – гробовой крышечкой-то! Стыд, страм, солдаты вокруг – гогочут, пальцами – тычут...

Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском голубом.

И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью

полку такую глубокую видели – для чемоданов? Так она меня – прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное – чтобы ей глаз не язвил: цветом. «Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и оболуюсь обидой».

Так и стоит. (Пауза.) – Я наверное, все-таки, когда-нибудь к нему – привыкну?

(Это было в Вознесенье 1919 года.)

Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – гроб.

А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами: чужими.

– Видел сегодня вашу Сонечку Голлидэй. Я ехал в трамвае, вижу – она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться, спокойно сняла с плеча эту лапу – как вещь.

– Это – живая она! А вы уверены, что это – она была?

– О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в «Белых Ночах», та же самая, в белом платье, с двумя косами... Это было так... прэлэстно (мой собеседник был из Царства Польского), что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул: браво!

– А она?

– Ничего. И тут глаз не подняла. Только может быть улыбка стала – чуть-чуть шире... Она ведь очень хорошенькая.

– Вы находите?

– С опущенными веками, и этими косами – настоящая мадонна. У нее, вероятно, много романов?

– Нет. Она любит только детей...

– Но... это же *не*...

– Нет, это мешает.

Так я охраняла Сонечку от – буржуйских лап.

Романы?

Je n'ai jamais su au juste ce qu'étaient ses relations avec les hommes, si c'étaient ce qu'on appelle des liaisons – ou d'autres liens. Mais rêver ensemble ou dormir ensemble, c'était toujours de pleurer seule²⁰⁷.

²⁰⁷ Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами: были ли они тем, что называют любовными связями или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе – а плакать всегда в одиночку (*фр.*).

Часть вторая

Володя

Первое слово к его явлению – статья, и в глазах – сразу – стан: опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу – ничего.

Первое впечатление от лица – буква Т и даже весь крест: поперечная морщина, пересекающая брови и продолженная прямолинейностью носа.

Но здесь – остановка, потому что все остальное зрительное было – второе.

Голос глубокий, изглубока звучащий и потому отзывающийся в глубинах. И – глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий.

Но – не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связок.

Весь с головы до пят: – *Voilà un homme!*²⁰⁸.

Даже крайняя молодость его, в нем, этому *homme* – уступала. Только потом догадывались, что он молод – и очень молод. С ним, заменив Консула – юношей, а Императора – мужем, на ваших глазах совершалось двустипише *Hugo*:

Et du Premier Consul déjà en maint endroit

²⁰⁸ Се – человек! (фр.).

Le front de l'Empereur perçait le masque étroit²⁰⁹.

Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно.

Этот юноша носил лицо своего будущего.

Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика А. – с неизменным добавлением – замечательный. – «А есть у нас в Студии такой замечательный человек – Володя А.». Но *этого* своего друга он на этот раз ко мне не привел.

Первая встреча — зимой 1918 г. — 1919 г., на морозном склоне 1918 г., в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой приветствовавшей искусство – все искусства, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира справлявших конец своей молодости, много было в Революцию. В начале ее. К 19-му году они все уехали.

Первое слово этого глубокого голоса: – Но короли не только подчиняются традициям – они их создают.

Первое слово – мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова (он сидел и смотрел, как играют в карты, я – даже не смотрела): – Вы мне напоминаете Жорж Занд – у нее тоже были дети – и она *тоже* писала – и ей тоже так трудно жилось – на Майорке, когда не горели печи.

²⁰⁹ И не однажды сквозь стеснительный лик Первого консула проглядывало чело императора (*фр.*).

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра – пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба.

Потом говорил: – Мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда – послезавтра, точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели – пошли. И что хлеб разломали пополам, и сами ели. Я в этом почувствовал – обряд.

А потом, еще позже: – Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую панночку: на вас была такая (беспомощно) – курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадка головы – немножко назад. И взгляд – немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал – польскую кровь.

Стал ходить. Стал приходить часто – раза два в неделю сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего дивана, даже так: он – в глубоком его углу, я – наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг другу дороге.

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами – серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре: *La tête de son corps*²¹⁰. Точно это лицо тоже было – стан. (Единственное *не*

²¹⁰ Просто – голова (*фр.*).

прямое во всем явлении – «косой» пробор, естественно прямой (прямой).)

Зрительно – прямота, внутренне – прямота. Голоса, движений, в глаза-гляденья, рукопожатья. Все – одномысленно и по кратчайшей линии между двумя точками: им – и миром.

Прямота – и твердость. И даже – непреклонность. При полнейшей открытости – непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле: материала, из которого. Такого рукой не тронешь, а тронешь – ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому бесполезно трогать. Совершенно, как со статуей, осязаемой, достигаемой, но – непроницаемой. В каком-то смысле – вещь без резонанса.

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть благодаря ему, бесконечно-достигаемого и податливого, который, по желанию, можно *взглянуть* на версту внутрь рамы, или изнутри всех его столетий в комнату – выглядеть. Самое обратное портрету, то есть – статуя, крайней явленностью своей и вывленностью ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности.

(Неужели это все я – М. И.? – Да, это все – вы, Володечка. Но рано обижаться – погодите.)

(Как потом выяснилось – это впечатление его статуарности было ошибочное, но это – потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой ошибке полтора

года строила – и выстроила.)

Сразу стал – друг. Сразу единственный друг – и оплот.

В Москве 1918 г. – 1919 г. мне – мужественным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Москве 1918—1919 г. из мужской молодежи моего круга – скажем правду – осталась одна дрянь. Сплошные «студийцы», от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях... и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем.

С Володей я отводила свою мужскую душу.

Сразу стала звать Володечкой, от огромной благодарности, что не влюблен, что не влюблена, что все так по хорошему: по надежному.

А он меня – М. И., так с отчества и не сошел, и прощались по имени-отчеству. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал? Просто: М. И. – никто не звал! Этим отчеством сразу отмежевался – от тех. Меня по-своему – присвоил.

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час с ним стояли в моем переулке, по колению в снегу. Помню поднятую, все выше и выше поднимаемую руку – и имя Фламариона – и *фламарионы* глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб все рос: метели не было, были – звезды, но сугроб, от долгого стояния, все рос – или мы в него вращали? – еще бы

час постояли – и оказался бы ледяной дом, и мы в нем...

О чем еще? Об Иоанне д'Арк – чуде ее явления – о Наполеоне на Св. Елене – о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе – никогда о театре.

И – никогда о стихах. Никогда стихов – я ему. Ни говорила, ни писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим – нужнее. И должно быть – нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему.

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения – уходил. («В уже посветлевшую» – будет потом.)

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток – была его жизнь.

Руку на-сердце положи: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались: Когда придете? и т. д. Но разу не было – за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две. – Значит, вы всегда были дома и всегда одна? – Нет, уходила. Нет, бывали. Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: – Володя! Я как раз о вас думала! – Или: – Володя, если бы вы знали, как я мечтала, чтобы вы нынче пришли! – или просто: – Володя! Какое счастье!

Потому что с ним входило счастье – на целый вечер, сча-

стье надежное и навверное, как любимая книга, на которую даже не надо света.

Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами – ледяными ночами – у окна...

Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала – да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, которое уже знаю, что – послано. (Когда дойдет – дело почты, не мое.)

Сидел – всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз – всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, весь – очертание, весь – отграниченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонясь – то никогда не развалясь, точно за спиной не стена – а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской, и увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе – не то «Гибель Надежды», не то «Потоп» – я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот – может быть впервые увидела его на его настоящем месте: морском и мужском.

От Павлика я уже год слышала, что «Володя – красавец»... – Не такой, как Юра, конечно, то есть *такой же*, но

не *такой*... Вы меня понимаете? – Еще бы! – Потому что Юра так легко мог бы быть – красавицей, а Володя – уж никакими силами...

Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила, как данность, и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он – когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне, не смущая и не заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла – и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом.

С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и может быть и сидела я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренне, и этой создаваемой физической перспективой заменяя ту, внутреннюю, которая у людей зовется будущее, а между мужчиной и женщиной есть – любовь.

Однажды я его, шутя, спросила:

– Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?

Смущенно улыбаясь, прямым голосом: – М. И., на каждом молодом виснут. Особенно на актере. Волка бояться...

А мне всех, всех женщин жаль. Особенно – не так уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. Во всем виноваты.

– А – вы?

– Я (честный взгляд), я стараюсь – исправить.

Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой – с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не выдав. И каждый раз: – Нет, нет, М. И., здесь смеяться нельзя. Даже – шутя. Потому что она – замечательный человек.

Неподдающийся, как скала.

– Она сестрой милосердия была в войну – тоном высшего признания – на войне была.

– А я – не была.

– Вам – не надо, вам – другое надо.

– Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена!

– Нет, не: сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете.

– А что я делаю?

– То, что сделали вы – со мной, и то, что со мной еще сделаете.

– Володя, не надо?

– *Не* надо.

Однажды он мне ее привел. И – о, радость! – барышня оказалась некрасивая. Явно-некрасивая. Такая же ясно-некрасивая, как он – красивый. И эту некрасивую он, за-

балованный (бы) и залюбленный (бы), предпочитал всем, с *ней* сидел – когда не сидел со мной.

Попытка – исправить?

Володя приходил ко мне с рассказами – как с подарками, точно в ладони принесенными, до того – вещественными, донесенными до моего дома – моего именно, и клал он мне их в сердце – как в руку.

Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот, через какой-то срок – птица-победитель возвращается – снижается – и попирая землю вражды, победитель-немец – сбитому французу – венок.

Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи.

Никогда – о театре, только раз, смеясь: – М. И., вы ведь меня не заподозрите в тщеславии? – Нет. – Потому что очень уже замечательно сказано, вы – оцените. У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят – что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю, – молодая ведь, и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: молодость – и старость. Так ведь? Ну, так она нынче говорит мне – я как раз разгримировался, выти-

раю лицо: – Ах, Володечка А-в, какой вы жестокий красавец! – Что вы, Дуня, говорю, – какой я жестокий красавец? Это у нас З-ский – жестокий красавец. – Нет, говорит, потому что у Юрия <<Алексаныча>> красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая мужская еройская. У нас бы на деревне Юрия <<Алексаныча>> – засмеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились.

Вот какой я (задумчиво) – ерой...

– «Красота страшна, быть может...» А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу, я расскажу вам свою историю:

Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну – кто она была, не знаю, должно быть – *все*: и кто-нибудь из детей заболел – она, и сундуки перетрясать – она, и перешивать – она, и яйца красить – она. А потом исчезала. Худая – почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (черных – нет, черные только у восточных – или у очень глупых: бусы) – во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха – ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну – монашка и еще лучше – старая Богородица над сыном. Да так оно и было: у нее – я тогда еще была очень маленькая – был сын Саша, реального училища, он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. –

Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал – а уж умирал совсем. Затрубит пароход: – Вот это мама ко мне едет! (Сиделка потом рассказывала.) А я взаправду ехала – ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил и в поезд посадил, – я ведь в первый раз так далёко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз, как нам пристать, пароход затрубил. А он – привстал на постели, руки вытянул: – Приехала мама! – и мертвый упал...

...Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшинных мопсов рассказывала – всегда с таким лицом. Но теперь – про ту самую жестокую красоту – тоже рассказ, из ее молодости. – Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща, и желтей лимону, и зубы шатаются – я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. Пошла я зачем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла я – он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна – стоит, на занавеску смотрит. Из себя – брюнет, глазищи – воо, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, что ли. И, ей-Богу, на меня похож – глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя на лице – знала. Смотрю – *мои* глаза, мои и есть. Ну, словом – братишка мне. (Я одна росла.) Только – рассказывать-то долго, а поглядеть – коротко, разом я занавеску задернула.

Завтрашний день – опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни

так пошло: следом – как тень и стоит – как пень. Ну, а на пятый, что ли – у меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит, – как выходит он вслед за мной, я – ему: – И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь, потому что я просватана: за богатого замуж выхожу.

А он – весна была, стоит под деревцами, снял картуз, да ни-изко поклонился. И – весь воском залился. А на другой день – я еще сплю – крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут – и я бегу.

И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то *моих* уже больше не видать: закрылись.

...Володечка, а ваша уборщица?

– Нет, М. И., времена другие, сейчас все страшно подешевело. Да я бы... почувствовал бы, если бы – действительно. Нет, выйдет замуж – и будут дети.

– И старшего назовет – Володечка.

– *Это – может* быть.

Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи: он – в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали – явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.

...Теперь я думаю (да и тогда знала!) – Володя был – спутник, и дорога была не друг к другу, а – от нас самих, совместная – из нас самих. Отсюда и простор, и покой, и надежность – и неспешность: спешишь ведь только в тот извечный тупик, из которого одна дорога: назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, и даже – затаптывая, и даже – в землю втоптывая, ногой как лопатой заравнивая.

О моей замороженности – иного слова нет – Ю. З. Володя конечно знал. Но он ее не касался, а может быть она его не касалась. Только, когда я, изведенная долгими пропаданиями Ю. З. (а пропадать он начал скоро: сразу!) равнодушнейшим из голосов: – А как З-ский? – З-ский ничего. Играет.

З-ский был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня – в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним – равенство) – маленькой девочкой, из своего розового изнизу заглядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на башне, – сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой). Он, даже, физически, отвечая об Ю. З., не подымал глаз – так что я говорила с его опущенными веками.

И когда я однажды, прорвавшись: – Володя, вы меня очень презираете за то, что... – он, как с неба упав: – Я – вас – презираю? Так же можно презирать – небо над головой! Но что-

бы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина – в женщине – не может понять. Даже – я, даже – в вас. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания, дело не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, *будучи*. Я женщиной быть не могу. И вот, то небольшое только-мужское во мне не может понять того небольшого только-женского в вас. Моя тысячная часть – вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, ничего в вас не понимающая. З-ский – это ваша общая женская тайна... (усмехнувшись)... даже – заговор.

Не понимая, принимаю, как все всегда в вас – и от вас – приму, потому что вы для меня – вне суда.

– А хороший он актер?

– На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно *быть*, а только являться, представлять, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актера же вы в нем...

– А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знаете – что я всего З., и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами – вот так – вы на том конце, я на этом...

Молчит.

– ...Что если бы мне дали на выбор – его всего – и наше с вами – только-всего... Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатием – как рукой снимаете?

Все еще молчит. – Что я вас *бесконечно* больше...?!
– Знаю, Марина Ивановна.

Долгие, долгие дни...

Это – нет, но:

Долгие, долгие ночи...

Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой поздно, но по существу, конечно – утром: в четыре? В пять? Куда уходил? В какую жизнь? (Без меня.) Любил ли кого-нибудь, как я – Ю. З.? Лечился ли у меня от несчастной недостойной любви? Ничего не знаю и не узнаю никогда.

Я никогда не встречала в таком молодом – такой страсти справедливости. (Не *его* – к справедливости, а страсти справедливости – в нем.) Ибо было ему тогда много-много – двадцать лет. «Почему я должен получать паек, только потому, – что я – актер, а он – нет? Это несправедливо». Это был его главный довод, резон всего существа, точно (да *точно* и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное, во всех случаях – несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое – как золотой шар Храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи Нескучного.

Несправедливо – и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо – и *нет*. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя А. потому так держал-

ся прямо, что хребтом у него была справедливость.

Несправедливо он произносил так, как кн. С. М. Волконский – *некрасиво*. Другое поколение – другой словарь, но вещь – одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как бедный: – это дорого, как делец – это непрактично

—
– так Володя А. произносил: – это несправедливо.

Его несправедливо было – неправедно.

Володя, как все студийцы его Студии, был учеником Стаховича – но не как все студийцы.

– М. И., Стахович учит нас итогам – веков. Дело не в том, что нужно – так кланяться, а в том – почему надо так кланяться, как от первого дикаря к тому поклону – пришли. От раздирания, например, друг друга зубами – до дуэли. Этому Стахович нас не учит (с усмешкой)... у нас времени нет – на *историю* жеста, нам нужен... жест, прямая выгода и мгновенный результат: войду и поклонюсь, как Стахович, выйду – и подерусь, как Стахович – но этому я сам учусь, прохожу его уроки – вспять, к истоку, а вы ведь знаете, как трудно установить истоки Рейна и рода... Для меня его поклон и бонтон – не ответ, а вопрос, вопрос современности – прошлому, мой вопрос – тем, и я сам пытаюсь на него ответить, потому что, М. И. (задумчиво), я... не знаю... ответил ли бы на него сам Стахович? Стаховичу эти поклоны даны были отродясь, это был дар его предков – ему в колыбель. У меня

нет предков, М. И., и мне никто ничего не положил в колыбель. Я пришел в мир – голый, но, хоть я и голый, я не должен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное, платье. Их дело было донести, мое – осмыслить.

И я уже многое понял, М. И., и скажу, что это меньше всего – форма, и больше всего – суть. Стахович нас учит *быть*. Это – уроки бытия. Ибо – простите за грубый пример – нельзя, так поклонившись, заехать друг другу в физиономию – и даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их подумать нельзя – я уже другой человек, поклон этот у меня уже внутри.

После смерти Стаховича он сказал мне: – Я многим ему обязан. Иногда – я молод, М. И., и сейчас Революция, и я часто окружен грубыми людьми – когда у меня соблазн ответить тем же, сказать ему на его языке – хотя бы кулаком – у меня сразу мысль: это не – по Стаховичу. И – язык не поворачивается. И – рука не подымается. Подыметя, М. И., но в нужный час – и никогда не сжатая в кулак!

На похоронах Стаховича – пустыней Девичьего Поля...

Пустыней Девичьего Поля
Бреду за ныряющим гробом.
Сугробы – ухабы – сугробы —
Москва: Десятнадцатый Год...

я среди других его юных провожатых особенно помню Володю, особенную прямоту его стана под ударами и над су-

гробами, ни на шаг не отстающего от учителя. Так мог идти старший, любимый внук.

И – что это? что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражающим чистотой и радостью крестом – черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающее крест – Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было первое ее видение, после того, на сцене, на чтении «Метели», первая встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревевшей и бушевавшей над открытой могилой, куда никак не проходил барский, добротный, в Художественном театре сколоченный, слишком просторный для ямы – гроб. Студийцы, нахмурясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, с ней – лопатами – на-смерть бились, девочка, на коленях посреди сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хрустальный крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками – так, что крест сиял и пылал – в полную метель; без солнца.

– Как мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки, – Марина, вы помните этот ужасный возглас: Батюшка, торопитесь, второй покойник у ворот! – точно *сам* пришел и встал с гробом на плечах, точно сам свой гроб пронес, Марина! – Марина, как мне тогда хотелось, нылось, *вылось* – домой, с вами, отогреться ото всей этой смерти, – все равно куда «домой» – куда-нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на колени – как сейчас держу – и скажу вам все про Юру – и тут же сразу вам его отдам – только что-

бы вы взяли мою голову в ладони, и тихонько меня гладили, и сказали мне, что не все еще умерли, что я еще не умерла – как все они... О, как я завидовала Вахтангу Левановичу, который шел с вами под руку и одно время – положив вам руку на плечо – всю эту долгую дорогу – шел с вами, один, с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда ветром, почти запахивали, так что он мог думать, что это *вы* – его, что идет с вами под одной шубой, что вы его – любите! Я потом ему сказала: – Вахтанг Леванович, как вы могла не позвать меня идти с вами! Вы – плохой друг. – Но, Софья Евгеньевна, я шел с Мариной Ивановной. – Так я об этом именно, что вы шли с Мариной Ивановной! – Но... я не знал, Софья Евгеньевна, откуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти со мной! – Да не с вами, дикий вы человек, а с нею: что *вы* с нею идете – а не я!! Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня комедьянткой и еще чем-то... А я ведь – от всей души. А зато (блаженные жмурые глаза изнизу) – через два месяца – может быть даже день в день – я с вами, и не рядом на улице, а вот так, гляжу на вас глазами, и обнимаю вас руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду, никуда – никогда...

Ново-Девичьего кладбища уже нет, и той окраины уже нет, это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище, но что случилось с его соседом, простым дубовым крестом?

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое окружение «новизной» своих мнений и так же ставя эту новизну в кавычки – усмешки. Старое – но по юному. Старое – но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его не понимали ни ревнителю старого мира, ни нового. Старое – но по-своему, бывшее – по еще никогда не бывшему. Еще и потому ему было так хорошо со мной, и еще в первую встречу у развязно-рукой и-ногой дамы я заметила на его руке большой старинный серебряный перстень – печатку. Позже я спросила: – Откуда он у вас? Ваш, то есть... – Нет, М. И., *не* фамильный – купил случайно, потому что мои буквы: В. А. (Пауза.) А З-ский *свой* начищает мелом. – И не знает, что там написано, потому что он – китайский. А вы не находите, что мелом – как-то мелко? – Я *своего* мелом не натираю, я люблю, когда серебро – темное, пусть будет темным – как его происхождение.

(– «А З-ский – свой»..., то есть – мой, и Володя это – знал.) Этот мел тут же обернулся девятистишием:

Сядешь в кресла, полон лени.

Стану рядом на колени —

До дальнейших повелений.

С сонных кресел свесишь руку.

Подыму ее без звука,

– С перстеньком китайским – руку.

Перстенок начищен мелом.
Счастлив ты? Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

(Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов к нему, которую ему подарила, разбила на: мне нет – удела...)

Юрию З. – серебряный китайский, Павлику А. – немецкий, чугунный с золотом, с какого-нибудь пленного или убитого – чугунные розы на внутреннем золотом ободке: с золотом – скрытым, зарытым. При нем – стихи:

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу – восторг – и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в уголь – и в пепл – и в прах
Тебя – сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь приникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге —
Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,
Один – как Бог в своем железном круге.

(Москва, март 1979 г.)

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подарила ему кольцо!), судьба чугунного – следующая:

Время шло. Однажды приходит – кольца нет. – Потеряли? – Нет, отдал его распилить, то есть сделать *два*. (Павлик, это будет меньше!) Два обручальных. Потому что я женюсь – На Наташе. – Ну, час вам добрый! А стихи – тоже распилили на-двое?

Потом – мы уже видались редко – опять нет кольца. – Где же кольцо. Павлик, то есть полукольцо? – М. И., беда! Когда его распилили – оба оказались очень тонкими, Наташино золотое сразу сломалось, а я ходил в подвал за углем и там его закатил, а так как оно такое же черное... – То давно уже сожжено в печке, на семейный суп. Роскошь все-таки – варить пшено на чугунных военнопленных розах, *мною* подаренных!

О судьбе же Володиного – собственного – речь впереди.

Кроме кольца у Володи из старины еще была – пистоль, «гишпанская пиштоль», как мы ее называли, и эту пистоль я, из любви к нему, взяла в свое Приключение, вручила ее своей (казановиной) Генриэтте:

– Ах, не забыть гишпанскую пиштоль,
Подарок твой!

Потому что эту «пиштоль» он мне на Новый Год принес и торжественно вручил – потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти нравилась и держать ее у себя.

Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь впереди, вернее – тело ее осталось в России, душу ее я в Приключении перевезла через границу – времени и зримости.

К этому Новому Году я им всем троим вместе написала стихи:

Друзья мои! Родное триединство!
Роднее чем в родстве!
Друзья мои в советской – якобинской —
Маратовой Москве!

С вас начинаю, пылкий А-ский,
Любимец хладных Муз,
Запомнивший лишь то, что – панны польской
Я именем зовусь.

И этого – виновен холод братский,
И сеть иных помех! —
И этого не помнящий – З-ский!

Памятнейший из всех!

И наконец – герой меж лицедеев —
От слова *бытиё*
Все имена забывший – А-в!
Забывший и свое!

И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла – и Жорж Занд.

Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль – 1-го января 1919 года.

К этому Новому Девятнадцатому Году, который я вместе с ними встречала, я Третьей Студии, на этот раз – всей, подарила свою древнюю серебряную маску греческого царя, из раскопок. Маска – это всегда трагедия, а маска царя – сама трагедия. Помню – это было в театре – их благодарственное шествие, вроде Fackelzug'a²¹¹, который Беттине устроили студенты.

...Как древняя Сивилла – и Жорж Занд...

Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала – сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов

²¹¹ Факельного шествия (нем.).

– и столько тетрадей стихов! – и столько покинутых стран! Но не замужество, не дети, не тетради, и даже не страны – я *помнить* начала с тех пор, как начала жить, а помнить – стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась —

Эти же были дети – и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой о том, что мне так легко, так ненужно, так само далось – имени.

– О, как я бы хотел славы! Так, идти, и чтобы за спиной шепот: – Вот идет А-ский!

– Да ведь это же *барышни* шепчут, Павлик! Неужели – лестно?! Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, как на собак: – Да, А-ский! а дальше?

Им, кроме Володи, я вся – льстила. Я их – любила. Разница.

Звериной (материнской) нежности у меня к Володе не было – потому что в нем, несмотря на его молодость, ничего не было от мальчика – ни мальчишеской слабости, ни мальчишеской прелести.

Чары в нем вообще не было: норы не было, жары и жара не было, тайны не было, загадки не было – была задача: его собственная – себе.

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страшно, не могло быть тоскливо. А если все это было (и – наверное было), то не мое дело было мешать ему, нежностью, превозмогать холод, голод, страх, тоску: *расти*.

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это *ее* сила, и благословляющей его на все пути. И – все его пути.

Была Страстная Суббота. Поздний вечер *ее*. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але: – Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой – нечего лезть к Богу – как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет – а ляжем с тобой спать – как собаки!

– Да, да, конечно, милая Марина! – взволнованно и убежденно залепетала Аля, – к таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать – бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне.

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему – объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той самой кухней, и еще другими, и из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом дру-

гой, и один другого – выше, так что, выходит – было четыре этажа.

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.

Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы – Аля, Ирина и я – жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а – когда трубы лопнули – и водою, с огромной разлитой плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали – и неизменно сплывали, оставляя все имущество: этот – клейкую бумагу, другой – тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие – френчи и галифе... и все это оставалось – пылилось – и видоизменялось – пока не сжигалось)...

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной Субботы. Аля, как была в платье – спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества... Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы – начинаю четвертую – и столько стихов – и такие хорошие – и ни одна собака...

И вдруг – стук. Легкий, резкий, короткий. Команда сту-

ка. Одним куском – встаю, тем же – не разобравшись на руки и ноги – вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку – на пороге Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

– Володя, вы?

– Я, М. И., зашел за вами – идти к заутрене.

– Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.

Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще *не* воскрес): – Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестнице... – Володя, вы еще здесь? – Голос из столовой: – Кажется – здесь, М. И., я даже себя потерял, – так темно.

Выходим.

Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:

– Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог – дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страха, если бы его увидели...

– Что? Что она говорит? – Володя. Мы уже на улице.

Я, смущенная: – Ничего, она еще немножко спит...

– Нет, Марина, – слабый отчетливый голос изнизу, – я совсем не сплю: так как Бог не мог сам за нами прийти – идти в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя?

– Правда, Алечка.

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри – служат, а снаружи – маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.

Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать – так тонко, где тонко, там и рвется, совсем на волоске – поют, – совсем как тот профессор: «У меня на голове один волос, но зато – густой». Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!.. Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник – в черной карете, сияющий, слабый... И Аля первая подбежала к нему, и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил...

– М. И., идемте?

Выходим с народом – только старухи остаются.

– Христос Воскресе, М. И.!

– *Воистину* Воскресе, Володя!

Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко – не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет – на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

– Алечка, тебе удобно?

– Бла-женно! Я в первый раз в жизни так еду – лежа, точно

Царица Савская на носилках!

(Володя, не ожидавший такого, молчит.)

– Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это – большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога – неприличное!

Подхожу. Она, громким шепотом: – Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!

– Что она говорит?

Аля, приподымаясь: – Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от дьявола, – ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!

– Алечка, успокойся! – Володя. (Мне: – Она у вас всегда такая? – Я: – Отродясь.) – Вот ты уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься...

В его руке темное, но явное очертание яичка.

Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери.

– М. И., Аля у вас крепко спит?

– Крепко. Не бойтесь, Володя, она никогда не просыпается!

Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва-реку. Стоим на какой-то набережной (все это как сон) – смотрим

рим на реку... И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба, неизвестно почему, страшно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или сущее, внутри творящееся?

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-то высматривали и – не высмотрев здесь – переходили на очередную набережную, на очередной мост, точно где-то было определенное место, откуда – нам вдруг все станет ясно во все концы света... А может быть – совместно – со всем этим: Москва-рекой, мостами, местами, крестами – прощались? Мнится мне (а может быть, только снится мне), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлика – отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту Пасхальную ночь 1919 г. вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, в тех же местах – возле-кремлевских.)

А может быть, друг с другом – прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, долгой, многочасовой и повсеместной – ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета – слов этой ночи – я не помню. Вся эта ночь была – жест: его ко мне. Акт – его ко мне.

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято, в нем тверже камня утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности – дружбы, за один час которой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней...

Как это началось? (Ибо сейчас, вопреки тем мостам – начинается.)

Должно быть случайно, счастливым и заранее in den Sternen geschrieben²¹² случаем ее прихода – в его приход.

– Как, Володя, вы – здесь? Вы – тоже бываете у Марины? Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, когда меня нет?

– А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет?

– Я! Я – дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть – есть такие ужасные часы! – готова к кошке залезть на крышу – чтобы только не одной сидеть: не одной умереть, Марина! – Володя, а что вы здесь делаете?

– То же, что вы, Софья Евгеньевна.

– Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете – не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие – мешали.

– Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна?

– Нет, Володечка.

– А мне уйти? (Сонечка, с вызовом.)

– Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти?

Смех.

– Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс!

²¹² Преднарчетанным звездами (нем.).

– Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему:

Beau tenebreux²¹³, вам грустно, вы больны:
Мир неоправдан – зуб болит! Вдоль нежной
Раковины щеки – фуляр – как ночь...

– Фу-ляр? Клетчатый? Синий с черным? Это я его ему подарила – еще тогда – это год назад было? Я отлично помню, у меня был нашейный платок – я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! – и я к нему пришла – а у него флюс – а я обожаю, когда больны! А особенно – когда красивые больны – тогда они добрее... (пауза)... когда леопард совсем издыхает, он страшно добрый: ну, добряк!! – и у него такая ужасно-уродливая повязка – вязаная – нянькина, и я, подумать не успев... Потом – угрызалась: папин фуляр, а у меня от папы – так мало осталось...

– Сонечка, хотите, отберу? И даже выкраду?

– Что вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит!

Володя, созерцательно: – Флюс – это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна.

– Что-о? Дурак!

Володя, так же: – Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы, в наш век...

²¹³ Мрачный красавец (*фр.*).

– Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтеллигентная болезнь!» Точно бывают – интеллигентные болезни. Болезнь, это судьба: нужно же, чтобы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь, это судьба – и всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегодня – кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это – интеллигентно!

– Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком.

– Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком?

– Никогда. Даже во сне, Сонечка.

– Я так и знала, потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы – волшебное, а не интеллигентное. «Интеллигентный человек» – Марина! – это почти такая же глупость, как сказать о ней «поэтесса». Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы!!

– Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я – дурак, а «глупы» – меньше, так что вы... разжижаете впечатление.

– А вы – еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины не видели, вы актер, вам в студии нужно быть...

(Пауза.)

– ...Я не знаю, кто вы для Марины, но – Марина меня

больше любит. Правда, Марина?

(Беру ее ручку и целую.)

– Ну, вот и я говорю – больше. Потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала...

(Володя: – Софья Евгеньевна!!)

...то только из жалости, за то, что вы – мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда сказано: – «Та-та-та-та... Прости мне эти слезы – Убожество мое и божество!» Только – правда, Марина? – *сначала* божество, а потом – убожество! (Чуть ли не плача.) И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина?

Я, целуя другую ручку: – Нет, Сонечка.

– А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась, но внутренне она вас – уже выгнала, как я только вошла – выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места, это – мое место.

– Сонечка, вы сегодня – настоящий бес!

– А вы думали – я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми – как с вами? Ого!! Вам ведь Вахтанг Леванович говорил, что я – бес? Бес и есть. Во всяком случае – бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон?

– Умею, Софья Евгеньевна.

– Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.

Первое попавшееся было Ave Maria – Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо: музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуты прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе слез – ну прямо хлынувших: – Господи Боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это – рай какой-то.

– Ave Maria, Сонечка!

– Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, я думала это «Танец апашей» или по крайней мере – танго.

– Это *мой* граммофон, Сонечка, он *все* умеет. Володечка, переверните пластинку.

Оборот пластинки был – «Не искушай меня без нужды», Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно – явней и полней, произнесенных бы – слышимыми бессмертными баратынскими.

– Марина! Я и это знаю! Это папа играл – когда еще был здоров... Я под это – все раннее детство засыпала! «Не искушай меня без нужды»... и как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, так только *там* говорят, где никакой нужды уже ни в чем – нет, – в раю, Марина! И я сейчас сама в раю, Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю...

– А в раю, Софья Евгеньевна, – тихий голос Володи, – нет

ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что – вины не было... И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.

Сонечка в слезах: – Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить – после такой музыки, одному – после такой музыки, от Марины – после такой музыки... (Пауза, еле слышно) – От меня...

...Я в жизни себе не прощу – своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы – пустой красавец – и туда же к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!

– Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?

– Правда, Володечка.

– Марина! Значит, вы его – *не* любите?

Я, полушутя: – Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах – не могу.

– Меньше или больше, чем Юру?

(Володя: – Софья Евгеньевна!! Она: – Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать – сейчас.)

Я: – Володя мой друг на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. – ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:

– Но – больше или меньше? Больше или меньше?

– Володю – несравненно. – Точка.

– А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.

И – пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться – всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер – ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но известному.

Отъезды начались – с Ирины.

– Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню – вишь она какая чахлая. Да разве раздобреешь – с советского молочка? (Так в 1919 г. в Москве сами дети прозвали – воду.) А у нас молоко – деревенское, и при царе – белое, и без царя – белое, и картошка живая, не мороженая, и хлеб без извешки. И вернется к вам Ирина – во-о какая!

Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними – Сонечка, прибежавшая проститься.

– Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!

Ирина с лукавой улыбкой: – Галли-да! Галли-да!

– Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои – никогда не плакали, чтобы ручки что взяли – не отпускали, чтобы ножки – бегали... никогда не падали...

Ирина, еще никогда не выдавшая слез, во всяком случае – таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.

– Мок-рый... мок-рый... Газ-ки мок-рый...

– Да, мокрые, потому что это – слезы... Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.

– Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной – пешие, за час не дойдем.

– Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, – просто так: – Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню...

Ирина: – Галли-да! Галли-да!

– И Галлиду, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. – И Галлиду (Бог уже! будет знать!) – Няня, не забудете?

– Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомним, еще все уши мне Галлидой прожужжит...

Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: – Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Галлида... (и уже явно дразнясь:) Даллига, Даллига, Даллига...

– Бог с тобой, Ирина! до Бабы-Яги договоришься! – А говорите – забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!

– Ну, прощай, моя девочка! Ручку... Другую ручку... Ножку... Другую ножку... Глазок... Другой глазок... Лобик – и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите – барыня не велела – и всё.

Ну, прощай моя девочка! (Трижды крестит.) Я за тебя то-

же буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!

Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание, 7-го июня 1919 года.

Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлиду еще помнила, как видно из Алиной записи – в ноябре 1919 года.

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее влюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит и поет: Галлида! Галлида!»

– Володечка, вы никогда не были в Марининой кухне?

– Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху.

– Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?

– Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же – но она спала.

– Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?

– Не знаю, Софья Евгеньевна.

– Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины. – Господи, у кого это была *одна* голова?!

– У нас с вами, Софья Евгеньевна.

– Дурак! Я говорю: *одна* голова, без ничего... Ах, это у Руслана и Людмилы! – Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной Дом какой-то... О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это – морское дно, а все гости – чудовища! – и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропиленным коричневым подолом, который – вот – целую! – уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две – Марина, эти все – Марина, потому что я вас, Марина, не вижу – только в замке, только на башне...

– В свободное от башни время я пасла бы баранов...

Володя:

– И слушали бы – голоса.

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило – все. С ней нужно было терпение, незамечание – Володины терпение и незамечание.

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светящаяся Поварская, белая

улица без лавок, похожая на реку, – точно никакого влево у моего дома не было.

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана.

На совершенно пустой игрушечной лунной площади – днем – Собачьей, сейчас – Севильской, где только и было живого, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, двойным серебром: ушным и глазным, – сплошным...

– Фонтан, Марина?

– *Маринин* фонтан, Сонечка! Потому что в этом доме Пушкин читал Нащокину своего Годунова.

– Я не люблю Годунова. Я люблю – Дон-Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое!

И – точно ветром отнесло – волной вынесло – как-то без участия ног – уже на середине площади.

И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку – левую, чуть откинув стан на *его* невидимую левую, чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овеваемая белым платьем и овевая меня им...

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан был – урна, это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти...

Das Mädchen und der Tod²¹⁴.

²¹⁴ Девушка и смерть (нем.).

– Марина, всё у меня уменьшительное, все – уменьшительные: все подружки, вещи, кошки, и даже мужчины, – всякие Катеньки, кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики, теперь – Володечка... Точно я ничего большого произнести не смею. Только вы у меня – *Марина*, такое громадное, такое длинное... О, Марина! Вы – мое увеличительное.

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее отсутствующим, донельзя раскрытым спящим глазам, глазам – первого раза («Разве это бывает – такие метели, любви...»).

Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, насказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети – себя. (А иногда и матери – себя.) И если она на реплики – мою или Володину – отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не *думала* вслух, а вслух – сновидела.

– ... Вот одного я еще никогда не любила – монаха. Не пришлось.

– Фу, Сонечка!

– Нет, Марина, вы не думайте – я не про православного говорю, бородатого, а про бритого: католического то есть. Может быть совсем молодого, может быть уже старого – не важно. В огромном, холодном как погреб монастыре. И этот монах один живет – была чума и все умерли, вымерли, он один остался – творить Божье дело... Один из всего ордена.

Последний. И этот орден – он.

– Софья Евгеньевна, – трезвый голос Володи, – позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть оттого, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден.

– Последний из всего ордена, потому что вымерли *все* монастыри... Две тысячи триста тридцать три монастыря вымерли, потому что это средние века и чума... А я – крестьянка, в белой косынке, и в полосатой юбке, и в таком корсаже – со скрещенными лентами – и я одна выжила из всей деревни – потому что монахи всё вокруг зачумили (о, Марина, я их безумно боюсь! Я говорю про католических: птицы, черти какие-то!) – и ношу ему в монастырь – молоко: от последней козы, которая еще не околела, – просто ставлю у порога его кельи.

– А ваш монах – пьет молоко? – Володя с любопытством. – Потому что ведь иногда – пост...

– ...И вот, я однажды прихожу – вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью – монах лежит – и тут я впервые его вижу: совсем молодой – или уже немножко состарившийся, но *брить* – и я безумно его люблю – и я понимаю, что это – чума.

(Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь.)

– Нет! А то так вся история уже кончилась, и он не успел меня полюбить, потому что когда чума – не до любви. Нет, совсем не так. *Сначала* любовь, *потом* – чума! Марина, как

сделать, чтобы вышло – *так?*

– Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нормальный день. День – много, Сонечка!

– Но почему я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, я не посмею ему сказать, потому что говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает-то он меня только от смертной слабости!

Володя, созерцательно: – Чума начинается с насморка. Чихают.

– Это – докторская чума: чихают, а моя – пушкинская, там никто не чихал, а все пили и целовались. – Так как же, Марина?

– Подите к нему на исповедь: и все сказать должны, и слушать обязан. И не грех, а христианский долг.

– О, Марина! Какой вы, какой вы – гений! Значит, я прихожу к нему в часовню – он стоит на молитве – один из всего ордена – и я становлюсь на колени...

(Володя: – И он на коленях, и вы на коленях? Непластично. Лбами стукнетесь.)

– И он – встает, и я, с колен: – Брат, я великая грешница! А он спросит: – Почему? А я: – Потому, что я вас люблю. А он: – Бог всех велел любить. А я: – Нет, нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога! А он: – О-о-о! Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума! – и вдруг шатается – клонится – и я его поддерживаю, и чув-

ствую, как сквозь рясу бьется его сердце, безумно бьется! безумно бьется! – и так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет – и мы садимся с ним под цветущее деревце – и я кладу его голову к себе на колени... и тихонько ему напеваю... Ave Maria, Марина! И все слабее, и слабее, потому что у меня тоже – чума, но Бог милостив, и мы *не* страдаем. И у меня чудный голос – Господи, какой у меня голос! и уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас – чума! —целый цветущий ход, точно мы женимся! – и мы уже не сидим, а идем, рука об руку, и не по земле, а немножко *над* землей, *над* маргаритками, и чем дальше – тем выше, мы уже на поларшина от земли, уже на аршин, Марина! на целую сажень! и теперь мы уже над деревьями идем... над облаками идем... (Совсем тихо и вопрошающе:)

– А можно – над звездами?

Протирая глаза, от всей души:

– Вот, Марина, и я любила – монаха!

– ...А жить мне приходится с такими – другими! Потому что мой монах сразу все понял – и простил – и исправил, без всяких моих слов, а сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ – лезу, и никто не понимает, даже Евгений Багратионич – с его пресловутой «фантазией»!

Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась. У нас в Студии зашел разговор об образах.

– Образах, Сонечка!

– Нет, об образах. Быть – в образе. Кто в образе – кто нет, и так далее. А я говорю: – А Евгений Багратионыч, по-моему, в образе Печорина. Все: – Вот – глупости! Печорин – это сто лет назад, а Евгений Багратионович – сама современность, театр будущего, и так далее. Я и говорю: – Значит я не поняла, я не про идеи говорила, а про лицо – «и был человек создан по образу и подобию». Потому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина: и нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица.

Я: – Что-о?

Сонечка, кротно: – *То*, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся, все на меня накинулись и даже Евгений Багратионыч: «Софья Евгеньевна, есть предел всему – и даже вашему языку». А я – настаиваю: – «Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки, и никакой обиды нет – раз такие великие писатели...» – «А что, по-вашему, значит геморроидальный?» – «Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, – ну, – геморроидальный». – «Нет, Софья Евгеньевна, это *не* желтый, не желчный, не горький, и не гордый, а это – болезнь». – «Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому я, должно быть, и сказала – Печорин». – «Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой, – неужели вы никогда не читали в газетах?» – «Читала, и еще»... – «Нет уж, пожалуйста – без *еще*, потому что в газетах – много болезней и одна другой неназываете».

мей. А мой совет вам: прежде чем говорить...» – «Но я так чувствовала это слово! Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым – как вы!»

Потом – мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор! А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла вспомнить – кому...

Мне кажется, Евгений Багратионыч так окончательно и не поверил, что я – не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу сказать – а у меня это всегда видно! – так особенно – неодобрительно и повелительно – смотрит мне в рот, – ну, как змея на птицу! Точно его – взглядом – тут же закрывает! Рукой бы зажал – если б мог!

Еще о словах.

– Все у нас говорят: революция... революция... А я не знаю... Только какие-то слова – странные: карточка широкого потребления, точно корабль дальнего плавания, сразу вижу во-оду, и ничего кроме воды... Да ничего кроме воды по ней и нет... А – например: закрытый распределитель? Это совсем глухой старик, наглухо запертый, я ему: – дедушка! а он: – ась? – распредели, пожалуйста! – а он: – э-эх! и так – часами... А еще жагра – слово: точно чума, мор, цинга, а это всего-навсего – морковный чай.

– ...Марина! Почему я так люблю плохие стихи? Так любя

– ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова... В полдневный жар, Марина, – как это жжет! Я всегда себя чувствую и им и ею, и лежу, Марина, в долине Дагестана и раной – дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна...

И в чудный сон душа моя младая
Бог знает чем *всегда* погружена...

Все стихи, написанные на свете, – про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина! Потому я никогда не жалею, что их не пишу... Марина, вы – поэт, скажите, разве важно – кто? Разве *есть* – кто? (Сейчас, сейчас, сейчас зайдет ум-за-разум! Но вы – поймете!) Марина, разве вы – все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать – на-людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому, что вам, Марина, нужно целовать – на *всех* людях, бывших, сущих и будущих, а не на трех-четырёх знакомых. И если я тогда, нечаянно, после той Диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это – слабость, Марина, я просто не могла удержаться – сдержать благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, – и как поэт – и немножко как собака, я хочу сказать, что он не-совсем человек – с *двух* сторон... (И вы, Володя, не в счет: видите – и при вас целую, но вы не в счет – потому что я уж так решила:

когда мы втроем, мы с Мариной – вдвоем... А что при всех, у С-вых – это хуже, но вы так чудно сдали тому фокстерьеру – сдачи, бровью не поведя...) Я вам за всю вас, Марина, целую руку – руки – а вовсе не только за одни стихи, и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется – еще больше! Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы «замечательный поэт», и пуще всего, когда «гениальный». Это Павлик – «гениальный», потому что у него ничего другого за душой – нет, а у вас же – все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть – вы, все ваши стихи – такая чу-уточка, такая жалкая кро-охотка, – вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова – нет. И может быть дела – нет. Но вещи – есть. И все эти вещи – вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая – как мы с Русалочкой, вы все равно были бы – та же: только с зашитым ртом. И я бы вас любила – нет, не: еще больше, потому что больше – нет, а совершенно так же – на коленях.

(Лицом уже из моих колен:)

– Марина! Знаете мой самый большой подвиг? еще больше, чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что *не* сделать еще куда трудней, чем *сделать*: что я тогда, после Метели, все-таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх глаз, – страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом заполучить (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завоевать – все гнуснее!) или разом – *на-*

оборот, страх – вас, Марина, ну, Божий страх, то, что называется – Божий страх, нет, еще не то: страх – повернуть ключ, проглотить яд – и что-то начнется, чего уж потом не остановить... Страх сделать *то*, Марина! «Сезам, откройся!» Марина, и забыть обратное слово! И никогда уже не выйти из той горы... Быть заживо погребенной в той горе... Которая на тебя еще и обрушится...

И просто – страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, и дело, и мысль – одно, и сразу, и одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только... какая-то электрическая молния!

Так о Метели: когда я услышала, ушами услышала:

- Князь, это сон – или грех?
- Бедный испуганный птенчик!
- *Первая* я – раньше всех! —
- Ваш услышала бубенчик!

Вот это *первая* – и *раньше*, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутое – Марина! У меня внутри – все задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться – весь живот и весь пищевод, все те-самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, – точно у меня внутри – от горла и вниз до колен – сплошь жемчуга, и они вдруг – все – ожили.

И вот, Марина, так любя ваши стихи, я бе-зумно, бе-зум-

но, безнадежно, безобразно, позорно, люблю – плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина (за «Очи черные»!), а такие, Марина, которых никто не писал и все – знают. Стихи из Чтеца-декламатора, Марина, теперь поняли?

Ее в грязи он подобрал,
Чтоб угождать ей – красть он стал.
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.

Он из тюрьмы ее молил:
Я без тебя душой изныл!
Она на тройке пролетала
И над безумцем хохотала.

И в конце концов – его отвезли в больницу, и —

Он умирал. Она плясала,
Пила вино и хохотала.

(О, я бы ее убила!) И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она —

За гробом шла – и хохотала!

Но может быть это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видала: чтобы

за гробом шли – и хохотали, – а вы?

Но вы может быть думаете, это – плохие? Тогда – слушайте. О, Господи, забыла! забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню – как кончается!

А граф был демонски-хорош!

.....

А я впотьмах точила нож, —

А граф был демонски-хорош!

Стойте, стойте, стойте!

Взметнулась красная штора:

В его объятиях – сестра!

Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскаленным страшным лицом, а – *граф* был демонски-хорош!

А «бледно-палевую розу» – знаете? Он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей шестнадцать лет, и она в белом платье...

И бледно-палевая роза

Дрожала на груди твоей.

Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане, с военными, и вдруг она его видит!

В твоих глазах дрожали слезы,
Кричала ты: – вина! скорей!
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дни проходили чередою,
В забвеньи я искал отрад,
И вот опять передо мною
Блеснул твой прежний милый взгляд.

Тебя семьи объяла проза,
Ты шла в толпе своих детей,
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он под-
ходит к гробу, и видит:

В твоих глазах застыли слезы...

– и потом уж не знаю что на *ей* —

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дрожала, понимаете, на недышащей груди! А – безумно
люблю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, и блед-
но-палевую розу, и могилу.

Но это еще не все, Марина. Это еще – как-то – сносно, потому что, все-таки – грустно. А есть совсем глупости, которые я *безумно* люблю. Вы *это* знаете?

Родилась,
Крестилась,
Женилась,
Благословились.

Родила,
Крестила,
Женила,
Благословила —
Умерла.

Вот и вся – женская жизнь!
А это вы знаете?

Перо мое писало
Не знаю для кого..

Я:

– А сердце подсказало:
Для друга моего.

Сонечка:

– Дарю тебе собачку,
Прошу ее любить,
Она тебя научит,
Как друга полюбить.

– Любить – полюбить – разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу – непременно гусиное, все изгрызанное, а собачка, Марина, с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами: у меня самой бывают такие глаза.

Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я – серьезно говорю. (С вызовом:) – Лю-би-ме-е ва-ших.

Крутится, вертится шар голубой,
Шар голубо-ой, побудь ты со мной!
Крутится, вертится, хочет упасть,
Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Нет, Марина! не могу! я это вам – спою!

(Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, подойдя и становясь надо мной:)

– Теперь скажите, Марина, вы это – понимаете? Меня, такую, можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто – блаженство. (Речитативом, как спящая:) – Шар – в синеве – крутится, воздушный шар Монгольфьер, в сетке из синего шелку, а сам – голубой, и небо – голубое, и тот на него смотрит и безумно

боится, чтобы он не улетел совсем! А шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, и все монголь-фьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром...

Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Что к этому прибавить?

– А вот еще это, Сонечка:

Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги...

Всё тут вам, кроме барышни – и шара. Но шар, Сонечка, – *земной*, а от барышни он – идет. Она уже позади, кончилась. Он ее *уже* украл и потом увидел, что – незачем было.

Сонечка, ревниво: – Почему?

Я: – А потому, что это был – поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было – иметь.

– А если бы это *я* была – он бы тоже ушел?

– Нет, Сонечка.

– О, Марина! Как я люблю боль! Даже – простую головную! Потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я иногда плакать готова, что у меня никогда не боле-

ли зубы, – говорят, такая чу-удная боль: ну-удная!

– Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу, не сглазить, чертовка! Вы Malibran знаете?

– Нет.

– Певица.

– Она умерла?

– Около ста лет назад и молодая. Ну, вот, Мюссе написал ей стихи – *Stances a la Malibran* – слушайте:

(И меня на Сонечку некоторые слова:)

...Ne savais tu donc pas, comedienne imprudente,
Que ces cris insenses qui sortaient de ton coeur
De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur?
Ne savais-tu donc pas que sur ta tempe ardente
Ta main de jour en jour se posait plus brûlante,
Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur!²¹⁵

...Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 г., на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке «Souvenirs», одновременно и библиотеке, годовой том журнала «Lectures» – 1867 г. – и первое, что я увидела: Ernest Legouve – *Soixante ans de souvenirs – La Malibran* (о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе).

²¹⁵ Разве не знала ты, неосторожная актриса, Что от иступленных криков, которые выходили из твоего сердца, Твои исхудалые щеки запыхают еще ярче? Разве не знала ты, что, касаясь воспаленного чела, Твоя рука с каждым днем становилась все горячее И что любить страдание – значит искушать Бога? (фр.)

«Quoi qu'elle fût l'image même de la vie et que l'enchantement pût passer pour un des traits dominants de son caractère, l'idée de la mort lui était toujours présente. Elle disait toujours qu'elle mourrait jeune. Parfois comme si elle eût senti tout à coup je ne sais quel souffle glacial, comme si l'ombre de l'autre monde se fût projetée dans son âme, elle tombait dans d'affreux accès de mélancolie et son cœur se noyait dans un déluge de larmes. J'ai là sous les yeux ces mots écrits de sa main: – Venez me voir tout de suite! J'étouffe de sanglots! Toutes les idées funèbres sont à mon chevet et la mort à leur tête...»²¹⁶

Что это, как не живая Сонечкина «записочка»?

Встречи были – каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела – еще остаться, последняя остаться, но так как это было бы – не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе – настаивала. – Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас

²¹⁶ Эрнст Легуве. «Шестьдесят лет воспоминаний – Малибран». Несмотря на то, что сама она была воплощенная жизнь и одной из главных черт ее характера было очарование, – ее никогда не покидала мысль о смерти. Она всегда говорила, что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое ледящее дуновение и чувствуя, как тень иного мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную меланхолию, сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед глазами стоят сейчас слова, написанные ее рукой: «Приходите ко мне немедленно! Я задыхаюсь от рыданий! Все мрачные видения столпились у моего изголовья и смерть – впереди всех...» (фр.).

пропаду, и Аля будет голодная – и т. д. Идите, моя радость, ведь день – скоро пройдет!

Мне хорошо и сохранным было их отпускать – в рассвет.

Иногда я их, в этот рассвет до угла Борисоглебского и Поварской, провожала.

– Aimez-vous bien, vous qui m'avez aimee tous deux, et dotes-vous parfois mon nom dans un baiser...²¹⁷

– Марина! А оказывается Володя – влюблен! Когда увидели, что я – в него – потому что я все время о нем говорю: чтобы произносить его имя – мне сразу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе – и даже не допил своего стакана.

Я, когда узнала, сразу ему сказала: – Как вам не стыдно, Володя, ходить к Марине и заглядываться на танцовщицу! Да у Марины из каждого рукава ее бумазейного платья – по сотне гурий и пэри! Вы просто – дурак! И сразу ему сказала, что вам непременно скажу – и он очень испугался, Марина, весь потемнел и стал такой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? «Я всегда думал, что вы *такая* только с М. И., что это *она* – в вас. А теперь я это – знаю». И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам придет – поджатый!

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу:

²¹⁷ Любите друг друга, вы, прежде любившие меня оба, и иногда, при поцелуе, произносите мое имя... (*фр.*).

– М. И., вы должны правильно понять меня с этим рассказом Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали.

– Володя! Разве я вам объясняла З-ского? Есть такая сказка – норвежская, кажется, – «Что старик делает – все хорошо». А старик непрерывно делает глупости: променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу, и так далее, и, в конце концов, кошку на катушку, а катушку на иголку, а иголку теряет у самого дома, когда перелезает через плетень – потому что не догадался войти в калитку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть: лишь бы *ему* – хорошо! и лишь бы *цел* вернулся! – тем более, что я сама способна три минуты глядеть на танцовщицу – только бы она не говорила.

Володя! А как бы противно было, если бы сказку пустить – наоборот, то есть – иголку на катушку, катушку на овцу, и, наконец, лошадь на золото? Ох, паршивый бы старик!

– Поганый бы старик, М. И.! Такими «стариками» сейчас вся Москва полна. От них-то я и...

– ...Нет, М. И., я на нее не «заглядывался». Я на нее – задумался. Вот, мир рухнул, от старого не осталось ничего, а это – вечно: стол – и на нем танцующая пустота, танцующая – вопреки всему, пустота – вопреки всему: всему – *уроку*.

Говорят, – таких любят...

Я, если когда-нибудь женюсь, – то только на сестре милосердия. Чтобы в детях моих текла – *человеческая* кровь.

– Марина, если бы вы знали, как Володя целует, – так

крепко! так крепко! (с лукавой усмешкой) – точно я стена!
У меня сегодня весь день лицо горит.

К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это – последний ему данный шаг *ко мне*, что это – сближение, а не разлука, что, ее целуя, он и меня целует, что он нас всех – себя, ее, меня – нас всех втроем и всю весну 19-го года – в ее лице – на ее личике – целует.

Всякая попытка *словами* – была бы унижение и конец.

А – Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, множа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи, она просто ему – радовалась, невинно – как в первый день земли.

Сидели – так: слева Володя, справа я, посередине – Сонечка, мы оба – с Сонечкой посередине, мы взрослые – с ребенком посередине, мы, любящие – с любовью посередине. Обнявшись, конечно: мы – руки друг другу через плечи, она – в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке и каждому по всей себе, всей любви. Своим маленьким телом уничтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную вёрсту.

Сонечка в нас сидела, как в кресле – с живой спинкой, в *плетеном* кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, как в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на

водах Нила.

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам – все, что умел, все, что «умели» – мы: нашу молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку.

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала – и всю свою молодость.

...Блаженная весна, которой нет на свете...

Так и сказались, на нас троих, стихи Павлика, когда-то – уже вечность назад! – услышанные мною в темном вагоне – от уже давно убитого и зарытого:

Блаженная весна – которой нет на свете!

Которую несут – Моцарт или Россети...

Игрушка – болтовня – цветок – анахронизм, —

Бесцельная весна – чье имя – Романтизм.

Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? По чувству – вечность, но по тому же чувству: одну единую бесконечную быстротечную ночь, и странно: не черную, не лунную – хотя наверное было черно, или наверное была луна – и не синюю от фонаря, который *не* горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, сплошь – рас-

светную, с нашими мерцающими во мгле лицами, а может быть она в памяти осталась такой – по слову Сонечки:

– Марина! Я поняла, да ведь это – Белые Ночи! Потому что я сейчас тоже люблю – двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?

– Потому что не двоих, а – обоих, Сонечка! И я тоже – обоих. И мне тоже «так хорошо». А вам, Володя?

– Мне (с глубоким вздохом) *хорошо*, Марина Ивановна!

– Сонечка, почему вы никогда не носите бус?

– Потому что у меня их нет, Марина.

– А я думала – не любите...

– О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье – коралловое.

– А сказку про коралловое ожерелье – хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульдбранд, и он был рыцарь, и его загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя – дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменялась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей – и я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок – и стал любить ее все меньше и меньше – и влюбился в дочь герцога – Бертальду. И вот они все втроем

поехали в Вену, водою, Дунаем, и Бертальда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем – вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом – цап ожерелье! И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда Рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукою рот, умоляя его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И Рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила – и вдруг вынула – вот это вот!

– О, Марина! Что это?

– Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье.

Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей.

– Марина! Смотри, что я тебе принес!

Из его руки на стол и через край его – двойной водопад огромных, темно-вишнево-винных, полированных как детские губы, продолговатых – бочоночком – каменных виноградин.

– В одном доме продавали, и я взял для тебя, – хотя ты и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь.

– Но что это за камень?

– Кораллы.

– Да разве такие – бывают?

Оказалось – бывают. Но одно тоже оказалось – сразу: *такое* моим – не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, вода ими вдоль щеки и

вдоль них – губами, – губами пересчитывала, перечитывала как четки, – целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец —

– О, Марина! Эти – кораллы? Такие громадные? Такие темные? Это – ваши?

– Нет.

– Какая жалость! Чьи же?

– Ваши, Сонечка. – Вам.

И... не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ – в слово, окаменев, все на свете – даже меня! – забыв, обеими руками, сосредоточенно, истово, сразу – надевает.

Так Козэтта некогда взяла у Жана Вальжана куклу: немота от полноты.

– О, Марина! Да ведь они мне – до колен!

– Погодите, состаритесь – до земли будут!

– Я лучше *не* состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить – такое?

Марина! Я никогда не понимала слово счастье. Тонким пером круг – во весь небосвод, и внутри – ничего. Теперь я сама – счастье. Я плюс кораллы – знак равенства – счастье. И – решена задача.

Сжав их в горсть – точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумно их: пьет? ест? – целует.

И, словом странным именно в такую минуту:

– Марина! Я ведь знаю, что я – в последний раз живу.

Что кораллы были для Сонечки – Сонечка была для меня.

– А что же с тем ожерельем – Ундининым?

– Она его подала Бертальде – взамен *того* ожерелья, а Рыцарь вырвал его у Бертальды и бросил в воду и проклял Ундины и всю ее родню... и Ундина уже не смогла оставаться в лодке... Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете... Но знайте, что это ожерелье – то самое, дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка... мужской благодарности...

С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были – прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука, подавшая, и рука, принявшая, неминуемо расстанутся, как уже расстались – в самом жесте и дара и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых – одних и полных других – рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и взятия, взойдет все пространство.

Из руки в руку – разлуку передаете, льете такими кораллами!

Ведь мы такие «кораллы» дарим – вместо себя, от невоз-

возможности подарить – себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого – отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи сердцем их – боятся: – «Что ты у меня возьмешь – что мне такое даришь?» Такие кораллы – откуп: так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь.

– Марина! Я еду со Студией.

– Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть?

– Далёко, Марина, на все лето.

«Все лето», когда любишь – вся жизнь.

Оттого, что такие подарки всегда дарились на прощание: в отъезд, на свадьбу, на день рождения (то есть на то же прощание: с данным годом любимого, с данным годом любви) – они, нагруженные им, стали собой разлуку – вызывать: из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни: им самим.

Может быть – не подари я Сонечке кораллов...

Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Vas, где-то в угловой, нишей, витрине антиквара – я их увидела. Это был удар прямо в сердце: ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены – внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо, с губами – в цвет: темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях.

Это было – секундное видение. Гляжу – опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком: цифрой в четыре знака.

Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное. Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило.

– Сонечка, стойте, не двигайтесь!

Нырять себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в семьдесят лет – и семь лет назад, не в семьдесят семь, а в семьдесят – и семь, в семьдесят – и в семь. Нащупываю – сновиденно-непогрешимым знанием – нечто давно и заведомо от тяжести свалившееся, оплывшее, осевшее, разлегшееся, разлившееся – целую оловянную лужу шелка и заливаюсь ею до плеч.

– Сонечка! Держите!

– Ой, что это, Марина?

– Стойте, стойте!

И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, а ртутной – с водой убегающей, играющей из-под рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое – от тяжести – осело, второе – от легкости – слетело: с вешалки – как с ветки.

И за первым, осевшим, коричневым, фаевым – прабабушки графини Ледоховской – прабабушкой графиней Ледохов-

ской – не сшитым, ее дочерью – моей бабушкой – Марией Лукиничной Бернацкой – не сшитым, ее дочерью – моей матерью – Марией Александровной Мейн – не сшитым, сшитым правнучкой – первой Мариной в нашем польском роду – мною, моим, семь лет назад, девичеством, но по *крою* – прабабушки: лиф как мыс, а юбка как море —

– А теперь, Сонечка, держитесь!

И на уже погнувшейся, подавленной под тяжестью четырех женских поколений Сонечке – поверх коричневого – синее: синее с алым, лазурное и безумное, турецкое, купецкое, аленько-цветочкинское, само – цветок.

– Марина! – Сонечка, пошатнувшись, а главное ничего не видя и не понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо градероб – грот, а коридор – гроб... (О, темные места всех моих домов – бывших, сущих, будущих... О, темные дома!.. Не от вас ли мои стихотворные «темноты»? – Ich glaube an Nächte²¹⁸).

Проталкиваю перед собой, как статую бы на роликах, остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечку полной тьмой коридора в полутьму столовой: освещавший ее «верхний свет» уже два года как не чищен и перешел в тот свет – из столовой, очередным черным коридором – черным ущельем сундуков и черным морем рояля – в Алину детскую – свет! – наконец-то!

Ставлю ее, шатающуюся и одуренную темными местами,

²¹⁸ Я верю ночам (нем.).

как гроб молчащую – перед огромным подпотолочным зеркалом:

– Мерьте!

Жмурится, как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, неизвестно – рассмеется или заплачет...

– Это – платья. Мерьте, Сонечка!

И вот – секундное видение – белизны и бедности: белого выреза и бедных кружев: оборка юбки, вставка рубашки – секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки – и – в зеленоватой воде рассветного зеркала: в двойной зелени рассвета и зеркала – другое видение: девушки, прабабушки сто лет назад.

Стоит, сосредоточенно застегивает на все подробности его двенадцати пуговок обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола...

Ловлю в ее глазах – счастье, счастья – нет, есть страшный, детский смертный серьез – девушки перед зеркалом. Взгляд – глубочайшей пытливости, проверки всех данных (и неданных!), взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд, длящийся – час?

И, наконец: – Чу-удесно, Марина! Только длинно немножко.

(Длинно – очень, тех злосчастных «битюгов» – и носов не видеть!)

Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, кланяется себе

в зеркале, себе – в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв бока стоящей от тяжести робы – глубокий девичий прабабушкин реверанс.

– Да ведь это платье – бал, Марина! Я – уже плыву! Я и не двигаюсь, а оно уже плывет! Оно – вальс танцует, Марина! Нет – менуэт! И вы мне его дадите надеть?

– А как вы думаете?

– Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спинкой моего стула – какие мы с тем стулом были бедные, Марина! – но и оно не богатое, оно только – благородное, это то, в котором Настенька ходила на «Севильского цирюльника»! еще ее бабушки! (нужно будет вставить!) На сегодня дадите, Марина? Потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол.

– На сегодня – и на завтра – и насовсем.

– Что-о? Это – мне? Но ведь это же рай, Марина, это просто во сне снится – такие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелковое платье: раньше была молода, потом папочка умер, потом – Революция... Блузки были, а платья – никогда. (Пауза.) Марина! Когда я умру, вы в этом меня положите. Потому что это было – первое такое счастье... Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. И бедность. Потому что другого не было. Это же – мне в цвет, мне в *масть*, как вы говорите. Точно меня бросили в котел, всю: с глазами, с волосами, со щеками, и я вскипела, и получилось – это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж

– я знаю, что я *не* выйду, но если – можно мне было бы венчаться – в синем? Потому что – мне рассказывали – теперь даже в солдатском венчаются – невесты, то есть. Будто бы одна даже венчалась в галифэ. То есть – хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказалась – от церковного брака.

Решено, Марина! Венчаюсь – в синем, а в гробу лежу – в шоколадном!

После платьев настал – желтый сундук.

Узнав, что она едет, я с нею уже почти не расставалась – брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. (И откуда-то, из слуховых глубин слово: *regne*²¹⁹. Канада, где по сей день вместо *vie*²²⁰ говорят *regne*, о самой бедной невидной человеческой жизни, о жизни дроворуба и плотогона – *regne. Mon regne. Ton regne*²²¹. Так, на французском канадском эта Сонечкина остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы *regne, la fin de son regne*²²². И меня бы не обвиняли – в гиперболе:

Великий народ, так называющий – жизнь.)

– Ну, Марина, нынче я укладываюсь!

Сижу на подоконнике. Зеленое кресло – пустое: Сонечка

²¹⁹ Царство (*фр.*).

²²⁰ Жизнь (*фр.*).

²²¹ Мое царство. Твое царство (*фр.*).

²²² Царством, окончанием ее мира (*фр.*).

раскладывается и укладывается, переносит, с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, бумажечки, коробочки... Открывает желтый сундук. Подхожу и я – наконец посмотреть приданое.

Желтый сундук – пуст: на дне желтого сундука только новые ослепительно-рыжие детские башмаки.

– Сонечка? Где же приданое?

Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще крупнейшему – от руки:

– Вот! Сама купила – у нас в Студии продавались по случаю, чьей-то сестры или брата. И я купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие толстые... Но нет, Марина, не могу: слишком жёсткие, и опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю жизнь! До гробовой доски! Теперь я их продаю.

Через несколько дней: – Ну, как, Сонечка, продали башмаки?

– Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти и встать – и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками, но, Марина, это такая мука: такие глупые шуточки, и такие наглые бабы, и мрачные мужики, и сразу начинают ругать, что подметки картонные, или что не кожа, а какое-то там их «сырье»... Я заплакала – и ушла – и никогда больше не буду продавать на Смоленском.

А еще день спустя, на тот же мой вопрос: – О, Марина! Как я счастлива! Я только что их подарила. Хозяйской девчонке

– вот радость была! Ей двенадцать лет, и ей как раз. Я думала Алечке – но Алечке еще целых шесть лет ждать – таких морд, от которых она еще будет плакать! А хозяйская Манька – счастлива, потому что у нее и ноги такие – мордами.

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по защитным коленам огромные руки: раки.

– А это, Марина, мой ученик – Сеня. Я его учу читать.

– И хорошо идет?

– Отлично, он страшно понятливый, – да, Сеня?

– Как сказать, Софья Евгеньевна...

– Уже по складам, или пока только буквы?

– Сеня! (Сонечка, заливаясь) Марина Ивановна – потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница – Марина Цветаева, Сеня, запомните, пожалуйста! – Марина Ивановна думала, что я вас *читать* учу, азбуке! Я его читке учу, выразительному чтению... А мы с ним давно-о грамотные, правда, Сеня?

– Второй год, Софья Евгеньевна.

Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это «мы с ним»...

– «Товарищ, товарищ»... А вот меня на улице никто не зовет товарищ, и почти никогда – гражданка, всегда – гражд-

даночка – и сразу всякое такое в рифму. Гражданочка-смугляночка (хотя я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит) – или там: миляночка, а один даже целый стих сочинил:

Гражданочка, гражданочка,
Присядь ко мне на лавочку,
Поешь со мной бараночку!

– а я ему: – «А где бараночка? Обещал – так давай? – „А я это только так, гражданочка, для склада, и никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что Колчак, сволочь, оголодил, а ежели бы время другое – не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал – для ради ваших прекрасных глазок. Потому что глазки у вас, гражданочка...“ И всё эти глаза, эти глаза. Разве они уж правда – такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь, и вообще швейцарам, и еще старикам, и никогда, никогда – интеллигентам?

Я много раз давала ее протяжное – Марина... (О, Мари-ина... Ах, Мари-ина!) Но было у нее другое Марина, отрывистое, каким-то вздрагиванием верхней губы, и неизбежно предшествующее чему-нибудь смешному: «М'р'н'а (вроде французского *Marne*) – а вы заметили, как он, когда вы сказали...» Мое имя, бывшее уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, так сказать открывавшее руладу, с буквами – пузырящимися под губой.

Моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась, им же – смеялась.

Накануне отъезда она принесла Але свой подарок: «Детство и отрочество» в красном переплете, свое, детское с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целой страницей ласкательных имен.

– О, Марина! Как я хотела подарить вам мою «Неточку Незванову», но у меня ее украли: взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидите – купите себе ее от меня на память, в ней все мое к вам, потому что это повесть о нас с вами, и повесть тоже не окончена – как наша...

Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, последний уход – в последний рассвет.

Пустынная площадь – перед каким вокзалом? Мнится мне – перед Богом-забытым, не знаю – Брянским? наверное – деревянным. Мужики, мешки. Бабы, мешки. Солдаты, мешки. А все же – пусто. Отвесное солнце, лазурь – синее того платья.

Стоим – Сонечка, тот солдат, я.

– А это, Марина, моя ученица!

На нас – заглывая ногами по дюжине булыжников зараз – женский колосс, девический колосс, с русой косой в кулак, в синей юбке до колен, от которых до земли еще добрых пол-

сажени, со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными.

И Сонечка, в ответ на мой изумленный взгляд:

– Да, и нам всего шестнадцать лет. И мы первый год как из деревни. На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса!

И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает.

Ученица, вопреки всякому правдоподобию еще покраснев, могучим басом:

– Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на дорогу. (Вздывая могучий мешок.) Цельный месяц – сыты будете.

Перрон. Сонечка уже внутри. Плачет – из вагона прямо на перрон.

– Марина! Марина! Марина! Марина!

Я, уж не зная чем утешить: – Сонечка! Река будет! Орехи будут!

– Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? (Плача.) – Без вас, Марина, мне и орех не в орех!

...Алечку – поцелуйте!

...Мой граммофон – поцелуйте!

...Володечку – поцелуйте!

1

Бесценная моя Марина!

Все же не могла – и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро, – будет, будет, и увижу вас не раз и буду плакать не раз, – но *так* – никогда, никогда —

Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим – серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе, – что он самый дорогой.

– Самая дорогая – вы, моя Марина.

Если я не умру и захочу снова – осени, сезона, театра, – это только вашей любовью, и без нее умру – вернее без вас. Потому что знать, что вы – есть, знать, что Смерти – нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня у Смерти?

Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы – а они двигают шкафы и поднимают тяжести – как безмерно люблю их за это.

Я не знаю, что сказать еще – у меня тысяча слов – надо уходить. Прощайте, Марина, – помните меня – я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас, – Марина, Марина, дорогое имя, – кому его скажу?

Ваша в вечном и бесконечном Пути – ваша Соня Голлидэй (люблю свою фамилию – из-за Ирины, девочки моей).

2

Вещи уложены. – Жизнь моя, прощайте! – Сколько утр встречала я на зеленом кресле – одна с мыслями о вас. Люблю все здесь – потому что вы здесь были.

Ухожу с болью – потому же.

– Марина – моя милая, прекрасная – я писать не умею и я так глупо плачу.

Сердце мое – прощайте.

Ваша Соня.

3

(Але)

Целую Тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня – целую, – до свидания, моя Аля – ведь увидимся?

Наколдуй счастье и Большую Любовь – мне, маленькой и не очень счастливой.

Твоя Соня.

4

20-го июня (7-го старого стиля) 1919 г.

Моя дорогая Марина – сердце мое – я живу в безмерной суматохе – все свистят, поют, визжат, хихикают – я не могу собраться с мыслями – но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи.

Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам, – Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной – вы, Володя, мой Юрочка – даже граммофон – я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», – когда со мной Тот, которого я не знаю еще – и которого никогда не встречу.

Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами (им нельзя запретить улыбнуться!) – а тут я одна – меня обожают деревенские девчонки – но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они тоскуют, одинокие, – ведь даже телеграммы не ходят! – Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете – почему я сегодня в тоске.

Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой:

Баба: – Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку?

Соня: – Да.

Баба: – Тот, что в белых брюках?

Соня: – Да.

Баба: – А что же ты с ним не в одной избе живешь?

Соня: – Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела, – а вот папиросы набивать велит – за тем и хожу только, а он другую взял.

Вечер того же дня.

Баба ловит Вахтангова и говорит:

– Что ж ты жену бросил, на кого променял? Ведь жена-то красавица, – а кого взял? – Не совестно? – Живи с женой!

Ночь того же дня.

Я мою лицо в сенях. Входит Вахтангов:

– Софья Евгеньевна, что вы – ребенок или авантюристка? – и рассказ – бабы.

Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним.

Это пустое все. – Марина, пишите, радость моя – пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. – Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас... Письма к Г-ру – и пусть Володя тоже. – Что он?

– Марина, увозят вещи – надо отнести письмо – не забывайте меня. Прошу, умоляю – пишите.

О, как я плакала, читая ваше последнее письмо, люблю вас. – Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и – если б можно было поцеловать – ваш обворожи-

тельно-легкий голос.

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. – Мой граммофон, – где все это?

Ваш С.

5

(Последнее)

1-го июля (20-го июня старого стиля) 1919 г.

Заштатный город Шишкеев.

– Марина, – вы чувствуете по названию – где я?! – Заштатный город Шишкеев – убогие дома, избы, бедно и грязно, а лес где-то так безбожно-далёко, что я за две недели ни разу не дошла до него. – Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу.

По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. – Такая нежданная радость – ваше письмо. – Боже мой, я плакала и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его.

– Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи:

...И кончалось все припевом:

Моя маленькая!

– Такое изумительное стихотворение. —

– Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий, – так все шумит, что я не могу думать. – Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Леванович едет в Москву – и мне сроку полчаса. – Марина, умоляю вас, мое сердце, моя Жизнь – Марина! – не уезжайте в Крым пока, до 1-го августа. Я к 1-му приеду, я умру, если не увижу вас, – мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас.

– Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте – я не знаю, что еще сказать.

Люблю вас больше всех и всего и – что бы я ни говорила – через все это.

– Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо, – презираю отца, сына и его бездарную любовь к «некоей замужней княгине», – огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. —

Сердце мое, Марина, не забывайте меня.

Ваша Соня.

Дневник пишу для Вас.

По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе:

Целую вас – через сотни

Разъединяющих верст!

Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму, – говорит, это не дело. Еле умолила.

Целую.

Молюсь за вас.

P. S. – Против моего дома церковь, я хожу к утрени и плачу.

Соня.

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось – я вдруг приказала себе поверить, что – ничего особенного, что в ее окружении – все такие.

Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки – как будто – нет, совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот – что попало длинного: карандаш – или зубную щетку – и некоторое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, что – не то взял.

Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой – в какую-то другую деревню... мы несколько раз с ней встретились – но – она была русая и голубоглазая – и вскоре обнаружилось,

что Сонечка совсем ни при чем. Это была – моя знакомая. Моя чужая новая знакомая.

Как в книге – «продолжение следует», здесь продолжения – не следовало.

Продолжение следовало – с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось бы – естественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия, нам это крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, восполнить, восполнить – собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет – как по уговору – без уговору – мы с ее исчезновением между нами – отсели, он – в свой далекий угол, я – на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизилась. Как если бы то, с Сонечкой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне.

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден.

– Это – больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, чем *мне* можно сказать... Когда-нибудь, когда расстанемся... – Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне – вспомните и поймите – меня.

Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя, в ноябре 1937 г., иду в дождь, в Париже, по незна-

комой уличке, с русским спутником Колей – чуть постарше тогдашнего Володи.

– Марина Ивановна! А вот книжки старые – под дождем – может быть хотите посмотреть?

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден.

Теперь – пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то Володино завещание – забыла.

Но – так просто войти в лавку и спросить Мартина Идена? Как Володя когда-то вошел в мою жизнь – сам, как все большое в моей жизни приходило само – или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам.

Так и пришел – ныне, под дождем, по случайному слову спутника.

Так и предстал.

Мне оставалось – только протянуть руку: ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!)

В благополучной лавке – нового неразрезанного Мартина Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина Идена – было бы предательством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торжеством той *la Chose Etablie*²²³, биясь об которую они все трое жизнь отдали.

²²³ Установленного порядка (*фр.*).

А так – под дождем – из-под брезента – в последнюю минуту перед закрытием – из рук равнодушной торговки – так это просто было спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его, действительно, рукой – выручила.

И вот, в конце этой бессмертной книги – о, я того белокурого всадника тоже не искала, и даже не ждала, зная, что предстанет – в свой срок на своей строке! – в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна *одиночеству* в уже двенадцатый его час в мире...

– видение белого, но не всадника: гребца, пловца, тихоокеанского белолицего дикаря стойком на щепке, в котором я того белокурого всадника (никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти) – узнала.

Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю – подтвердил.

Однажды я читала ему из своей записной книжки – 3-ского, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее – и он, с некоторой шутиливой горечью:

– Марина Ивановна, а мне все-таки обидно – почему обо мне ничего нет? о – нас? о – нашем?

...Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему не ревную, но в мире мысли и – как бы еще сказать? Я

сам никогда ничего не записываю – у меня и почерк детский – я знаю, что все – вечно, во мне – вечно, что все останется и в нужной час – встанет, все, каждое наше с вами слово. У меня даже чувство, что я, записывая, что-то – оскорбил бы, умалил бы... Но вы – другое, вы писательница...

– А вы это когда-нибудь, хоть раз за всю нашу дружбу, заметили, Володя?

Он, усмехнувшись: – Другие – говорили...

– Стойте, Володя! А у меня есть про вас – две строки, конец стихов, никогда не написанных:

Если бы царем вас Бог поставил,
Дали б вам прозвание – Тишайший.

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и *там* его слушает. И, с началом усмешки:

– Марина Ивановна. Это я только с вами – такой – тихий.

Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, смущенной, себя – стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз – тех – снисходительных и даже снисходящих, которыми он смотрел, верней несмотрел на меня, когда я заводила о З-ском. Улыбка с почти насильственным сведением расходящихся губ, приведением их на прежнее место – несмеха. Странно, но верно, и прошу проверить: такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с неизменным

отводом, а иногда и зажатием – глаз. Да, у Володи была *детская* улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны.

И еще – такая улыбка (скрытого торжества и явного смущения) бывает на лицах очень молодых отцов – над первенцем: непременно – сыном. Если в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было – превосходство.

Володя, Володя, когда я где-нибудь, на чьем-нибудь лице – двухгодовалого ребенка ли в сквэре, сорокалетнего ли английского капитана в фильме – вижу *начало* этой улыбки – ни сквэра, ни фильма, ни ребенка, ни капитана – то *кончается* эта улыбка – вашей.

И все – как тогда.

Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она – меньше, чем есть, потому что была с ним – меньше, чем есть, потому что всем, что есть – была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было, а оно – кончилось.

Я даже не знаю, писал ли он ей.

Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствовала, что у него к ней – нет ключа, – и чтобы все сказать: он для нее был слишком молод, слишком молод для

ее ребячества, под которым он в свои двадцать лет не мог прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было – молиться, как молиться – такому маленькому, которого, и встав на колени, неизбежно окажешься – и выше, и старше?

Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечкиным голосом, тем вторым одновременным голосом, на отсутствие которого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась.

Сонечка, с граммофоном, с зеленым креслом, с рыжими непроданными башмаками, с *ее* Юрой, с *ее* Володей, и даже с *ее* мною, со всем своим и всей собой, вся переселялась в мою грудь, а я – с нею в груди – вся переселилась в будущее, в день нашей встречи с ней, в который я твердо верила.

Все эти дни без нее – я точно простояла, точно застыла рукой от солнца, как баба в поле – не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу – и вот она все спит, спит, спит, и встает – спит, и ложится – спит, – лишь бы только время прошло! Или – как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут – так я жила ей навстречу, шла ей навстречу – каждым шагом ноги и каждым мигмом дня и помыслом лба – совсем как она, тогда, по шпалам, по направлению к Москве, то есть – ко мне.

О, я совсем по ней не скучала – для этого я слишком ей радовалась!

Вот ее отзвуки – в моей записной книжке тех дней:

«Сейчас предо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. – Марина! Вот облако плывет, – может быть это душа вашей матери? – Марина, может быть сейчас к нашему дому подходит Русалочка, – та, которой было триста лет? (И крестится, заслышав с улицы музыку.) – Марина! Марина! Марина! Как дым летит, Боже мой! Ведь этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть это дым от поезда, в котором едет Сонечка? – Марина, может быть это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?»

...»О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Голлидэй».

«Когда я думаю о приезде Сонечки Голлидэй, я не верю; такого счастья не бывает.

Думаю о ней – опускаю главное – как о новом кольце, как о розовом платье, – пусть это смешно звучит: с вожделением.

Потому что это не Сонечка приедет – а вся Любовь».

«Мечтаю о Сонечке Голлидэй, как о куске сахара: *верная – сладость*».

(Пусть вся моя повесть – как кусок сахара, мне по крайней мере *сладко* было ее писать!)

– Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю на Юг.

– Последний... завтра... Но почему же вы, как вы могли мне раньше...

– Марина Ивановна! – голос настолько серьезный, что даже – остерегающий, – не заставляйте меня говорить того, что не нужно: мне – говорить, вам – слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были – серьезные причины.

– Скрыть от меня – конец? Ходить как ни в чем не бывало, а самому – знать? одному знать?

– Нну, если вы уж решительно хотите...

– Ни решительно, ни нерешительно, я просто – ничего не хочу, Бог с вами совсем! Мне просто – все это – приснилось, ну – лишний раз – *все* приснилось!

– Марина Ивановна! Вы все-таки человек, и я – человек, а человеком быть – это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радости, только радость, было причинять вам эту боль – до срока? Достаточно было – моей.

– Володя, вы твердо решили?

– Уже чемодан уложен.

– Вы один едете?

– Нет, нас несколько. Несколько – студийцев. Потом я от них отделюсь.

– Я вас правильно понимаю?

– Да.

– А – родители?

– Они думают – играть. Все думают – играть. Только – вы. Марина Ивановна, мне здесь больше делать нечего. Здесь –

не жизнь. *Мне* здесь – не жизнь. Я не могу играть в жизнь, когда другие – живут. Играть, когда другие – умирают. Я не актер.

– Я это – всегда знала.

– А теперь забудем и будем проводить вечер как всегда.

И вечер прошел – как всегда, и *прошел* – как всегда, всякий.

В какую-то его минуту, я – как завеса с глаз!

– А Ангел-то были – вы, Володечка!

– Что? (и, поняв, смущенно) – Ах, вы об этом... (И уже – твердо) – Нет, Марина Ивановна, я – не ангел: моя самая большая мечта когда-нибудь стать человеком.

Потом, тем самым, не своим: Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, не мне – голосом:

– Я может быть был слишком честным...

И, еще спустя:

– Карл Великий – а может быть и *не* Карл Великий – сказал: – «С Богом надо говорить по-латыни, с врагом – по-немецки, с женщиной – по-французски...» (Молчание) – И вот – мне иногда кажется – что я с женщинами говорю по-латыни...

(Если я его тогда не обняла... но он не этого хотел от меня – и не этого от себя со мною...)

Перед самым его уходом, но еще в комнате – уже почти светлой:

– Марина Ивановна, вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! Я с первой минуты хотел вам его подарить, и с тех пор – чуть ли не каждую нашу встречу, но все – чего-то – ждал. Теперь оно настало. Это не подарок, Марина Ивановна, это – дань.

– Володя! Это, кажется, первое кольцо, которое *мне* дарят, всегда – я, и (сняла и держу) если я до сих пор вам не подарила – этого, то только потому, что уже дарила и Ю. З., и Павлику, а скольким – до них! Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим – как-то – стали в ряд.

– А *как* я им завидовал! Теперь могу сказать. И Павлику, и З-скому – что с *вашей* руки – и такие прочные! Прямо (смеясь) – сгорал от зависти! Нет, Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите, и я этим – не стану в ряд, в Студии – стал бы в ряд, но там, куда я еду... А если бы даже – в *том* ряду стоять не обидно.

Любуясь: – И щиток – пустой. Для имени. Я так привык его видеть на вашей руке, что теперь моя собственная мне будет казаться вашей. (Держа на отлете.) – А у З-ского – меньше. У З-ского – с китаянки, а у меня – с китайца, с китайского мудреца.

– Самого простого кули, Володечка.

– А если он еще вдобавок и кули... весь социальный вопрос разрешен!

Шутим, шутим, а тоска все растет, растет...

– Володя, знаете для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить – самые большие вещи:

И сохраняют всегда мои дороги —
Твою печать.

Стоим под моими тополями, когда-то еле-зелеными, сейчас – серебряными, и до того серебряными, что ни веток ни ствола не видно.

– Нет, нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз, я еще завтра, то есть – уже сегодня, я еще раз сегодня приду – за карточками детей – и совсем проститься.

Когда он «на следующий день» пришел, и я, впервые после той нашей, уже век назад, первой и единственной дневной прогулки, увидела его при свете и даже – на солнце, я просто обмерла:

– Володя! Да что же это такое? Да вы же совсем не черный? Вы же – русый!

– И даже светло-русый, Марина Ивановна.

– Господи, а я-то целые полтора года подружила с черным!

– Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза – черные? – он, с немножким грусти.

– Нет, сине-серые, это я всегда знала, и с серыми – дру-

жила... Но эти волосы – сон какой-то!

– Марина Ивановна, боюсь, – в голосе под слоем шутки явная горечь, – что вы и все остальное мое видели по-своему! Всего меня, а не только (презрительный жест к волосам) – это!

– А *если* – разве плохо видела?

– Нет, Марина Ивановна, хорошо, даже слишком хорошо, потому и боюсь с вами – дневного света. Вот я уже оказался – русым, а завтра бы оказался – скучным. Может быть – хорошо, что я еду?

– Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпения, из нашего последнего с вами терпения! Потому что сами не обрадуетесь – и еще, может быть, не уедете! У меня полон рот, понимаете, полон рот – и я сейчас всем этим – задохнусь!

– *Не* надо, Марина Ивановна.

Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу на крышу.

– Алечка! У меня к тебе просьба: почитай мне мамины стихи!

– Сейчас, Володечка!

Прибегает с малиновой книжкой, которая у нее в кухне под подушкой.

Серый ослик твой ступает прямо,

Не страшны ему ни бездна, ни река...
Милая Рождественская Дама,
Увези меня с собою в облака!

Я для ослика достану хлеба...

Голосок журчит...

Марина Ивановна, я вам подарок принес! Мою любимую книгу – про Жанну д'Арк – вы не знаете? Марка Твена – замечательную.

Раскрываю: надпись. Не читая – закрываю.

– Марина Ивановна, я всегда хвастался – что у меня свой оружейный склад – свой музей – и своя библиотека – и никому не показывал, потому что у меня были ровным счетом: гишпанская пиштоль, перстень и две книги; Мартин Иден – и эта. Теперь у вас – весь мой арсенал – весь мой музей – и вся моя библиотека. Я – чист.

– Марина! (Алин голос.) А мне можно подарить Володе мой «Волшебный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. Чтобы он *им* читал, потому что они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что деревенские, от стихов, всегда засыпают. Я когда Наде читала стихи, она всегда спала.

Володя, целуя ручку и в ней книжку: – Я не с солдатами еду, Алечка, а с сумасшедшими, говорят – тихими, но сейчас тихих нет, сейчас – все буйные.

– Ну, *они* уж от Марининых стихов – не заснут!

– Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это – наши прощальные голоса.

– Когда ваш поезд?

– Скоро. Мне уже идти нужно.

– А проводить?..

– Нет, Марина Ивановна, я хочу с вами проститься – здесь.

– Теперь посидим перед дорогой.

Садимся в ряд, на узкий диван красного дерева. Аля вслух молится: – Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти на Юге то, что ищет. И потом вернуться в Москву – на белом коне. И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще стоял. Аминь.

Крестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора. На мое извечное движение – идти с ним дальше:

– Не провожайте дальше. Трудно будет идти.

Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или —

Просто, как если бы всю жизнь только это и делал, обнимает меня за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы.

Потом трижды крещу, творю над его лбом, плечами, грудью тот основной = крест его лица.

Отступил: уже за порогом. И через порог, уже без руки:
– Прощайте, Марина (и гору глотнув) – Ивановна.

Милый Володя!

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг.

Володя! Я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У Вас есть Маринина детская книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как читала Вам – я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев и мы опять Вам напишем письма.

Володя. Мне кажется неправдой, что скоро Вас не будет. О, Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно...

Эти напутственные Алины ужасы – не уцелели, потому что тут же послышался Володиный прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я допереписать не успела. Думаю, что следовало описание водворения Володи на киевском вокза-

ле из сумасшедшего вагона – в фургон, как самого опасного из сумасшедших.

На книге о Жанне д'Арк было надписано:

– Мы с вами любим – одно.

Потом было письмо, одно-единственное, в несколько строк.

Письмо кончалось: – Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой верой буду жить.

Потом началось – молчание.

Стук в дверь. Открываю – Сонечка.

Радость? Нет. Удар – такой силы, что еле устаиваю на ногах.

А в ушах – родной поток: – Марина... и что-то еще, и еще, и еще, и опять: – Мар-рина... и только постепенно встают из потока слова: – только час, только час, только час. – У меня только час... У меня с вами только час. Я только что приехала и сейчас опять уезжаю... У нас с вами только час! Я только для вас приехала. Только час!

На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спускающимися.

Сонечка: – Я Софья Евгеньевна Голлидэй, мне вам нужно сказать два слова.

Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим

все на лестничной площадке.

– Гадкие люди! Как вы можете так эксплуатировать женщину, одну, без мужа, с двумя маленькими детьми?!

– Да мы... да мы...

– Вы вламываетесь в кухню, когда она спит, чтобы мыться (фыркая, как три кошки)... под струей! Точно вы от этого чище! Вы продаете ее часы и не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье!

– Но – позвольте... Софья Евгеньевна? – молодой, обидчиво – мы только мокрое чистое развешиваем!

– Ну, чистое – все равно поганое. Потому что есть чердак, с балками, но вам лень туда лезть.

– Но там пол проваливается, балки на голову падают...

– И чудесно, если проваливается... и чудесно, если падают...

– И, в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату – сдала.

– Но вы ей ни разу не заплатили.

– Это потому, что у нас сейчас нет денег: мы не отказываемся...

– Словом, это – бездарно, все ваше поведение с Мариной, без-дарно. И даже преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами – не разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты – и целую мальтийскую шпагу?

– Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае...

– Я знаю, что – сама. А вы – пользуетесь. А если бы ее – расстреляли?

(Отец молчит и тяжело сопит, внутренне со всем согласный.)

– Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если я узнаю, что вы – вы меня поняли? я наведу на вас беду – болезнь – и тиф, и чесотку, и что угодно – я вас просто *прокляну*.

(Нужно сказать, что после этого поляки присмирели, а впрочем, с первыми холодами – съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я – большая дура.)

Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах – слёз.

– Марина, я очень странно себя чувствую – точно я уже умерла и посещаю места... – Марина, а граммофон – еще играет?

– С тех пор не заводила, Сонечка.

– И Володечки нет. Не то, что нет – его ведь часто не было – а вот то, что не войдет... Только неделя как уехал? Жаль...

...Если бы я знала, что все так будет ужасно, я бы может быть не пришла к вам в первый раз?

Это сюда кот к вам лазил, в дыру в окне? Каждую ночь – в котором часу? Марина, может быть это моя смерть была – он ведь валерьянкой пах? – когда умирают, ведь тоже пахнет

эфиром... Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за концом этого всего... Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный – как рассвет? И весь в слюнях? О, какая гадость, Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был *не-кот*, Марина – уже по вашей покорности... А я в эти часы не спала и плакала, ужасно плакала, Марина, по вас, по мне...

...Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, – не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать.

И – мужчина – не верьте. Потому что это всегда туман – или жалость – вообще самозабвение.

Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти и все-таки любила – безумно.

Это, Марина, мое завещание.

...Завещаю вам Юру, он не такой ничтожный, какой *даже нам* кажется, не такой бездушный... Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час, и этот час – ваш – и я не смею просить вас... Марина! Я не смею вас просить, но я буду вас умолять: не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой —хоть думайте... А если зимой встретите (я, конечно, осенью вернусь), скажите ему, но только не прямо – он этого не любит – ну, вы – сумеете! – что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый...

А Володю бы я всю жизнь любила, всю жизнь любила, но он не мог меня любить – только целовать – да и то (чуть рассмеявшись) как-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал так крепко.

У вас чувство – он когда-нибудь вернется?

...И Алечки моей нет... Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского (какое название чудесное!), что я бы такую дочку хотела, такую дочку – хотя я знаю, что у меня их никогда не будет.

Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме? Чтобы все – потерять?

...Который час? Ах, это у вас – в «Приключении» – она все спрашивает: который час? И потом опять: который час? И никогда не слышит ответа, потому что это не «который час», а: когда – смерть? Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть – руками – как реку? Пустить – обратно? Чтобы опять была зима – и та сцена – и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, а – первый раз?

О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! Я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти – отказалась...

Но все-таки – который час, Марина? Это уже я – серьезно. Потому что меня к вам – не хотели пускать, я еле умолила, дала честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале...

Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью – если не поеду? ведь – никто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, которая для меня – все – потому что дала слово в четыре быть на вокзале. А на вокзале – для чего? Кто это все сделал?

– Нет, Марина, не стоит рассказывать и времени уже нет. (Который час, Марина?) Было – как везде и всегда было и будет без вас: – *не было*, я не была, ничего не было. Я сейчас (навзрыд плачет) в первый раз за весь этот месяц – живу, последний час перед смертью – живу, и сколько бы мне еще ни осталось жить, Марина – это был мой последний час.

Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни:

– И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кровати... (Сама себе, потерянно:) – Галли-да, Галли-да...

– Марина, я хочу пройти к вам – с фонарем проститься, с граммофоном... Ах, я забыла – там теперь поляки и «мокрое чистое» белье...

– Марина! Не провожайте меня! Даже на лестницу! Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла: я – по ту сторону порога, вы – по эту, и ваше любимое лицо – во тьме коридора.

Я ведь еду с «второй партией» (смеясь сквозь слезы) – как каторжанка! Сонька-каторжанка и есть. Я не могу после вас – остаться с ними! Я их убью или сама из окна выброшусь! (Тихо, почти шепотом:)

От лихой любовной думки
Как поеду по чугунке,
Распыхтится паровоз,
И под гул его угрюмый
Буду думать, буду думать,
Что сам Черт меня унес...

Марина! Как *ужасно* сбывается! Потому что это сам Черт меня уносит от Вас...

Последние ее слова в моих ушах:

– Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь!

– Ну что, видели вашу Сонечку?

– Сонечку? Когда?

– То есть как – когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот она какая неверная.

«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела... Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоящий напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены их темно-желтого цвета стали пегие.

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять

спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих, или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, какой я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким...»

После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба – цезаревым (смеяться нечего!) – и ты, Брут? – в котором я слышу не укор, а – сожаление, а – снисхождение: точно Брут – лежит, а Цезарь над ним – клонится...

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла – именно как принимают удар: потому что ты – тело, и это тело было по дороге.

До моего отъезда из России – в апреле 1922 года, то есть целых три года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку, три года сосуществования с нею в одной стране я думала о ней, как об умершей: минувшей. И это – с первой минуты вести, с последнего слога фразы: – Была и уехала.

«Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька?»

Обиды не было.

Я знала, что ее неприход – видимость, отсутствие – мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, *отсутствовать* – тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь?

И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности – на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное: отворотить – роковое. (Если я на Сонечку рассержусь и обижусь – то значит она – есть.)

Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она – почему-нибудь не пришла, так – не пришла, *не пришла*.

И чем больше мне люди – сочувствовали: «неблагодарность, легкомыслие, непостоянство» – тем одиноче и глубже я – знала.

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была женщиной – это была бы самая счастливая любовь – а так – мы неизбежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей – и уже мешала – любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как неизбежно предавала и Юру и Володю.

Ей неизбежно было от меня оторваться – с мясом души, ее и моей.

Сонечка от меня ушла – в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину – в конце концов все равно какого – и любить его одного до смерти.

Ни в одну из заповедей – я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь – не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали.

Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова Апостола: «И оставит человек отца своего и мать свою...» Я для нее была больше отца и матери и, без сомнения, больше любимого, но она была обязана его, неведомого, предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог.

Мы же обе шли только против «людей»: никогда против Бога и никогда против человека.

Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце – с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками?

А – вот: так владев – можно было только так потерять.

Читатель, помнишь? – «или уж вместе с пальцем...»

Сонечку у меня оторвали – вместе с сердцем.

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то самое! – и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть – узнала, и брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не: Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла, – Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которой она так провидчески боялась – пропасть.

Ведь все мое чудо с нею было – что она была снаружи меня, а не внутри, не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла,

что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате – была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а – еле совладала, то есть получила в полную меру – моего охвата и отдачи.

Сонечка была мне дана – на подержание – в ладонях. В объятьях. Оттого, что я ребенка подержала на руках, он не стал – мой. И руки мои после него так же пусты.

Каждого подержанного ребенка у нас отбирает – мать. У Сонечки была мать – судьба.

Обида? Измена?

Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне – в последний раз, – вещь того же веса: *всего* существа. И значил он совершенно то же самое.

Так, как Володя – пришел, она – *не* пришла, так же всем существом *не* пришла, как он – пришел.

Сонечкин неприход ко мне был – любовь.

Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня – вселения.

Сонечка не пришла ко мне потому, что бы – умерла, просто изошла бы слезами, от всей Сонечки – только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени.

Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь, Сонечка не пришла – потому что проститься не могла.

Но и по еще одному-другому – не пришла: Сонечка не пришла – потому что *уже* умерла.

Так не приходят – только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь руки только потому, что этого – не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить пустоту – и встретить руку.

Сонечки, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Нет, она никогда мне не была – хлебом насущным: кто – я, чтобы *такое* мне могло быть – хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя *humilite*²²⁴. Не насущным хлебом, а – чудом, а такой молитвы нет: – Чудо насущное даждь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «в поте лица твоего»... Разве Сонечку можно – заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок.

Как Корделия, в моем детском Шекспире, про Короля Лира – о соли, так я про Сонечку – о сахаре, и с той же скромностью: она мне была необходима – как сахар. Как всем из-

²²⁴ Смирность (*фр.*).

вестно, сахар – не необходим, и жить без него можно, и четыре года Революции мы без него жили, заменяя – кто паточкой, кто – тертой свеклой, кто – сахарином, кто – вовсе ничем. Пили пустой чай. От этого не умирают. Но и не живут.

Без соли делается цинга, без сахару – тоска.

Живым белым *целым* куском сахара – вот чем для меня была Сонечка.

Грубо? Грубо – как Корделия: – «Я вас люблю, как соль, не больше, не меньше». Старого короля можно любить, как соль, но... маленькую девочку? Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано: я ее любила, как сахар – в революцию. И всё тут.

Kannst Du dem Augenblicke sagen:
– Verweile noch! Du bist – so schön...²²⁵

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и большее:

Behüt Dich Gott! – es wäرزuschön gawesen,
Behüt Dich Gott! – es hat nicht sollen sein²²⁶.

Было великое поэтическое сослагательное: *бы*, единствен-

²²⁵ Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!» (нем.).

²²⁶ Храни господь! Прекрасно это было, Храни господь! Так быть и не должно! (нем.).

ное поэтическое владение: бы.

Была – судьба. Было русское «не-судьба».

Вспомним слово Царя Давида:

– Человеку от Бога положено семьдесят лет, а что свыше – уже Божья милость.

Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! – *вся* Сонечка, вся трехмесячная вечность с нею уже были этим свыше – человеческого века и сердца.

Мария... Миранда... Мирэй... – ей достаточно было быть собой, чтобы быть – всеми...

Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого Павлика:

Единая под множеством имен...

Для меня – сбылось. Но не только имена обрели лицо.

Вся мужская лирика, доселе безобъектная, или с обратным объектом – самого поэта – ибо быть *ею* всей поэтовой любви, вставить в нее – себя: свое лицо как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт – вся мужская лирика для меня обрела лицо: Сонечкино. Все эти пустоты (ты, она – на всех языках), имеющие дать и дающие только переполненность поэта сердца и полноту его я, вдруг – ожили, наполнились ее лицом. В овальной пусто-

те, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта – Сонечкино лицо оказалось как в медальоне.

Но нет, у Ленау лучше – шире!

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerfüge,
Da mal'ich in die Wetter hin
– O Mädchen! Deine Züge²²⁷.

Все песни всех народов – о Сонечке, всякий дикарь под луной – о Сонечке, и киргиз – о Сонечке, и таитянин – о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов – о Сонечке, все руки – к Сонечке, все разлуки – от Сонечки...

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее не любила, и уже конечно не полюблю, потому что люблю все меньше и меньше, весь остающийся жар берега для тех – кого он уже не может согреть.

Зима 1919 г. – 1920 г. В дверь уже не стучат – потому что больше не закрывается: кто-то сломал замок. Итак, вместо стука в дверь – стук сапог, отряхающих снег, и голос внизу:

– Здесь живет Марина Ивановна Цветаева?

– Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице.

Входит. Чужой. Молодой. Знаю: этого человека я никогда

²²⁷ Взьерошен лес, плывут над землейГрозы громовые распевы.Я этот мир дорисую тобой,Твоими чертами, о дева! (нем.).(Перевод Е. И. Маркович).

не видала. Еще знаю: вошел – враг.

– Я А-в, брат Володи А-ва. У вас нет вестей от брата?

– Были. Давно. Одно письмо. Тогда же.

– У нас – никогда – ничего.

– Всего несколько слов: что надеется на встречу, здоров...

– А с тех пор?

– Ничего.

– Вы мне разрешите вам поставить один вопрос. И заранее меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что – мы были с ним очень дружны, все, вся семья – он тогда, на последнюю Пасху – ушел, пошел к вам, и (с трудом, по-Володиному сглатывая) свой последний вечер провел – с вами... Дружба? Роман? Связь?

– Любовь.

– Как вы это сказали? Как это понять?

– Так, как сказано. И – ни слова не прибавлю.

(Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих.)

Я: – Дайте адрес, чтобы в случае, если...

– Вы не знаете нашего адреса?

– Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала...

– И вы ничего не знали о нас, отце и матери, братьях?

– Я знала, что есть семья. И что он ее любит.

– Так что же это за отношение такое... нечеловеческое?

(Молчим)

– Значит – вы его никогда не любили – как я и думал –

потому что от любимой женщины не уезжают – от – любящей...

– Думайте, что хотите, но знайте одно – и родителям скажите: я ему зла не сделала – никакого – никогда.

– Странно это все, странно, впрочем, он – актер, а вы – писательница... Вы меня, *пожалуйста*, простите. Я был резок, я плохо собой владел, я не того ждал... Я знаю, что так с женщинами не разговаривают, вы были очень добры ко мне, вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но если бы вы знали, какое дома – горе. Как вы думаете – он жив?

– Жив.

– Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет?

– Он – пишет, и вам писал, и много раз – но письма не доходят.

– А вы не думаете, что он – погиб?

– Сохрани Бог! – нет.

– Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он – слава Богу! – (широкий крест) – жив – и что пишет – и что...

А теперь я пойду. Вы меня простили?

– Обиды не было.

Уже у выхода: – Как вы так живете – не запираясь? И ночью не запираетесь? И какая у вас странная квартира: темная и огромная, и все какие-то переходы... Вы разрешите мне изредка вас навещать?

– Я вам сердечно буду рада.

– Ну, дай вам Бог!

– Дай – *нам* Бог!

Не пришел никогда.

Чтобы закончить о Юрии З. Перед самым моим отъездом из России уже в апреле 1922 г., в каком-то учреждении, куда я ходила из-за бумаг, на большой широкой каменной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. Секундная задержка, заминка – я гляжу и молчу – как тогда, как всегда! снизу вверх, и опять – лестница! Лицо – как пойманное, весь – как пойманный, забился как большая птица: – Вы, вы не думайте, вы не поняли, вы не так поняли... Все это так сложно... так далеко-не-просто...

– Да, да, конечно, я знаю, я – давно знаю... Прощайте, Ю. А., совсем прощайте, я на днях уезжаю совсем – уезжаю...

И – вверх, а он – вниз. И – врозь.

О действующих лицах этой повести, вкратце: Павлик А. – женат, две дочери (из которых одна – не в память ли Сонечки? – красавица), печатается.

Юрий З. – женат, сын, играет.

Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой – отдельная повесть, умерла в 1930 г., от туберкулеза, в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю открытку карандашом: – Марина! Моя тоска по Вас такая огромная, как этот слон.

...Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его получила сестра...

Володя А. пропал без-вести на Юге – тем же летом 1919 г.

Ирина, певшая Галлиду, умерла в 1920 г., в детском приюте.

Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России.

Вахтанг Леванович Мчеделов давно умер в России.

Юра С. (давший Але пирожок) умер здесь, в Париже, достигнув славы.

Другой Юра – Н. (с которым мы лазили на крышу) – не знаю.

Аля в 1937 г. уехала в Москву, художница.

Дом в Борисоглебском – стоит. Из двух моих тополей один – стоит.

Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала – лицами.

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, умираю для жизни, – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас – своей.

29 апреля 1922 г., русского апреля – как я тогда просто-народно говорила и писала. Через час – еду за границу. *Всё.*

Стук в дверь. На пороге – Павлик А., которого я не видала – год?

Расширенные ужасом, еще огромнейшие, торжественные глаза. Соответствующим голосом (голос у него был огромный, странный – в таком маленьком теле), но на этот раз огромнейшим возможным: целым голосовым аидовым коридором:

– Я... узнал... Мне Е. Я. сказала, что вы... нынче... едете за границу?

– Да, Павлик.

– Марина Ивановна, можно?..

– Нет. У меня до отъезда – час. Я должна... собраться с мыслями, проститься с местами...

– Но – на одну минуту?

– Она уже прошла, Павлик.

– Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать (глубокий глоток) – Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной *не* с вами...

(У меня – волосы дыбом: слова из Сонечкиного письма... Значит, это она со мной сейчас, устами своего поэта – прощается?!)

– Павлик, времени уже нет, только одно: если вы меня когда-нибудь – хоть чу-уточку! —любили, разыщите мне мою

Сонечку Голлидэй.

Он, сдавленным оскорблением голосом:

– Обещаю.

Теперь – длинное тирэ. Тирэ – длиной в три тысячи верст и семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней.

Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевию'скому парку – Observatoir'e. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студией Вахтангова. У него уже две дочери и (кажется?) сын.

– А... моя Сонечка?

– Голлидэй замужем и играет в провинции.

– Счастлива?

– Этого я вам сказать не могу.

И это – все.

Еще тирэ – и еще подлиннее: в целые десять лет. 14-ое мая 1937 г., пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, ныне двенадцатилетним, к нашему метро Mairie-d'Issy и приблизительно у лавки Provence он – мне, верней – себе:

– А American Sunday это ведь ихнее Dimanche Illustre!²²⁸

– А что значит – Holiday?

– Свободный день, вообще – каникулы.

²²⁸ Иллюстрированный воскресный выпуск (*фр.*).

– Это значит – праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть – больше всех. Я думаю – больше всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену!

Он, возмущенно: – Ма-ама!

– Я не говорю: *эту* жену, она уже теперь немолодая, она была года на три моложе меня.

– Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться.

– Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. Впрочем – *таких нет*, так что ты можешь успокоиться – и вообще никто ее не достоин.

– Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что *вы* знаете, – вы конечно можете мне рассказать...

– Но тебе ведь – неинтересно...

(Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с американскими Микэями:)

– Нет, очень интересно...

– Мур, она была маленькая девочка, и, – ища слова, – и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы... (У Мура – невольная гримаса: «*au temps des cheveux et des chevaux*»)²²⁹ ...и она была такая маленькая... куда меньше тебя (гримаса увеличивается) – потому что ты уже больше меня... (соблазняя) и такая храбрая: она обед носила юнкерам под выстрелами в Храм Христа Спасите-

²²⁹ Во времена кос и лошадей (*фр.*).

ля...

– А почему эти юнкера в церкви обедали?

– Не важно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощанье сказала: – Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы *есть* – все хорошо. Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела... (Мур: – Фу, мама!) Она мне писала письма, и в одном письме, последнем: – Марина! Как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают пуды...

– Ну, это уж – романтизм! Почему – целуемы?

– Потому что... потому что... (*prenant l'offensive*)²³⁰ – а что ты имеешь на это возразить?

– Ничего, но если бы она например написала (запинка, ищет)... которые должны только нюхать цветы...

И поняв, сам первый смущенно смеется.

– Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет ноздрей, Мур?

(Смеемся оба. Я, дальше:)

– И еще одно она мне сказала: – Марина! Знать, что вы – есть – знать, что смерти – нет.

– Ну, это конечно для вас *flatteur*²³¹.

– При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни – и сейчас шла бы...

²³⁰ Принимая наступательный тон (*фр.*).

²³¹ Лестно (*фр.*).

и сейчас идет, да только никто не берет!

– Да, да, конечно я понимаю, но все-таки...

– Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, потому что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так...

Мы у метро, и разговор кончен.

Маленькое тирэ – только всего в один день:

15-ое мая 1937 г., суббота. Письмо из России – авионом – тяжелое. Открываю – и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй – и уже знаю.

А вот *что* я – уже знаю:

«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки Голлидэй, Вашей Сонечки – но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени – без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива...»

А вот – вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонечкиной подруги – Але, Алей записанный и мне посланный:

«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы – с 1924 г. до смерти – Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто.

Мы все ее уговаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил К-в, он вообще мягкий и добрый человек, но помочь ей никак не сумел. Кроме того, у него очень ревнивая семья, и Соне трудно было бывать у них. Тяжело... С З-ским она почти не виделась. Редко, редко. С.? Одно время он очень увлекался ею, ее даром, но его увлечения длятся недолго.

Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, конечно – труднее. В провинциальных театральные коллективах она была ну... ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой – она одна на сцене – представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр! А если бы Вы знали, как она играла – нет, не только в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала главным образом в провинции) – но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужаснейшие желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять за грелку.

– Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору?

– Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло.

Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, одни глаза, а все лицо – очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала, и даже когда смотрелась в зеркало – не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее конечно скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и говорила: – Это ехать в гроб! – Это гроб! – Но в больнице она успокоилась и повеселела и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней.

К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной палате). Ей принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала: – А теперь я буду спать. – Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла.

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не

было в Москве. Сестра наверное помнит. Мне кажется – под вечер. Когда же это было? Летом, да. Летом. Тогда прилетели Челюскинцы.

Она так, так часто вспоминала Вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, никогда ее не забывала.

...После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас – неизвестно.

Соню – сожгли».

«Когда прилетели Челюскинцы...» Значит – летом 1934 г. Значит – не год назад, а целых три. Но год – или три – или три дня – я ее больше не увижу, что – всегда знала, – и она никогда не узнает, как...

Нет! она навсегда – знала.

«Когда прилетели Челюскинцы» – это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»... явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение – точного часа и даты?

Ведь и начало наше с нею не – такого-то числа, а «в пору первых зеленых листиков...».

Да, меня жжет, что Сонечку – сожгли, что нет креста – написать на нем – как она просила:

И кончалось все припевом:

– Моя маленькая!

Но – вижу ее в огне, *не* вижу ее – в земле! В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было:

Ja! ich weiss woher ich stamme:
Unersättlich wie die Flamme
Nähr ich und verzehr ich mich!
Glut wird alles, was ich fasse,
Kohle – alles, was ich lasse, —
Flamme bin ich sicherlich!

Знаю я – откуда родом!
Точно огонь – ненасытимый,
Сам себе я корм и смерть.
Жар – все то, что я хватаю,
Уголь – все, что я бросаю,
Я воистину огонь!

Жжет, конечно, что некуда будет – если это будет – будет – прийти постоять. Не над чем. Что Сонечки нет – совсем. Даже ее косточек. Но Сонечка – и косточки... нет!

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти...

Первое, что я о ней слышала, было: костер, последнее: сожгли. Первое, что я о ней слышала, было: костер, и последнее: костер.

Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павли-

ка:

...Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
– *Твои* глаза...

– Ведь Инфанту – жгли, а Карлик – глядел: на нее, вечно-молодую, сжигаемую, несгораемую – поседевший, поумневший Карлик Инфанты!

Моя бы воля – взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой (мне еще сужденной) высокой горы – на все концы земного шара – ко всем любимым: небывшим и будущим. Пусть даже – с Воробьевых гор (на которые мы с ней так и не собрались: у меня – дети, очереди... у нее – любовь...)

Но вдруг я – *это* делаю? Это – *делаю*? Ни с какой с горы, ни даже холма: с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел – вам всем в любовь, небывшие и будущие?

...А теперь – прощай, Сонечка!

«Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

Ласапаи-Осеан, лето 1937 г.

Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)

*О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло,
Моя напасть, мое богатство —
Мое святое ремесло!*
Каролина Павлова

Уличка

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не домб, а горы, старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода – не гора, гора – так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше – теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы – ведь и имя есть, и номер есть! – проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И – назад – искать. Но уличка уклоняется – уклончивость ущелий! спросите горцев – мечусь, тычусь – она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором – с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, нет, просто – улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть

мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь, Сена? Где — что? И относительно какого *что* это *где*?

И вдруг – чудо! – быть не может! может, раз есть! неужели – она? как же не она – оно – теснина – ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто – всегда была.

Вхожу. Вся улочка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой – звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой).

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, – только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, *то* за решетками. Но – в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключаящее – воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер – живет, может ли ветер жить, жить – это где-нибудь, а ветер везде, а везде – это *быть*. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его следам – уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в один из своих приходов – одним из своих прохождений – поднял он и навеки приковал к месту. Место, где вещь – всегда, и есть местопребывание – какое чудесное, кстати, слово, сразу да-

ющее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяженное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А – живет! И ветер живет. На конце той улочки, чтобы лучше дуть в лицо – там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра – приморский. «Пахнет морем», нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный – морской, и степной – морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней – море, за-пустыня, за-степь. – Ибо море здесь как единица меры (безмерности).

Каждая улочка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра. Ветер в моей улочке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть – молодеющие с каждым мигом – всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет – изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер – символ бесформенности – на мой взгляд сама форма движения. Содержание – путь. Этот стар, – летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого улочка, а может быть только его слуги. (На расстоянии – скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья

будет еще старее, очень уже стары дома.

Перед одним из таких – стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А незабвенны на этой уличке – все. Если современные неотличимы из-за общности, старые – из-за особенности. Какая примета моего? Особый. Все – особые. Общность особенности, *особь* особенности. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает – даже 13! – ибо на всю уличку один фонарь, *не* против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня – есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди *дом!* Недробимость.

Но – найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора – сразу, а во всей горе – вся сплошь – Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаваться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои

люди», для которых – неблагодарность любимых: – стараться не стоит. Одним дана вера, другим – чудеса.

И – чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы – именно привратницы: при вратах, да еще каких! – которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне... Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, – всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или – так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упруешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь – коня потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли.

Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты – гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты – гору. Я – утес, ты – ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... – проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость лаза в ущелье. Сверху течет – вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я – не знаю. Знаю только: под рукой – бока, а под ногой – река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча...

Лестница. Ступени – ибо надо же как-нибудь назвать! – деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор – великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь – кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты – ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети...) Дерево ступеней оковано – окантовано железом. Если взглядеться – а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве – ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них – времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал – окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, – глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) – последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла – след привнес. Наслоение шагов, как на стене – теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, привносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, *не* перестаивающим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяйева – так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время – конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число – 9-ое ноября 1928 г. – крайний час и миг этого дня. На данную секунду – конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Мастерская

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака – весь свет, всей стиснутости – весь простор. Не было бы крыши – пустыня. Так – пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд – верста, на стих – конца нет... Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света – тот.

Рабочий рай, *мой* рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте – в тишине – с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто – просторно, просторно – покойно. Покойно – светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит *чего* (как «могло бы» – есть). – А вот у Маяковского рай – со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, есть – справа – стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и *доходит* гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, лющейся. Шелк или нет – желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дерево – камень. (Преосуществление исконного материала)

ла: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево – ко-
стью, глина – медью, лица старух и мертвых – всем, чем угод-
но, кроме плоти.) Не деревянная и не каменная, равно как
третья, с которой сходится стена холстов (холсты лицом *от*)
– стена крестов. Деревянных крестов подрамников. То же,
что булыжники двора, что кубы лестницы, есть до неба, есть
по пояс (только пробелов нет, ни одного «ничего!») – тоже,
может быть, те же великаны играли и, *доиграв*, составили к
стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные силы, сила
одна, игра – одна. Все дело в мере. Стихия, играя, не доиг-
рывает и переигрывает:

Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей...

Ряд оконченных холстов – творчеством доделанная сти-
хия творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизни
Натали Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом к стене –
от глаз. Дней седьмых – в прошлом, никогда в настоящем.
Творящее творение тем отличается от Творца, что у него по-
сле шестого сразу первый, опять первый. Седьмой нам здесь,
на земле, не дан, дан может быть нашим вещам, не нам.

Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то
пол – совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уже о бес-
предметности его (ничего, кроме насущного ничего) – физи-
ческое ощущение песка, от стружек под ногами. А стружки

от досок, строгаемых. Не стружки даже, – деревянная пыль, пыльца, как песок, осуществляющая тишину. Что тише земли? Песок. (Знаю и песок поющий, свистящий под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежий океана, но – тишина не отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов – шум крови в ушах (комариное з-з-з), ветра в листве, в данную минуту, когда стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении – огромной печке, тепловом солнце этой пустыни.) Пустыня и – оазис! Справа, вдоль стеклянной стены, вся песчаная полоса – в цветном! Вглядываюсь ниже – глиняные миски с краской: из той же коричневой чашечки – каждый раз другой цветок! Цветы, как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках: все круглые, плоские, одни по краям, другие на самом доньшке – не один оазис, а ряд оазисов, маленьких цветных островков, морец, озерце. Моря для маленьких, моря с блюдце. Из таких доньшек – такие громады (холсты). Все в этом деле нечеловеческое: божеское!

Пещера, пустыня и – не сон же все эти глиняные горшки и миски – гончарня. Как хорошо, когда *так* спевается!

В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором, одним из бесчисленных коридоров старого дома – Парижа. А мастерская – по жару – плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непре-

рывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавало. Помню льющийся пот и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой – совершенное видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую жару есть нельзя (пить – зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, можно только – единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно – работать. И плавить не стекло, а лбы.

Помню, в этот первый раз – где-то сбоку – площадку, которая затем пропала. Под ней косяки крыш – один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней – одно из гончаровских солнц, отвесных – и я под ним. Жарче – лучше – мне в жизни не было. Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас, в январе, так же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним.

Пещера – пустыня – гончарня – плавильня.

Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками художник – дом в одну краску: времени, зачинатель новой эпохи в живописи – дом, где этажи считают эпохами, едва ли не современнейший из художников – дом, современники которого спят вот уже чetyреста лет. Гончарова – развалины, Гончарова – дом на снос. «Льготный контракт»?.. Необычайные даже для мастерской размеры помещения?.. Латинский квартал?.. Да, да, да. Так скажут знакомые. Так скажет – кто знает – может быть, сама

Гончарова. А вот что скажет дом.

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед моим сном – самым бодрствующим, страх перед моими веками – самым молодым, страх перед моим бывшим – самым будущим! «Темен – освещу, сер – расцветчу, тих – оглашу, ветх – укреплю...»

Или же: «Темен – подгляжу, тих – подслушаго, стар – поучусь».

Или же: тишину – тишиной, сон – сном, века – веками веков.

Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолевать.

Первое – ребенок, второе – ученик, третье – мудрец. Все трое вместе – творец.

Сила на силу – вот ответ старого дома.

Еще один ответ: самосохранение Гончаровой-художника. Пресловутая «Tour d'ivoire»²³² на гончаровский лад. Дом – оплот (недаром в один цвет: защитный – времени). Сюда не доходят шумы, и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» – это такой улицей, таким двором, такой лестницей-то – в гости? Переборет этот страх и мрак только необходимость. (В гости ходят не так к знакомым, как к их коврам, полам...)

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. Останутся.

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжни-

²³² Башня из слоновой кости (фр.).

ках двора, расселинах стены, провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой, с ее великанскостью творчества, – упрек одного критика: «Да это же не картины, это – соборы!» – этот дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К этому дому, такому, как он сейчас есть, будто бы и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаровой, – никакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост.

У Гончаровой есть сосед: маленький французский мальчик, обожающий рисовать. «Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: „Bonjour, Madame!“ – и сейчас показывать. – Сте-режет. – Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может быть, что-нибудь и выйдет...»

Случайность? Такая же, как Гончарова и дом. Как Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 8, и Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 7, к которым сейчас вернусь. О мальчике же: если бы мальчик знал, – кто эта «Madame», и если бы Наталья Гончарова через двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот мальчик...»

Трехпрудный

Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике черными буквами по, выдавшему виды, дереву.

– Трех... то есть как Трехпрудный? – Переулочек такой в Москве, там у нас дом был. – Номер? – Седьмой. – А мой – восьмой. – С тополем? – С тополем. Наш дом, цветаевский. – А наш – гончаровский. – Бок о бок? – Бок о бок. А вы знаете, что ваш дом прежде был наш, давно, когда-то, все владение. Ваш двор я отлично знаю по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она не хотела, качалась на качелях... – На нашем дворе? – На вашем дворе. – В этом доме я росла. – В доме рядом я – росла.

Бабушка, качающаяся на качелях! Бабушка, качающаяся на качелях, потому что не хочет женихов! Бабушка, не хотящая женихов, потому что качается на качелях! Бабушка, от венца спасающаяся в воздух! Не чепец кидающая в воздух, а самое себя! Бабушкины женихи... Гончаровой – бабушки женихи!

Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, что живу десятую жизнь, не считая знаемых мною – отца, матери, другой жены отца, ее отца и матери, – а главное, какой-то прабабки: румынки, «Мамаки», умершей в «моей» комнате и перед смертью вылезшей на крышу – кроме всех знаемых – все незнаемые. Сила тоски в тех стенах! И когда

я, пятнадцать лет, от жизни: дружб, знакомств, любовью спасалась в стихи!..

Мои пятнадцатилетние стихи – не гончаровской ли бабушки качели?

Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом с другой, до чужого деда с чужой бабушкой, до моих собственных до-до-до – здесь было, было, было!

И, шестнадцать лет, стих:

Будет скоро тот мир погублен!
Посмотри на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций,
Цвета пепла и серебра.

И еще тогда же:

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд, и пели петухи...
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.

Этих стихов нигде нет – что знала, то сказала, – и дома

нигде нет. В первый раз, в Революцию, я, держа на вытянутых руках свою, четырехлетнюю тогда, Алю, увидела в окна залы рабочих, хлебавших деревянными ложками воблиный суп, в последний раз – с той же Алей за руку – да где же дом? Закрываю глаза – стоит. Открываю – нет. Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левенсон – наперекосок от бывших нас, – где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю²³³.

В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое – не все помню, но что помню – свято:

Как в одной из стычек под Нешавой
Был убит германский офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Где уж было, где уж было
Хоронить врага со славой!

²³³ Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которую я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова – та», оказалась отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 9, т.е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова печатала свою первую книгу (*примеч. М.Цветаевой*).

Лег он – под канавой.
А потом – топ-топ-топ —
Прискакали скакуны,
Встали, вьются вокруг канавы,
Как вьюны.
Взяли тело гера,
Гера офицера
Наперед.
Гей, наро-ды! Становитесь на колени пред канавой,
Пал здесь принц со славой.

...Так в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий, ихний, младший принц.
Неприятельской державы
Славный принц.

– Был Чурилин родом из Лебеядни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебеядми, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: *illustrer*: ознаменничивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл (ознаменничивать) – оскорбителен для автора, возь-

мем ходовое понятие – для художника ²³⁴. Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть – первично. *Wie ich es sehe*²³⁵ Словом – никогда без. Германии не обойдусь – немецкое *nachdichten*²³⁶, которым у немцев заменен *перевод* (сводной картинке на бумагу, иного не знаю). Стихи Чурилина – очами Гончаровой.

Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот экз<<емпляров>>. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может – умру,
Наверно воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, ко-

²³⁴ Есть еще одно значение, мною упущенное: *lustre* – блеск и *lustre* месячный срок («*douze lustres*»), т. е. тот же блеск; месяц. Откуда и люстра. Откуда и *illustre* (славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от светила. *Illustrier* – придавать вещи блеск, сияние: *осиявать*. Перлюстрировать – просвечивать (как рентгеном) (*примеч. М. Цветаевой.*).

²³⁵ Как я это вижу (*нем.*).

²³⁶ Переводить вольно (*нем.*).

торуую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные стволы. По снегу – человечек. Не бессознательный ли отзвук – мой стих 1916 г.:

...На пригорке монастырь – светел
И от снега – свят.

– Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. Что побудило Гончарову, такую молодую тогда, поклониться над этой бездной? Имени у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не польстилась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась – и виделась – закинутая голова.

(Голова с заносом,
Волоса с забросом!)

Это имя – оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я – в прошлом уже! – 1928 году летом – впервые увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы – для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову – клонит.

Но одно осталось – с забросом.

Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. –

Настоятельница монастыря. – Молодой настоятельница. Прямота черт и взгляда, серьезность – о, не суровость! – всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка – прелестная.

Платье, глаза, волосы – в цвет. «Самый покойный из всех...» Не серый.

Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы – почти скольжение. То же с голосом. Тишина не монашенки, всегда отдающая громами. Тишина над громами. За-громная.

Жест короткий, насущный, человека, который занят *делом*.

– Моя первая встреча с Вами через Чурилина, «Весна после смерти».

– Нет, была и раньше. Вы не помните?

Гляжу назад, в собственный затылок, в поднебесье.

– Вы ведь в IV гимназии учились?

– И в четвертой.

– Ну, вот. Вы, очевидно, были в приготовительном, а я кончала. И вот как-то после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугаячьим носом, – «За Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки?» Я взяла Вас за руку, и мы пошли.

– И мы пошли.

Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом.

Четвертая гимназия. Красные иксы балюстрады вокруг пруда-»прудов» – Патриарших. Первый гимназический год, как всё последующее, меняла школы, как классы и города, как школы – без друзей, с любовью к какой-нибудь одной, недостижимой, ибо старшей, – с неизменным сочувствием все тех же трех учителей – русского, немецкого, французского, – с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, восемь лет, иду за руку с Натальей Гончаровой.

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, а другую, Цветкову, напр<<имер>>. Или мою старшую сестру – тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но *та* не помнит, а я помню. Но *ту* не помнит, *меня* помнит. Значит – я. Значит – мое.)

Младенчество

Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ<<ернии>>, деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чермь – беседа Ивана с Алешей. Растет с братом – погодком в имении бабушки. Бабушка безвыездная: ни к кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось – ожеребилось – родилось, что у кого болит – чем это что лечить. Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье – прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это – отзвук в быту. И – обратный урок колыбели: недостроенное – достраивай! Законченные «соборы» Гончаровой – *нет* всем недостроенным домам.

– У вас есть любимые вещи? – Нелюбимые – есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, какой-то нужный час – лицом от стены и – все заново.

На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные

не отвечают вовсе, не потому, что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» ушами слышала) – Гончарова ответила точно и сразу:

– Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я Вам говорила, – белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Гуда? Два.

– А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять должно быть водили, – ничего. А это помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из луж (голос тишает, глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): – из-под льда и снега – ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие.

Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, вся Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок мно-ого! И не эти ли острые ростки – потом – через всю книгу ее творчества: бытия.

– Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила – садики делать. (Вообще любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки – ограда. Законченный сад.

– Вам бы не хотелось сейчас – такое деревцо, тогдашнее?

(Голубово, имение барона Б. А. Вревского. «В устройстве

сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)

– Вы говорите, первое воспоминание. А вот – самое сильное, без всяких событий. Песня. Нянька пела. Припев, собственно:

А молодость не вернется,
Не вернется опять.

– А знаете, в чем дело? В противозаконном «опять». Если бы во-век – не то было бы, не все было бы. Какое нам дело, что во-век? Во-век, это так далеко, во-век, это вперед, в будущее, то во-век, в которое мы не верим, до которого нам дела нет, во-век, это ведь и после нас, а не с нами, после всех. Ведь во-век – это не только в *наш* век (жизнь), в наш век (столетие), а вообще – и во веки веков. Поэтому безразлично.

А вот *опять*, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь мы стоим, *вещь* уходит! Не вернется опять – вспять. В *опять* ее невозвратный шаг от нас, просто – ушагивает.

А во-век – никогда – никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в *ничто* и *никогда*.

Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот – опять!

– Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.

– Вы понимали – смысл.

– А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, – молитвы. Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и замаливали...) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны – я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались ожесточенны – только одним махом – и тогда я поняла, что бесполезно, – дети, резвые, драчуны, – а ведь как ждали этого часа! – «Вот когда папа с мамой уйдут».

– А что это были за молитвы?

– Не знаю. Простые, должно быть.

– Хлыстовские, может быть?

– А молельня: там у нас фильтр был – знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящике, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящики? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький. И устроили мо-

лельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И – молились.

– Но как же, – раз ящик был маленький?

– Не в нем молились, *в него* молились, через то окошко, боковое...

(Перекличка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне хочется говорить – ему, точнее – в него». То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)

...»Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало ли...»

Гончаровские соборы из глубока росли!

«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось. Особенно от словесника за орфографию». – Плохую? – «Тульскую. Говорила по-тульски – х вместо ф и все такое – а писала как говорила. Написанным это должно было выглядеть ужасно». – Ужасно. – «А еще от классной дамы – за кудри. Вились только две передние пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу... Сколько – раз: „Гончарова, к начальнице в кабинет!“ – „Опять завилась?“ – И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на следующей перемене...»

– «А кудри завьются, завьются опять!»

Только погрузиться об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах – этот дичок, за давностью преподавания природоведение забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами – как с хмелем – как с самой Гончаровой – ничего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.

Все это мелочи – и драки, и молельня, и кудри. Останется не это, а «соборы». Хочу, чтобы и это осталось.

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была *до* холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе *всего* Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова *Künstler*) – пере-

барыванье, перемалыванье, переламыванье жизни – самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, размягчающего. Жизнь – сырьем – на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)

Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насытно. Обойдусь и без. И – *стихи лучше знают!*

И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому что менее показательно. Не-художник в жизни живет весь, на жизнь – ставка, на жизнь как она есть, здесь – на жизнь как быть должна.

Холст: есмь. Предыдущее – ход к холсту.

Есть факты – наши современники. Есть – наши предшественники, факты до нас. «Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой – именем, а Гончаровой – силой). Таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов – о

будущих внуках. Гончарова – маленькая, себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова – нет. Встреча знания с сознанием, руки Гончаровой с головой Гончаровой – первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, – рука из будущего. Здесь пращур вещь! Ее рука умнее ее. В последующем – юношестве – рука (инстинкт) сдает. Лучший пример – та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния – скульптором. Боковое ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью-семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка играет сама).

Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибкой, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почему мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении по юношеству – к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями в юношестве – отталкивает.)

О, это потом опять споется – как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с *фактом* – актом – первого холста, каков бы ни был) Гончарова – зрячая сила, вещь почти божественная.

История моих правд – вот детство. История моих оши-

бок – вот юношество. *Обе* ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне»... так говорит народ. Так говорит поэт.

Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в замысле.

Еще божественнее!

Но есть и еще одно – уже не божественное, а человеческое – в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревцо. То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и выигравшей.

У подножия тех соборов – та картонка.

Простое умиление сердца.

Две Гончаровы

– Что Вы сейчас пишете?

– Наталью Гончарову.

– Ту или эту?

Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть – и скорее всего – попросту; у нас-де в роду имя Наталья. Но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой – той.

Наталья Гончарова – та – вкратце.

Молодая девушка, красавица, та непременно красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер – младшая, но старшая или младшая, красавица – сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за – остановка – за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина: Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолобов, студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин – очами будуще-

го – нас.

За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие – одно. Может быть, за второго – Пушкина сплетен – и – как ни жестоко сказать – вернее всего, за Пушкина очами суда, Двора: за Пушкина – пусть со стихами, но без чинов, – за Пушкина – пуще, чем без чинов – вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.

Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но слава Богу, умер христианином». И еще, в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной». – «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее». (Будущее – что? «Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель? Если первые – откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет – «хорошим» в его толковании!) Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся – клянется *умирающий*, держит (не держит) живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было – мало? Где он

видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но Бог иногда речет устами (даже цензоров!) – *бывшее* бы (поведение, дарование) вот что хотел сказать, а сказал *будущее*, то есть назвал нас, безутешных в таком пушкинском окружении.

Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина – приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум – тоже хищный зверь, для государей – самый хищный зверь. Особенно – вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и – о, ирония! – вместо заграничной подорожной – открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. – «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И Пушкин – остался. Вместо деревни – Двор, вместо жизни – смерть).

Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их отношение – тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем – его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чувала, и еще вопрос – какой страх страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись силы.

Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? *Нелюбимого*. Разорение семьи? Вздор! Такие красавицы

разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, – самое обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица – просто красавица – только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах – ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:

«Читайте, читайте, я не слушаю».

А вот наилучшее, из уст – его:

«...Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать!»

– Почему вы тотчас же не записали этих стихов?

Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:

– Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились».

(А. О. Смирнова, *Записки, т. 1.*)

Почему же? За что же?

Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страха, так же, как Николай I из страха взял его под свое цензорское крыло.

Не выйду, так... придется выйти. Лучше выйду. Проще

выйти. «Один конец», так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодолимой плоти – шаг куклы! – а может быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова. Не говоря о предвидении – судьбе – всем *над* и *под* событиями, – Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая. Вот его письмо:

«...Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.

...Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель – я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское мучение!»

(Пушкин – Н. И. Гончаровой (матери), в перв<ой> половине апреля 1830 г.)

Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова – вслепую или

вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает девушке и красавице. С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина.

(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья – вспомним ее сборы в Сибирь! – тоже соображала – и как! «Молодость, неопытность, семья» – принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)

– Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от тринадцатилетнего лицеиста до Всероссийского Самодержца – нехотя, но не противясь – как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, простыми именами. (Мария, Александр) – третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория». Хорош выбор – между удавкой и веревкой! (В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей *пришлось* выбрать Григория.)

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать – безучастность в зачатии их. Как – ес-

ли не безучастность к собственному успеху – то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: «вошел – победил». *Входить* – любила, а *входить* – побеждать. Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние претерпевания.

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива – те менее прекрасны. Отсюда успех. Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И залилась слезами.

Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, – которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.

Просто – красавица. Просто – гений. Ибо все: и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновность своим дурным и бездарным родителям (прямо исключаящим возможность Пушкина), и неверность – идеям или лицам? (нынче ода декабристам, завтра послание их убийце), и страстная сыновность России – не матери, а мачехе! – и ревность в бра-

ке, и неверность в браке, – Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин – бесчисленности своих ликов и обличей – все это спаяно и держится в нем одним: поэтом.

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пушкина – все уводило).

В *своем* (гении) то же, что Гончарова в *своем* (красоте). В *своем гении* то же, что Гончарова в *своем*. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. Пара – врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вяземского: «Первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице».

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на последней (дуре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! –

роковое: эманация.)

Наталья Гончарова *просто* роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская *повод*, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.

Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары, – тяга гения – переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был – всё. И еще он хотел того *всего*, в котором он сам был нуль. Не пара – Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женильба его так же гениальна, как его жизнь и смерть.

«Она ему не пара» – точно только то пара, что поет! Есть пары по примете взаимного тяготения счастливые по замыслу своему, по движению *к* – через обеденный ли стол (Филемон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абеляр), через все моря (Тристан и Изольда) – через все вопре-

ки – вопреки всем через – счастливые: любящие.

Есть пары – тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезиля, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары – всё же.

А есть роковые – пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни на том.

Пушкин – Гончарова.

Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. «Nathalie est un ange»²³⁷ (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя...» (NB! От очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах – никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессловесная – Елена – кукла, орудие судьбы.

Страсть к балам – то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная возможность выявления. (Явиться – выявиться!) Входя в зал – рекла. Всем, от мочки уха до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. *Все être*²³⁸ красавицы в *paraotie*²³⁹. Зал и бал – естественная родина Гон-

²³⁷ Наташа – ангел (*фр.*).

²³⁸ Быть (*фр.*).

²³⁹ Казаться (*фр.*).

чаровой. Гончарова только в эти часы *была*. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка Двора и деревни.

А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома – умирала. Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова – к Ланскому, Пушкин – в Святогорский монастырь.

Языческая пара, без Бога, с только судьбой.

Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга... «Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».

Фактическое. Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом (он точно свою смерть примерял), – одним из генералов польской войны, на которую стремился – навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, равное Гончаровой.

Пушкин убит не белой головой, а каким-то – пробелом.
Кто бы – кроме?

«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно».

(Гр. В. А. Соллогуб – обиженный им!)

Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, – той белой лошади раскат (оскал).

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом *in dem Kauf*²⁴⁰, то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, – не важно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.

И еще, изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно – невинна. Невинна потому, что кук-

²⁴⁰ В придачу (нем.).

ла невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила.

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.

«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак Пушкина (живого из живых, страстного из страстных – *призрак арана!*) страшен. Но она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны – не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталье – гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она бы не оторвалась от Ланского, до которого наконец дорвалась.

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скоро и так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга.

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.

Что же дальше с Гончаровой?

Раздарив все смертные реликвии Пушкина – «я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли», Нащокину – архалук (красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 р<<ублей>> и локоном белокурых волос, Далу – талисманый перстень с изумрудом и «черный сюртук

с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» – на вынос тела из дому в церковь «от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам» не явившись (первое *неявление* за сто явлений!).

– А вот еще свидетельство, девять недель спустя:

«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».

(А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 8 апреля 1837 года из Рима.)

А вот другое, немного спустя:

«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут очень неподвижно, проводя время как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела».

(Д. Н. Гончаров – Екатерине Николаевне Дантес-Геккерн, из Полотняного Завода, 4 сентября 1837 года.)

А вот и эпилог:

Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

1837 – 1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе – «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять за-

муж, но не за пустозвона», – потом все то же, под верховным покровительством государя Николая I, не раз выразившего желание, «чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф».

Наталья Николаевна и Николай I – еще раз сошлись.

«Спящий в гробе мирно спи,
Жизни радуйся живущий».

Так бы и «радовалась» – до старости, если бы, семь лет спустя после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей – неисповедимы пути господни! – то, чего не мог дать – раз не дал! – Пушкин: человеческую душу.

Здесь кончается Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня, и начинается другая Гончарова: Гончарова – жена, Гончарова – мать. Гончарова – любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.

Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос – каких), как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской – вне невольно вызванных и – тем – претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите – воздух.

Вот Наталья Гончарова – та.

Наша:

Молодая девушка, чудом труда и дара, внезапно оказывается во главе российской живописи. Затем... Затем все то же. Никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что обратное Наталье Гончаровой – той? Наталья Гончарова – эта. Ибо обратное красавице не чудовище («*la belle et la bête*»²⁴¹), как в первую секунду может показаться, а – сущность, личность, печать. Ведь если *и* красавица – *не* красавица, красавица – только красавица.

«*J'aurais dû devenir très belle, mais les longues veilles et le peu de soins que je donnais a ma beauté...*» (George Sand, «*Histoire de ma vie...*»)» Я должна была бы стать весьма красивой, но продолжительные бдения и недостаточный уход за собой...» (Жорж Санд, «*История моей жизни*») (фр.).

И еще – беру наугад: «Она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но лучшие ее свойства были – душевная красота и светлый разум, в котором...» и т. д., и от красоты уже откатились, чтобы больше к ней не возвращаться (Лесков о своей бабушке). И – тысяча таких свидетельств. Так, многие красавицы рожденные кра-

²⁴¹ Красавица и чудовище (фр.).

савицами не были – «Ne daigne»²⁴² красоте, как Наташа Ростова – уму, как многие – славе, как столькие – счастью! Чтобы быть красавицей – счастливицей – нужно, если не: этого хотеть, то во всяком случае этому не противиться. Всякое отклонение – сопротивление.

Так по какой же примете сравниваю двух Гончаровых? Неужели только из-за одинаковости имен и родства – даже не прямого? С моей стороны – не легкомыслие ли, а для Гончаровой – нашей – не оскорбление ли? Эту весомость – с тем ничтожеством? Это всё – с тем ничто? Словом, родись Наталья Гончарова, – наша – в другой семье и зовись она не Наталья и не Гончарова, – сравнивала бы я ее с Натальей Гончаровой – той? Нет, конечно. Стало быть, все дело в именах?

Дело в роде Гончаровых, давшем России одну Гончарову, *взявшую*, другую – *давшую*. Одну – Россию омрачившую, другую – возвеселившую. Ибо творчество Натальи Гончаровой – чистое веселье, *слава* в самом чистом смысле слова, как солнце – слава. Красавица Россию, в лице Пушкина, каждым острием своих длинных ресниц, проглядела, труженица Россию, каждым своим мазком и штрихом, – явила. Ибо гончаровские «Испанки» такая же Россия, как пушкинский «Скупой рыцарь», полное явление русского гения, все присваивающего. (К этой переключке Гончаровой с Пушкиным я еще вернусь.) Не прямая правнучка (брата Н. Н. Гончаровой.) Так и возмещение ее – боковое ответвление. Поэт. Ху-

²⁴² Не снисхожу (*фр.*).

дожник. Но корень один: русский гений.

Через голову красавицы, между Пушкиным и художником – прямая связь. Полотняный Завод, где пушкинскими стихами исписаны стены беседки. И не думающая об этом в данную минуту – Гончарова. «Там я много работала... Если бы Вы знали, что такое Полотняный Завод – та жизнь! Нигде, нигде на свете, ни до, ни после, я не чувствовала – такого счастья, не о себе говорю, в воздухе – счастья, счастливости самого воздуха! Вечный праздник и вечная праздность, – все располагало: лестницы, аллеи, пруды... С утра пенье, а я с утра – дверь на крюк. Что бы там ни пелось – дверь на крюк. Потому что иначе нельзя: не сейчас – так никогда. Ну, успею переодеться к обеду – переодеваюсь, а то так, в рабочем балахоне...»

«Чтобы там ни пелось...» Как Одиссей, связавший себя от сирен – дверь на крюк. Крюк! Гарантия не только от входов, но и от выходов, – *самозапрет*.

А вот пушкинское свидетельство, которого, знаю, не знает Гончарова:

«...Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех; это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в

его дверь».

(С. Н. Гончаров, брат Н. Н. Гончаровой.)²⁴³

И еще одно:

«Однажды Пушкин работал в кабинете; по-видимому, он всецело был поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую сильно рассерженный. Тут он увидел виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас покойно вернулся к своей работе».

(А. В. Середин. «Пушкин и Полотняный Завод». По записи Д. Д. Гончарова.)

В промежутке – вышивающая, зевающая, изнывающая Наталья Гончарова – та.

Пушкин «Царя Салтана» слышит (начало стиха – звук), Гончарова «Царя Салтана» видит (начало штриха – взгляд). Оба являют. В промежутке гончаровское «Читайте, читайте, я не слушаю». Промежуток зевка. (Что зевок, как не признание в отсутствии – меня нет.)

– «А вот Игорь для немецкого издания». Смотрю (речь впереди) и первая мысль: Пушкин против Каченовского

²⁴³ Прадед Н. С. Гончаровой (примеч. М. Цветаевой).

утверждающий подлинность Игоря.

– А вот иллюстрации к царю Салтану...

Смотрю (речь впереди), и не мысль уже, а молния:

– Если бы Пушкин...

«Моя родословная»

Обман зрения всей России, видевшей – от арапской крови, «Арапа Петра Великого» и «Цыган» – Пушкина черным. (*Правильный* обман.) Был рус. Но что руководило стариком, никогда не читавшим Пушкина? А вот: «В те дни сложилось предание, что Пушкин ведается с нечистою силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем». (Воспоминания одного из современников.) Старик Пушкина черным и страшным видел *от страха*.

И – живой голос Пушкина с Полотняного Завода: «Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом».

Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года «милое, чистое и доброе создание, ничем не заслуженное перед Богом» приезжает на тот же Полотняный Завод – вдовой. Здесь протекают первые два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может быть – раскаянии?) – потом в грусти, – потом в скуке.

Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно любя его, охотно ее вижу в прелестном обличии Гончаровой, – Гончаровой прощания, например, поящей с ложечки, – чем в хохочущей образине Дантеса, смерть Пушкина вернулась к месту своего исхождения: на первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина.

Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться – к тому, от чего оторваться нельзя! – какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. – Своей не нашлось!

В лице Дантеса – пусть, шуана (потом – бонапартиста), Пушкин убит сыном страны Вольтера, тем смешком, так омрачившим его чудесный дар. Ведь два подстрочника вдохновения Пушкина: няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Родионовна (Россия) на своего выкормыша руки не подняла.

Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в каком-то смысле (не женитьба на Гончаровой, – а... «Гавриилиады» хотя бы) в переводе на французский вернувшийся в свою колыбель; смерть Пушкина – рукой Дантеса – самоубийство. Дантес – ancien régime²⁴⁴? Да, Дантес, смеющийся в лицо умирающему, пуще, чем вольтерьянец, смеющийся в лицо только своей. («Dieu me pardonnera, c'est son métier!» «Бог меня простит, это его ремесло» (*фр.*).) (Гейне). Оскал Дантеса – вот расплата за собственный смешок.

«Es-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire?..» «Доволен ли ты, Вольтер, и твоя отвратительная улыбка?» (*фр.*).

И еще одно: все безвозвратно, и едва ли когда-нибудь мне придется еще – устно – вернуться к смерти Пушкина – какая страшная посмертная месть Дантесу! Дантес жил – Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камер-юнкер, низкорослый муж первой красавицы, им уби-

²⁴⁴ Здесь: представитель «прежнего времени» (*фр.*).

тый, – превращался на его глазах в первого человека России, не «шел в гору», а в гору – выростал. «Дело прошлое», – так начал Соболевский свой вопрос – в упор – Дантесу (на который солгал или нет – Дантес?). В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать прошлым. Дантесу «освежала в памяти» Пушкина – вся Россия.

«Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку» (А. Ф. Онегин).

Тогда не подозревал, потом – прозрел. Убийца в нем рос по мере того, как выростал – вовне – убитый. Дорос ли Дантес до простого признания факта? Кто скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергардского смеха до – последнего, что мы знаем о нем, – стариковского:

«Le diable s'en est mêlé!» «Нечистый попутал!» (*фр.*).

Первый, о ком слышно, – Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудник Петра. Петр бывает в доме. Несколько красоток дочерей. Говорят, что в одну, с одной... Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском – (гончаровской бабушки) – лице лицо Петра отразилось, как в зеркале. Первый, о ком слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, которое тогда шагало шагом Петра. Современник будущего – вот Абрам Гончар. Первый русский парус – его парус.

Абрамом Гончаром основан в 1712 г. первый полотняный

завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же имени.

«Полотняный Завод» имение Гончаровых в Медынском уезде, Калужской губ<<ернии>>, где жилал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, которого ныне нет и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговое, своею деятельностью и базаром, оно издавна служило значительным торговым центром на довольно большом расстоянии. Здесь писчебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение Полотняного Завода прелестно. Помещичья усадьба, с великолепным старинным господским домом, на самом берегу реки. Не так далеко от него стоял на берегу реки деревянный флигель, сльвущий до сих пор в народе под названием дома Пушкина. В нем поэт постоянно жилал после своего брака, приезжая гостить к Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющие вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным; теперь от этого не осталось и следа».

(В. П. Безобразов – Я. К. Гроту, 17 мая 1880 г.)

Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же пятьдесят лет, что и от нас. (Кстати, я, пишущая эти строки и рожденная в 1892-м году, еще застала сына Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца – Трехпрудный переулок, д<<ом>> № 8, соседнем дому Гончаровых. Сын

Пушкина, несомненно, встречал в переулке свою двоюродную внучку.)

Та же я, в 1911 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. «Я тогда молодая была, двенадцать лет было. Веселый был, хороший был, на лодке кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы»... и трель столетних пальцев в воздухе.

На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась Екатерина. Там же стоял и Кутузов.

Полотняный Завод. Громадный красивый сад, ныне торг и пустырь. Пруды уцелели. Красный дом – пушкинский, собственно, – исчез почти совершенно. Большой дом, «дворец Гончаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. Башни, вроде генуэзских.

Красный сад, красный дом. В русском слове красный – мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация – пожар! (Читаю, уже по написании, сыну сказку. Солдат мужику: «Что такое красота?» «Хлеб – красота». Тот бац его по щеке: «Огонь – красота!» – Переключка.)

Пушкин на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз еще женихом, и жил тогда в красном доме. Во второй раз – поздней осенью 1834 года. «Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: „еще бы не знать Пушкина; бывало, сидят они на балконе в красном доме, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя“.

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1780 году, точно нарочно, чтобы дать Пушкину «жениться на благородной». Кстати, вся *mentalité*²⁴⁵ семьи Гончаровых, особенно матери (исключение Сергей Николаевич Гончаров, прадед нашей) – определено купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана была самая настоящая теща. – В их герб вошли все элементы масонских знаков: серебряный, с золотой рукоятью, меч, пятиугольная звезда, а сверху, вместо щита, полукруглый фартучек – принадлежность посвящения в вольные каменщики.

Среди предков Натальи Сергеевны есть и музыканты (любители) и художники (любители). Не забыть мужененавистницы на качелях, впоследствии вольнодумки и одиночки. В ней-то и отразился лик Петра. Кровь русская, с примесью татарской (Чебышевы). Мать из духовного звания (Беляева), отец – архитектор, выдающийся математик.

Так, от Абрама Гончарова с его станком, до Гончаровой нашей с *ее* станком²⁴⁶ – труд, труд и труд. В этом роду бездельников не было.

Гончарова – наша – потомок по мужской линии.

²⁴⁵ Строй мыслей (*фр.*).

²⁴⁶ Мольберт, по-русски, *станок*. Станковая живопись в противовес декоративной (*примеч. М. Цветаевой*).

Первая Гончарова

– «Я одно любила – делать». Вот во всей скромности и непосредственности предельное признание – в призвании.

Есть дети с даром занятости, есть – с жадой ее. «Дай мне чем-нибудь заняться, мне скучно», из такого ребенка – ясно, что выйдет, ибо собственной занятости ищет извне. Пустая рука, пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для которого та же Гончарова – только поставщик. Рука – спрут, нутро – прорва. Жест – грабель и спрута. Движение Гончаровой – девочки *от* дела: даяние, творение, явление. Жест дела. Жест дара. (И удара!)

Посмотрим по этой линии деланья ее дальнейшую жизнь. В гимназическом классе рисования ничем не выделяется – разве непосильностью задач, недоступностью выбираемых образцов. (В те времена рисовать – срисовывать.) Гимназию, на самом краю золотой медали (не честолюбие, не любовь к наукам, не способности, – трудоспособность, нет: трудо-страсть!) кончает семнадцати лет. После гимназии – в Школу Живописи и Ваяния? Нет, сначала медицинские курсы. Три дня, положим, но шаг – был. В чем дело? В непосредственном деле рук: руками делать. Есть у немцев такое определение юности: «Irrjahre» «Годы исканий» (нем.). (*irren* – и заблуждаться, и блуждать). Только у Гончаровой они не годы – год – даже меньше. Три дня медицинских курсов (не

анатомический театр, а мужеподобность медичек, не обоняние, душа не вынесла – и полугодие Высших женских курсов (Историко-филологический факультет). Если медицина еще объясняется понятием ремесла, то Историко-филологическому факультету, и дальше ей по сущности и дольше затянувшись, объяснение стороннее: подруга, с которой не хотелось расставаться. Нужно ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но экзамены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой: на скульптурное отделение Школы живописи и ваяния. Почему же все-таки не на живописное? Да потому, что – вспомним возраст и склад героини! – скульптура больше дело, физически больше – дело. Больше тело дела, чем живопись – только касание. Там касание, здесь проникновение руки в материал, в плоть вещества. (Не знала тогда Гончарова, что когда-то будет возглавлять плоскостную живопись, в противовес – глубинной.) – Боковое ответвление дарования в данную минуту более соответствует всей сути, чем ствол.

«Я думаю, в этом была просто безграничная потребность в деятельности. Была минута, когда я могла стать архитектором». Этого критик, коривший ее за «не-картины, а соборы», не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим – стала.

Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном классе? Устроением ею, будущей Гончаровой, красок, чисто скульптурной выставки, первой в стенах школы. Все это пока еще – дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд

дара, еще не открыт. Дальше – золотая медаль и встреча с Ларионовым.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно. Во-первых и в-главных: Ларионов был первый, кто сказал Гончаровой, что она живописец, первый раскрывший ей глаза – не на природу, которую она видела, а на эти же ее собственные глаза. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!»

Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский парк, красные листья, седая земля. Дома – неудачная схватка с красками. «Целый мир, с которым не знаю, как схватиться (сочтя за обмолвку) – как охватить»... Нет, поправлять не надо, никакого охвата, а именно схватка, не на жизнь, а на смерть, кто кого. «Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи... есть – живопись». Дни идут, может быть, недели (не месяцы). Ничего не выходит. «Какие-то ужасные вещи, о которых я только потом понял, как они прекрасны» (Ларионов). (Показательно: первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, чем непосредственно следовавшие. Ребенок и мастер сошлись.) И вот – разминка, размолвка двух художников, три дня не видящихся, – не забудем, как это много в начале дружбы и жизни. – «Прихожу – вся стена в чудесах. Кто это делал?» – «Я...» С тех пор – пошло. Магических три дня, когда, никого не ожидая, ни на что не рассчитывая, от огорчения, от злобы – сердце сорвать! – Гончарова, сразу, как по заказу, поняв,

в чем дело, сразу, как по заказу, заполняет целую стену первой собой. (Другая бы сидела и плакала.) Дружбе обязана осознанием себя живописцем, ссоре – первым живописным делом.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно еще и потому, что они с восемнадцати лет ее и с восемнадцати лет его, с тридцати шести своих совместных лет, вот уже двадцать пять лет как работают бок о бок, и еще двадцать пять проработают.

Чтобы покончить со скульптурой – Гончарова еще раз с ней встретилась. В – каком? – году (несущественность для Гончаровой хронологии, почти нет дат), совсем молодая еще Гончарова едет на Юг, в Тирасполь, на сельскохозяйственную выставку, расписывать плакаты. (Здание выставки строил отец.) «Нужны были какие-то породистые скоты. Скоты, по мнению заказчика, не сходились с пейзажем. А главное, не сошлись в оценке породистости. Я хотела выразительных и тощих, заказчик требовал упитанных. Вместо коров капители» (ионические, к колоннам здания).

Первая поездка Гончаровой на Юг. Первый Юг первой Гончаровой. Сухой юг, не приморский, предморский. Степь. Днестр. Бахчи. Душистые травы. Шалфей, полынь, чабрец. «Типы евреев, таких непохожих на наших, таких испанских. Глядя на своих испанок, я их потом узнала».

Непосредственным отзвуком этой первой поездки – акации, заборы с большими птицами, – не Москва. О, как на-

вострилось мое ухо от акаций и птиц! И непередаваема интонация, с которой она, москвичка, подмосковка, тульчанка, это выводила – не Москва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова – как ни странно – зимы никогда не любила и, проживя до двенадцати лет в деревне, ни одной зимы не помнит. «Была же, и гулять, нужно думать, водили, – ничего». Зиму она претерпевала, как Прозерпина – Аид.

О роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее накопление не материала, а навыка, опыта. Лето – приход, зима – расход. Летом ее живопись живет, ест и пьет, зимой работает. Зима – Москва. Московские работы все большие, по замыслу, лето – зарисовки. Природа и жизнь на лету. Еще одно о гончаровском лете – в такой жизни частностей нет. «Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Много – месяц, два... По летам разъезжались, он к себе, в деревню, я по России».

Бытовые причины? Да, все они, как льготные условия гончаровской мастерской, – лишь прикрытия иных. Рогожка: все тело сквозит! Гончарова и Ларионов, никогда не расстающиеся, по летам разъезжаются потому, что лето – добыча, а на добычу – врозь. Чтобы было потом чем делиться. «Никогда в жизни», и в голосовую строчку: «по летам расставались». Да, ибо лето не жизнь, вне жизни, не в счет, только и в счет. Так, как ни странно: отшельничают вместе, кочевничают врозь.

А вот второй Юг Гончаровой – морской. Первое ее мне

слово о море было: «очарование»... «Да, именно очарование». И в ответ мое узнавание: где? когда? у кого? Вот так, вместе: море и очарование. Ведь ушами слышала! И в ответ, именно ушами слышанное, – ведь с семи лет говорила наизусть:

Ты ждал, ты звал, я был окован,
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Странность детского восприятия. Семи лет я, конечно, не знала, кому и о чем, только знала: Хрестоматия Покровского – Пушкин – К морю. Следовательно, все написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован (морем, конечно), вотще (которое я, не понимая, произносила как *туда*, то есть к тебе (к морю) рвалась душа моя, могучей страстью (то есть, опять-таки, морем) очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком ждал. Зачарованность до столбняка. Столбняк любви.

И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соответствие. В чем гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей строки. *Могучей страстью*, да еще очарован. Зачарованность мощью. Непредвиденность эпитета могучей и страсти и непредвиденность понятия очарованности мощью. (Непредвиден не

только словоряд, но и смыслоряд.) Страсть: жаркая, неистовая, роковая и пр., и пр., ни у кого: могучая, очарованность – красотой, грацией, слабостью, никогда: мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин очарован не данной женщиной, а «могучей страстью» – безымянным. Усложненный и тем – нередкий случай – уточненный образ. Усложненный тем, что первичное, женщину, он заменил вторичным: своим чувством к ней (переведя на слова: «Деву», конкретность, «страстью», отвлеченностью; очарованность страстью – отвлеченность на отвлеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не оставался на берегу, и *каждый* (если у поэта есть множественное) – из-за собственного чувства – хотя бы к ней. Морю он противопоставляет страсть, по тогдашним (и всегдашним!) понятиям – морей морейшее. Противупоставь он морю – «деву», мы бы Пушкина жалели – или презирали.)

И то же, точь-в-точь то же, Гончарова со своей настойчивой очарованностью морем (громадой). Поражена, потрясена, – нет, именно очарована.

Пушкинское море: Черное, Одесса, Ялта, Севастополь. – «Когда? Не помню. Поездки не включаются ни в какой год». (Так я, в конце концов, и отказалась от дат.) – «Графская пристань. Вы, может быть, помните? Мальчики ныряли за гривенниками»... Вода, серебряная от мальчиков, мальчики, серебряные от воды, серебряные мальчики за серебряными гривенниками. Море и тело. Море, тело и серебро. –

«У меня уже в Москве было море, хотя я его еще никогда не видела. Много писала. А когда увидела: так же дома, как в Тульской губернии, те же волны – ветер – и шум тот же. Та же степь. Там волны – и здесь волны. Там – конца нет, здесь – краю нет»...

Мужайся, корабельщик юный,
Вперед, в лазоревую рожь.

Вот Гончарова, никогда стихов не писавшая, в стихах не жившая, поймет, потому что глядела и видела, а глядевшие и не видевшие, а главное, не любившие (любить – видеть): «современные стихи... уж и рожь пошла лазоревая. Завтра лазурь пойдет ржаная»...

Давно – пойдет.

– Пушкин бы понял. —

«Из орнаментов особенно любила виноград, я его тоже тогда еще никогда не видела». Как это говорит – одна Гончарова или весь русский народ с его сказками и хороводами: —

«Розан мой алый, виноград зеленый!»

И Гончарова, точно угадав мою мысль: «Странно. Из всего стапятидесятимиллионного народа навряд ли десять тысяч видели виноград, а все о нем поют». К слову. Есть у Гончаровой картина – сбор винограда, где каждая виноградина с доброе колесо. Знает ли Гончарова русскую сказку, где

каждая виноградина с доброе колесо? Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, они все в ней. Когда-то кто-то что-то слухом слышавший, от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть, де, такая земля, сам там был (был в соседнем селе), где каждая виноградина с доброе колесо. («Сам там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало», – *оттуда* присказка!) Та же Гончарова, от жажды, от тоски усаживающая своего сборщика на трехпудовую виноградину. «Я тогда еще никогда не видала растущего винограда. Ела – да, но разве одно: из фунтика или живой?»

Притча

... Впрочем, у меня и в Москве был виноград – не о вещах говорю, живой. Ели виноград, уронили зернышко, два зернышка. Зернышки проросли, завили все окно. Усики, побеги. Виноград на нем, конечно, не рос, но уж очень хорош сам лист! Зимой сох, весной завивал всю стену. Рос он в маминной комнате...

Когда я это слушала, я сказала себе: притча. И сейчас настаиваю, хотя в точности не знаю, почему. Притча. Подобие, иносказание. Через что-нибудь очень простое дать очень большое; очень бытовое – вечное. *Иными* словами: ели и выбросили, упало и проросло. Упавшее проросло, выброшенное – украсило, возвеселило. А может быть, еще и звук слова виноград, ягода виноград – евангельская.

Мне очень жаль расставаться с этим воспоминанием, особенно с «рос он в маминной комнате» – для печати, но Гончарова сама этого никогда не запишет, *только* напишет, – и никто не будет знать, что это *тот* виноград. Моя запись-подстрочник к тому винограду.

Есть вещи, которые люди должны делать за нас, те самые, которые нам дано делать только за других. Любить нас.

Странное у меня чувство к первой Гончаровой, точно она ничего не познает, все узнает. Вот пример. Рассказывает она мне об одной своей вещи, корабле с красным парусом. «А

ведь красные бывают, – сказала я, – я видела с красными. В Вандее, в рыбацком поселке, по утрам все море горит». – А я не видала, только рыжие видела. Вот черные – видела. – «Черные? Да этого быть не может, этого просто нет. Кто же выедет – с черным парусом?» – Значит, я их выдумала. – «Не совсем. (Черный парус Тезея, черный парус Тристана, знаю: не знает обоих.) – Вы их *издалека* увидели».

Этого уже не объяснишь Гончаровой – Русью. Или же: у Руси глаза велики.

«Внешние события»

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна событиями, что даже и не знаешь, какие назвать, кроме дня рождения выставок».

Кажется – самое простое, общее место. И, кажется, сердиться бы не на что. Но – таинственность общих мест. И – есть на что. Во-первых, неверность фактическая. Что такое жизнь, богатая событиями? Путешествия? Они были. Если не за границу (за одну границу), то по всему за край свету – России. Встречи с людьми? С лучшими своего времени, с верховодами его. Американского наследства – не было. Выигрыша в 200 тысяч – тоже не было. Остальное было – всё. Как у каждого, следовательно – помножив на творческий множитель – неизмеримо больше, чем у каждого.

Второе – то такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно внутреннее. Либо оно до меня не доходит (как шум, которого не слышу), тогда его просто нет, точнее, меня в нем нет, как я вне его, так оно извне меня. Чисто-внешнее событие – мое отсутствие. Все, что мое присутствие, – событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною. О каких же тогда внешних событиях говорит биограф? Если о внешних событиях – поводах, о внешних – внутренних, куда же он девал все 800 холстов Гонча-

ровой, являющихся – тем или иным, но – ответом на внешнюю жизнь. Если же о внешних – внешних, недошедших (как шум, которого не слышу), оставшихся извне меня, несбывшихся, то не прозвучит ли его фраза так: «Жизнь Гончаровой удивительно бедна отсутствиями»... С чем и соглашусь.

«Жизнь Гончаровой так бедна, так бедна». Это ему со стороны бедна, потому что смотрит со стороны, извне себя, а не изнутри Гончаровой. Для него бы и та степь была бедна, у нее с той степи – Апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если бы Гончарова была паралитиком или всю жизнь просидела в тюрьме (задумчивое замечание Гончаровой, которой я это говорю: «Да и то...»). Пока Гончарова с глазами и с рукой – видит и водит, – Гончарова *богата*, как и где бы ни жила.

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна...» А всего только одно слово изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. Не гончаровская внешняя жизнь бедна, ибо у нее, для нее нет такой, а сама внешняя жизнь – без Гончаровой: души, ума, глаза. Присутствие Гончаровой (собирательное) во внешней жизни и фразе – гарантия богатства жизни и бессмысленности фразы.

Внешняя жизнь – есть. Только не у Гончаровой. Внешняя жизнь у всех пожирателей, прожигателей, – жрущих, жгущих и ждущих. Чего? Да наполнения собственной прорвы, тех самых «внешних событий», тогда как Гончарова, не ждущая, спокойно превращает их в повод к собственному содер-

жанию.

Повод к самой себе – вот внешние события для Н. Гончаровой. *Содержание* самого себя – вот внешние события – хотя бы для ее биографа. Банкроты отродясь. Примета пустоты – за событиями гнаться, примета *Гончаровых* – внешние события гнать. Да, ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают в работе. И – кажется, главное найдено: внешнее событие – лишнее событие. Говорят об охране труда. Я скажу о самоохране труда. Об отборе внутренних событий, работе, если не впрок, то во вред. Рабочая единица не день, не час, а миг. Равно, как живописная единица не пласт, а мазок. Взмах данного мазка. Миг данного взмаха. *Данного* и мною данным быть имеющего. *Ответственность* – вот «бедность» «внешней жизни» Гончаровой, радость, называемая аскетизмом, мертвая хватка в вещь, называемая отказом.

И еще одно, о чем не подумал биограф.

Есть люди – сами события. Дробление события самой Натальи Гончаровой на события. Единственное событие Натальи Гончаровой – ее становление. Событие нескончаемое. Не сбывшееся и сбывться не имеющее – никогда. (Так же верно будет: родилась: сбылась). Скандал «Ослиного хвоста» или виноградное зернышко, завившее всю стену, – через все Гончарова растет.

Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. Из ничего, мол, делает все. Да для Гончаровой ведь нет «ни-

чего», пустой звук, даже и звук не пустой, раз – звук. Не понял биограф, что, допустив хоть на секунду возможность для Гончаровой «ничего», – ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возможность увидеть жизнь внешней – вот единственная возможность жизни грешной²⁴⁷. Возможность не ощутить ничего – вот единственная возможность ничего, ибо ощутить *ничего* (небытие) – это опять-таки ощутить: быть.

(Все из себя дающий есть все в себя берущий: *отдающий*. Все – только из всего.)

Возможность *не* – то, чего заведомо лишена Гончарова.

²⁴⁷ Сознание греха создает факт греха, не обратно. В стране бессовестных грешников нет (*примеч. М. Цветаевой*).

Русские работы

Жизнь Гончаровой естественно распадается на две части: Россия и После-России. Не Россия и эмиграция. Как любимое дитя природы и своего народа, этой трагической противуестественности (живьем изъятости из живых) избежала. Первая Европа Гончаровой, с возвратом, в 1914 г. Вторая, затяжная, в 1915 г. Выехала в июне 1915 г., в войну, по вольной воле. Второе счастье Гончаровой – как в этой жизни виден перст! – счастье, которого лишены почти мы все: жадное ознакомление с Россией в свое время, пока еще можно было, и явное предпочтение ее, тогда, Западу (большой деревни России – большому городу Западу). «Перед смертью не надышишься». Точно знала. «Жаль, конечно, что не была на самом севере, но просто не успела, я ведь тогда ездила только по потребностям работы». Какое отсутствие произвола, каприза, туризма. Какой покой. Какая насущность жеста в кассу, шага в вагон. *Работа* – вот судьба Натальи Гончаровой, судьба, которую Пушкин – кому? чему? – но дозволил же заменить – подменить – Гончаровой – той.

Гончарова России и Гончарова После-России. Мне такое деление кажется самым простым, самым естественным – сама жизнь. Ибо как делить – если делить? Недаром Гончарова свою жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы, – а ее в творчестве Гончаровой нет, – есть рост во всей его по-

степенности, как дерево, как счастливое дитя растет, – нужно брать пограничным столбом – просто пограничный столб. Пограничный столб – не малость.

Жизнь первой Гончаровой протекает в трех местах: Москва, Средняя Россия, Юг России. Как и чем откликнулась? Проследим по вещам. Москва есть, но Москва деревенская: московский дворик, переулочек, светелка в мезонине, московский загород. Не выдав других, Москву считала городом; город же возненавидела, как увидела, а увидела Москву. Вспомним завитки и тульскую орфографию. «Где между камнями травка – там хорошо, а еще лучше совсем без камней». Кроме того, Москва для нее зима, а зиму она ненавидит, как тот же камень, не дающий расти траве. Таково сочувствие Гончаровой-подростка траве, что она, видя ее под камнем, сама задыхается.

О *деревенскости* Гончаровой. Когда я говорю деревенская, я, естественно, включаю сюда и помещицья, беру весь тот вольный разлив: весны, тоски, пашен, рек, работ, – все то разливанное море песни. Деревенское не как класс, а как склад, меньше идущее от избы, чем от степи, идущей в избу, заливающей, смывающей ее. Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне номады. – Сна. Нынче в сенях, завтра в клетки, послезавтра на сеновале. Жарко – на двор, холодно – на печь. – Кочуют. – Гончарова со своей складной (последнее слово техники!) кроватью, внезапно выкатывающейся из-под стола, – сегодня из-под стола, а завтра из-за

станка, со своей легкостью перемещения – со своей неоседлостью сна, явный номад, явный крестьянин. А по первичному – привычному – жесту, которым она быстро составляет мешающий предмет, будь то книга, тарелка, шляпа, – на пол, без всякого презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место (первый пол – земля) – по ненасущности для нее стола (кроме рабочего: козел) и стула (перед столом стоит) – по страсти к огню, к очагу – живому огню! красному очагу! – по ненужности ей слуг, по достаточности рук (мастер, подмастерье, уборщик – у Гончаровой две руки: свои), по всему этому и по всему другому многому Гончарова – явная деревня и явный Восток, от которого у нее, кстати, и скулы.

...И вне всяких формул, задумчиво: «Всю жизнь любила деревню, а живу в городе...» и: «Хотела на Восток, попала на Запад...» Гончарова для меня сокровище, потому что ни в жизни, ни в живописи себе цены не знает. Посему для меня – *живая натура*, и живописец – я.

Чего больше всего в русских работах Гончаровой? Весны – той, весны всей. Проследим перечень вещей с 1903 г. по 1911 г. Весна... через четыре вещи – опять весна, еще через три еще весна. И так без конца. И даже слова другого не хочет знать. – Видели гончаровскую весну? – Которую? – Единственный ответ, и по отношению к Гончаровой, и по отношению к самой весне – вечную.

Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, где, нужно думать, весна родилась. Ибо не весна – весна северная – *северная* весна, не весна – крымская – *крымская* весна, а тульская весна – просто весна. Ее неустанно и пишет Гончарова.

Что, вообще, пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не любит зимы, то есть, все любя, любит ее меньше всего? Да потому, что зима не цветет и (крестьянская) не работает. Времена года в труде, времена года в радости. Жатва. Пахота. Посев. Сбор яблок. Дровокол. Косари. Бабы с граблями. Посадка картофеля. Коробейники. Огородник – *крестьянские*. И переплетенные с ними (где Бог, где дед? где пахарь, где пророк?) *иконные*: Георгий, Варвара Великомученица, Иоанн Креститель (огненный, крылатый, в звериной шкуре), Алексей человек Божий, в белой рубахе, толстогубый, очень добрый, с длинной бородой, – кругом цветущая пустыня, его жизнь. Из крестьянских «Сбор винограда» и «Жатва» идут от Апокалипсиса. Маслом, величиной в стену мастерской.

К слову. Створчатость большинства гончаровских вещей, роднящая Гончарову с иконой и ею в личную живопись введенная первой, идет у нее не от иконы, а от малости храмины. Комната была мала, картина не умещалась, пришлось разбить на створки. Напрашивающийся вывод о благе «стесненных обстоятельств». Впрочем, «стесненность» – прелест-

ная, отнюдь не курсисткина, а невестина, бело-зеленая, с зеленью моего тополя в окне. По зимам же белым-белая, от того же тополя в снегу. «В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Прорубили и ждем: как – вы? Вы – ничего. В том окне была моя мастерская».

Начаты Евангелие и Библия, и мечта о них по сей день не брошена, но... «чтобы осуществить, нужно по крайней мере год ничего другого не делать, отказаться от всех заказов...» Если бы я была меценатом или страной, я бы непременно заказала Гончаровой *Библию*.

Кроме крестьянских и иконных – натюрморты. (К слову: в каталоге так и значится «мертвая натура», которую немцы гениально заменили «Stilleben» – жизнь про себя.) Писала – всё. Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда *были* – цветы, когда *были* – плоды. В цикле «Подсолнухи» выжала из них все то масло, которое они могли дать. Кстати, и писаны маслом! (их собственным, золотым, лечебным, целебным – от печенки и трясовицы). Много писала книг. Много писала бумагу – свертки.

Историйка.

Стояло у стены двенадцать больших холстов, совсем законченных, обернутых в бумагу. В тот день Ларионов принес домой иконочку – висела у кого-то в беседке, понравилась, подарили – Ильи Молниегромного. Вечером Гончарова, всегда осторожная, а нынче особенно, со свечой – московские особняки тех годов – что-то ищет у себя в мезонине. (Вижу

руку, ограждающую не свечу, а все от свечи.) Сошла вниз. Прошел срок. Вдруг: дым, гарь. Взбегает: двенадцать горящих свитков! – Сгорели все. – «Ни одного из них не помню. Только помню: солдат чистит лошадь». Так и пропали холсты. Так к Гончаровой в гости приходил Илья.

(Так одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, случайно набредя глазами на не просохшую еще строчку: «пропали холсты» – видение холстов на Зеленой лужайке, расстелили белить, солдат прошел и украл.)

Полотняный Завод – гончаровские полотна. Холсты для парусов – гончаровские холсты. Станок, наконец, и станок, наконец. Игра слов? Смыслов.

– Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, какое-нибудь *свое* событие, вроде Ильи, например, или тех серебряных мальчиков.

– Был один случай в Тульской губернии, но очень печальный, лучше не надо. Смерть одна...

– Да я не про личную жизнь – или что так принято называть, – не с людьми.

– Да это и не с людьми (интонация: «С людьми – что!»). С совенком случай. Ну вот, подстрелили совенка... Нет, лучше не надо.

– Вы его очень любили?

– Полюбила его, когда мне его принесли, раненого уже.

Нет, не стану.

Весь – случай с совенком.

Защита твари

– Почему в Евангелии совсем не говорится о животных?

– «Птицы небесные»...

– Да ведь «как птицы небесные», опять о человеке...

– А волы, которые дыханием согревали младенца?

– Этого в Евангелии не сказано, это уж мы...

– Ну, осел, наконец, на котором...

– И осел только как способ передвижения. Нет, нет, в Евангелии звери явно обойдены, несправедливо обойдены. Чем человек выше, лучше, чище?

Думаю, что никто из читающих эти строки такого упрека Евангелию еще не слышал. Разве что – от ребенка.

Неутешна и непереубедима.

...Двенадцать холстов сгорели, а один канул. Уже за границей Гончарова пишет для своей приятельницы икону Спасителя, большую, створчатую, вокруг евангелисты в виде зверей. Икона остается мужу. Муж разоряется и продает. «Потом встретились, неловко спросить: кому? Может быть – скорее всего, в Америку. Где-нибудь да есть». – И Вы ничего не сделали, чтобы... – «Нет. Когда вещь пропадает, я никогда не ищу. Как-нибудь, да объявится. Да не все ли равно – если в Америку. Я в Америке никогда не буду». – Боитесь воды? – «И Америки. Вещей я много своих провожала. За-

колачиваю ящик и знаю: навек». – Как в гроб на тот свет? – «Да и есть – тот свет. Ну, еще одного проводила».

Страх воды. Страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду, всю бездну, все *понятие* воды. И, мнится мне, не только воды, а символа Америки – парохода боится, Титаника, с его коварством комфорта и устойчивости в устроенности. Водного Вавилона, Левиафана боится, который и есть пароход²⁴⁸. Старый страх, апокалипсический страх, крестьянский страх. – «Чтоб я – да на эдакой махине...» Лучше – доска, проще – две руки. Скромнее – вернее.

Смиранный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей,
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей!

Океана в России не было, было море, мечта о нем. Любовь к морю, живому, земному, среди-земному, и любовь к океану – разное. Любовь к морю Гончаровой и русского народа есть продолженная любовь к земле – к землям за, к морю – заморью. Любовь к морю у русского народа есть любовь к новым *землям*. А здесь и этого утешения нет. Нью-Йорк (куда зовет ее слава) еще меньше земля, чем океан.

Ненависть крестьянского континента России к «месту пу-

²⁴⁸ Уже по написанию узнаю, что пароход Левиафан – есть. (Имел честь отвозить Линдберга.) Остается поздравить крестного (*примеч. М. Цветаевой.*)

сту» – океану, ненависть крестьянина к безделью. Океан не цветет и не работает. А если и цветет (коралл, например), то мертвое цветение, вроде инея.

«Ей бы в Америку...» Как другие всегда лучше знают! Здесь уместно сказать о Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим именем почти что незнакома. Живут врозь. Вернее, Гончарова работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит за море (за то, за которым никогда не будет), имя гремит на выставках и красуется на столбцах газет, Гончарова сидит (вернее, стоит) дома и работает. Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама по себе. Как иные за именем гонятся, подгоняют его и, в конце концов, загоняют его, вернее, себя, насмерть, так Гончарова от себя имя – гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не мешай. Есть холст. Тебя нету.

Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за именем вслед, а собственным вещам навстречу, и через – и не воду даже, а собственный страх. Перешагнет через собственный страх. И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. (Через Нью-Йорк, как через океан, нужно *перескочить*.)

Как же отразилось живое земное море с серебряными мальчиками в вещах Гончаровой? Как и следовало ожидать – косвенно. То, что я как-то сказала о поэте, можно сказать о каждом творчестве: угол падения не равен углу отражения. Так устроены творческий глаз и слух. Отразилось, но не прямо, не темой, не тем же. Не отразилось, а преобразилось.

Морем не стало и не осталось, превратилось в собственное качество: морской (воздух, цвет, свет, чистота).

Море в взволнованной им Гончаровой отразилось как Гончарова в взволнованном нам – извилиной.

Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, *отдаю*. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи, ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну – синее, ну – чистое, ну – соленое, – в чем тайна? Под кистью – ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее из море и я. *Отраженный удар, а не вещь.*

Отражать – повторять. Мы можем только отобразить. Думаящие же, что отражают, повторяют, пишут с («ты шуми смиренно, а я попишу»), только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, – предположим, удалась синева – где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с Бога. Море – и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать, – вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать.

Дар отдачи. Благодарность.

«Темы моря – нет, ни одного моря, кажется... Но – свет, но – цвет, но та – чистота...»

Морское, вот что взяла Гончарова от моря.

Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, обуславливающее ее, существенное – *роковое* – качество. Соль на соленость, море на морскость обречены, иначе их нет. Море по отношению к соли понятие усложненное, но безотносительно соли такое же единство, как соль. Ибо «морское» не сумма соли, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, а особое новое свойство, недробимое – хотелось бы сказать: сплошное «и прочее» все возможности моря (ограниченного) – безграничные.

И еще: обуславливающее вещь свойство больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может быть все и морское может быть всем. «Морское» – та дорога, по которой вещь выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая. – Перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только – моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойства вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь разное – обреченность на себя, как таковое, и обреченность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта. Не будь море морским и Бог божественным, море давно бы высохло, а Бог давно бы иссяк. И еще: божественное может без Бога, а Бог без божественного

нет. Бога без божественного – нет. Божественное Бога включает, не называя, нужды не имея в имени, ибо не только его обуславливающее роковое свойство, но и его же выдыхание. Бог раз вздохнул свободно, и получилось божественное, которое он прекратить не волен. (Свет с тех солнц идет не х лет, а вечно заставляя солнца гореть.)

Обуславливающее вещь роковое свойство есть только следствие первого единственного вольного вдоха вещи, ее согласие на самое себя. Бог, раз быв божественным, обречен быть им всегда, то есть – впредь, то есть на старом месте его нет, то есть на конце собственного дыхания, которому нет конца. Раз, по вольной воле, всем собой – обречен быть всем собой – век.

Полная, цельная, вольная, добрая моя воля *раз* – вот мой рок.

...Цветущая пустыня Алексея человека Божия веет морем. У весенней Великомученицы пена каймой одежд. По утрам на грядках Огородника не снежок, а сольца. Насыщенный морем раствор – вот Гончарова первого моря. Моги море не быть морским, оно бы от того первого взгляда Гончаровой стало пресным. Ребенок бы сказал: лизнуть картину – картина будет соленая.

Тема. Та ложная примета, по которой море уходит из рук. За ивовым плетением весны – всем голубым, зеленым, розовым, радужным, яблонным

Ходит и дышит и блещет оно.

Сухой Юг отразился Еврейками (позже Испанками) и Апостолами.

Исконно-крестьянско-морское, таков состав первой Гончаровой. Тот же складень в три створки.

Икона, крестьянство, Заморье – Русь, Русь и Русь.

Первая заграница и последняя Россия

В 1914 году (первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, явный рубеж) Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пушкинско-гончаровско-римско-корсаковско-дягилевского «Золотого Петушка». Париж, помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей: победителя – саму Гончарову. «Декорации, танец, музыка, режиссура – все сошлось. Говорили, что – событие»... Если уж Гончарова, при ее небывалой беспамятности и скромности... Послушаем и одного из ее современников.

«Самый знаменитый из этих передовых художников – женщина: имя ее Наталья Гончарова. Она недавно выставила семьсот холстов, изображающих „свет“, и несколько панно в сорок метров поверхности. Так как у нее очень маленькая мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное – ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы *на лице*. И вскоре знать и богема выехали на санях – с лошадьми, домами, слонами – на щеках, на шее,

на лбу. Когда я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем ультрамарина, —

– Смягчить черты, – был ответ.

– Дягилев, Вы первый шутник на свете! – сказал С.

– Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве, на снегу, дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов. Что не мешает этой Гончаровой быть большим художником.

Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром.

– Это ей я заказал декорации к «Золотому Петушку» Римского-Корсакова, которого даю этой весной в Опере, – прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос».

Сделка с совестью.

– Как, Гончарова, сама природа, – и...

– А дикари, только и делающие, не природа?

– Но Гончарова – не дикарь!

– И дикарь, и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, победившая робость, – вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать: Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратила в грунт. Грунт, грунтовка и, кажется, найдено: Гончарова сама себе холст!

Если бы Гончарова просто красила себе щеки? мне стало бы скучно. Так – мне весело, как ей и всем тогда. – Пересол молодости! – Гончарова не морщины закрашивала, а... розы! Не красила, а изукрашала. Двадцать лет.

– Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом?

– По улицам слона водили... Сомнамбулой. Десять кинематографов трещат, толпа глядит, а я – сплю. Ведь это Ларионова идея была и, кажется, его же исполнение...

Не обманул меня – мой первый *отскок*!

После Парижа едет на остров Олерон, где пишет морские Евангелия. Островок Олерон. Сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы рыбаков. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, с русскими почти что незнакомые. А всего месяц как из России. *Ответ на воздух*. Так, само католичество должно

было стать природой, чтобы дойти и войти. С Олерона домой, в Москву, и вскоре вторая поездка, уже в год войны. Последний в России – заказ декораций к «Граду Китежу» и заказ росписи домово́й церкви на Юге, – обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что...

«Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но – как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: какого – куда». (В голосе – озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея человека Божьего.)

Выставки 1903 – 1906 гг.

Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском Училище Живописи и Ваяния (до 1903 г.).

Выставка Московского Товарищества Художников.

Акварельная выставка в здании Московского Литературно-Художественного Кружка.

Русская выставка в Париже – 1906 г. (Устроитель – Дягилев.)

Русская выставка в Берлине у Кассирера.

1906 – 1911 гг.

Мир Искусства (Москва и Петербург).

Золотое Руно (состоит в организации).

Stephanos (Венок) – Москва (состоит в организации).

Венок в Петербурге.

Салон Издебского.

Бубновый валет (1910 г. – 1911 г.).

Ослиный Хвост (1912 г.).

Союз Молодых в Петербурге.

Der Sturm (буря) – Берлин.

Выставка после-импрессионистов в Лондоне (объединение с западными силами).

Herbstsalon (Осенний салон) – Берлин.

Der blaue Reiter (Голубой всадник) – Мюнхен.

Отдельная выставка на один вечер в Литературно– Художественном Кружке (Москва).

После-России

Мы оставили Гончарову в вагонном окне, с путевым альбомом в руках. Фиорды, яркие лужайки, цветущая рябина – в Норвегии весна запаздывает, – благословляющие – за быстротой всегда вслед! – лапы елок, курчавые речки, стремящиеся молодые тела бревен. Глаза глядят, рука заносит. Глядят на то, что видят, не на то, что делают. Станция: встреча глаза с вещью. Весна запаздывает, поезд опережает. Из опережающего поезда – запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. Все, что стоит, – запаздывает. (Деревья и столпники не стоят: идут вверх.) Тем, кто стоит, – запаздывает. А из вагонного окна вдвойне запаздывает – на все наше продвижение. Но в Норвегии – сама весна запаздывает! То, что Гончарова видит в окне, – запаздывает втройне. Как же ей не торопиться?

В итоге целый альбом норвежских зарисовок. Норвегия на лету.

Первая стоянка – Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой не ладится. Навязчивая идея ненастоящести всего: гор и озер, козы на бугре, крыла на воде. Лебеди на Лемане явно-вырезные, куда менее живые, чем когда-то ее деревца. Не домик, где можно жить и умереть, а фанерный «chalet suisse» (сувенир для туристов), которому место на письменном столе... знакомых. Над картонажем коров – картонаж

Альп. Гончарова Швейцарию – мое глубокое убеждение – увидела в неподходящий час. Оттого, что Гончарова увидела ее ненастоящей, она не становится поддельной, но и Гончарова, увидев ее поддельной, от этого не перестает быть настоящей. – Разминовение. – Но – показательное: стоит только Гончаровой увидеть вещь ненастоящей, как она уже не может, суть отказывается, значит – кисть. Не натюрморт для Гончаровой шляпа или метла, а живое, только потому их писать *смогла*. Для Гончаровой *пищущей* натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь натюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает смертью, отказом. (Вспомним городской камень и зиму, – для нее – давящих жизнь: траву.) Смерть (труп) не ее тема. Ее тема всегда, во всем воскресение, жизнь: тот острый зеленый росток ее первого воспоминания. (Писала ли хоть раз Гончарова – смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость воскрешающего. Труп как таковой – никогда,) Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни навек. Живое опровержение смерти.

«Быть может – умру, *наверно* воскресну!»

Идея воскресения, не идея, а живое ощущение его, не когда-то, а вот-вот, сейчас, уже! – об этом все ее зеленые ростки, листки, – *мазки*.

Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о

Гончаровой. Какое чудесное, кстати, слово, насыщенное состояние предмета сделавшее им самим. Нет предмета вне данного его состояния. Цветение (чего-то, и собирательное), плетение (чего-то, из чего-то, собирательное), растение – без ничего единоличное, сам рост. Глагольное существительное, сделавшееся существительным отдельным, олицетворившее собой глагол. *Живой глагол*. Существительное отделившееся, но не утратившее глагольной длительности. Состояние роста в его разовом акте роста, но не даром глагольное звучание – акте непрерывном, акте-состоянии, – вот растение.

Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент – только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит «куст», «рост», куда больше, чем то, с которым произносит «кисть», и – естественно, – ибо кисть у нее в руке, а куст? рост? Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. – «Чем такое большое и круглое дерево, например, хуже, чем...» Это – на словах «не хуже, чем», в голосе же явно «лучше» – что – лучше! – несравненно.

Куст, ветвь, стебель, побег, лист – вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в эстетике. Сама растение, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя: свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки – *родню* пишет тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родню кровную, древнюю, породнее, чем Гончарова – та. Глядя

на Гончарову, глядящую на грядку с капустой – вниз – или на ветку в сережках – вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчку есенинского Пугачева:

« – Дар-рагие мои... ха-ар-рошие... »

Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный ус, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много цветов писала, там – подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы – родню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года весна, в цвет – как в путь – пускающаяся. И еще – одно: цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то – корыстна, а – росток? побег? Ведь только чистый жест роста, побег *от* ствола, на свой страх и риск.

Первое сильное впечатление Европы – Испания. Первое сильное впечатление Испании – развалина/ Никто не работает, и ничто не держится. Даже дома не держатся, держаться ведь тоже работа – вот и разваливается. Разваливается, как лень в креслах: нога здесь, нога там. Естественное состояние – праздность. Не ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой собственных движений, от предпринимательской независимой. Но – лень исключительно на труд. (Есть страны, ленивые только на удовольствия.) Даже так:

азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Страна веселого голода, страна презрения к еде (пресловутая испанская луковица). «Если есть – работать, я не ем». (Детское негодующее: «Я больше не играю».) Гончаровой чужая праздность и чужой праздник не мешают. Полотняный Завод на саламанкский лад. Здесь Гончарова пишет костюмы к Садку, рядит Садка в красную поддевку, царевну в зелено-желто-серебряную не то чешуйку, не то шкурку, наряжает морских чудищ. «Садко», потом, идет в Испании два раза, привезенный Дягилевым «домой».

Историйка.

В пустой старой университетской церкви Саламанки монах рассказывает и показывает группе посетителей давнюю древнюю университетскую славу:

– «Этот университет окончило трое святых. Взгляните на стену: вот их изображения. С этой кафедры, на которую еще не вступала нога ни одной женщины, Игнатий Лойола защищал свою...»

Почтительный подъем посетительских голов и – с *кафедры* слушающая Гончарова.

В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не как отсутствие, а как наличность. Черный как цвет и как свет. Здесь же впервые находит свою пресловутую *гончаровскую* гамму: черный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по себе не яркие, яркими не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства исключительную яркость. Картина ка-

жется написанной красным, скажем, и синим, хотя явно коричневым и белым. Яркость изнутри. (В красках, как в слове, яркость, очевидно, вопрос соседства, у нас – контекста.)

На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит больше полугода и здесь же начинает Литургию – громадную мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по бытовым соображениям не осуществленную.

Гончарова и театр

Основная база Гончаровой – Париж. Здесь она живет и работает вот уже пятнадцать лет.

Начнем с самой громкой ее работы – театральной. Театром Гончарова занималась уже в России: «Золотой Петушок», «Свадьба Зобеиды», «Веер» (Гольдони).

«Золотой Петушок». Народное, восточное, крестьянское. Восточно-крестьянский царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а повязки. Сарафаны, поневы. Бабы и как тогда и как всегда. Яркость – не условная лжерусского стиля «клюква», безусловная яркость вечно – крестьянского и восточного. Не восстановка историка и археолога, архаическое чувство далее. Иным языком: *традиция*, а не реставрация, и *революция*, а не реставрация. Точь-в-точь то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется сказать: Гончарова не в двоюродную бабушку пошла, а в сводного деда. Гончарова вместе с Пушкиным смело может сказать: «я сама народ».

«Золотой Петушок» поворотный пункт во всем декоративном искусстве. Неминуемость пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он «гончаровский», а потому, что он единственный правильный. (Потому и «гончаровский», что «правильный».)

Здесь время и место сказать о Гончаровой – проводни-

ке Востока на Запад – живописи не столько старорусской: китайской, монгольской, тибетской, индусской. И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет – хотя бы самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой для них оживают. Силой, новизной и левизной – дающей, подающей, передающей – дарящей их руки.

«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу, и, с ней, нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, Персия.

«Веер» я видела глазами, и, глаза закрыв: яблонное райское цветущее дерево, затмившее мне тогда всех: и актеров, и героев, и автора. Перешумевшее – суфлера! Веера не помню. Яблоню. Заграничные работы. «Свадебка» Стравинского (Париж). В противовес сложному плетению музыки и текста – прямая насущная линия, чтобы было на чем, вокруг чего – виться причуде. Два цвета: коричневый и белый. Белые рубахи, коричневые штаны. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в глубине дверь то закрывающаяся, то открывающаяся на тяжелую кровать. Но – глубокий такт художника! – для того, чтобы последнее слово осталось за Стравинским, занавес, падающий на молодых, гостей, сватов – свадебку, – сплошное плетение, вязь. Люди, звери, цветы, сплошное переходение одного в другое, из одного в другое.

Век раскручивай – не раскрутишь. Музыка Стравинского, уносимая не в ушах, а в очах.

«Свадебка» и «Золотой Петушок» (в котором все на *союзе* с музыкой) – любимые театральные работы Гончаровой.

«Покрывало Пьеретты» (Берлин – светлое, бальное, с лестницами, с кринолинами. Перенаряженные, в газовом, в розовом, перезрелые чудовища – красавицы, на отбрасывающем фоне которых невесты и красавицы настоящие. Настоящая свеча и продолженное на стене, нарисованное, сияние. Окно и все звезды в окне. В «Жар – Птице» яблонный сад, на который падает Млечный Путь. (Продолженное сияние, полное окно звезд. Млечный Путь, падающий в сад, – все это Гончарова дает впервые. Потом берут все.)

...»Спящая Царевна», неосуществленная Литургия, «Праздник в деревне» (музыка Черепнина), «Rhapsodie Espagnole» (Равель), «Triana». Кукольный театр, «Карагез» (Черный Глаз, – декорации к турецкому теневому театру превращений).

– «Театр? Да вроде как с Парижем: хотела на Восток, попала на Запад. С театром мне *пришлось* встретиться. Представьте себе, что вам заказывают театральную вещь, вещь удастся, – не только вам, но и на сцене, – успех – очередной заказ... Отказываться не приходится, да и *каждый* заказ, в конце концов, приказ: смоги и это! Но любимой моей работой театр никогда не был и не стал».

Приведенное отнюдь не снижает ценности Гончаро-

вой-декоратора и всячески подымает ценность Гончаровой – Гончаровой.

– «Печальная работа – декорации. Ведь хороши только в первый раз, в пятый раз... А потом начнут возить, таскать, – к двадцатому разу неузнаваемы... И ведь ничего не остается – тряпки, лохмотья... А бывает – сгорают. Вот у нас целый вагон сгорел по дороге...» (говорит Ларионов).

Я, испуганно: – Целый вагон?

Он, еще более испуганный: – Да нет, да нет, не гончаровских, моих... Это мои сгорели, к...

И еще историйка. Приходит с вернисажа, веселый, сияющий. – «Гончарову повесили замечательно. Целая отдельная стена, освещение – лучше нельзя. Если бы сам выбирал, лучше бы не выбрал. Лучшее место на выставке... Меня? (ско-роговоркой) меня не особенно, устроитель даже извинялся, говорит, очень трудно, так ни на кого не похоже... В общем – угол какой-то и света нет... даже извинялся... Но вот – Гончарову!»

Имя Ларионова несколько раз встречается в моем живописании. Хотела было, сначала, отдельную главу «Гончарова и Ларионов», но отказалась, поняв, что отделить – у малить. Как выделить в книге о Гончаровой Ларионова – в главу, когда в *книге Гончаровой*, ее бытия, творчества, Ларионов с первой строки в каждой строке. Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларионове – них – собственные слова Гончаровой о нем: «Ларионов – это моя рабочая совесть, мой

камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы *очень* разные, и он меня видит из меня, не из себя. Как я – его».

Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой напоказ детские рисунки: ярмарку, – несколько очень ярких, цветных, резких, и других два, карандашом: ковбои и танцовщица. Гончарова сразу и спокойно накладывает руку на ярмарочные. Немного спустя явление Ларионова. – «Это что такое?» И жест нападчика, хищника – рукой, как ястреб клювом – выклеывает, выхватывает – ковбоев, конечно. – «Вот здорово! Может, подарите совсем? И это еще». – Второй, оставленный Гончаровой.

Много в просторечии говорится о том, кто больше, Гончарова или Ларионов. – «Она всем обязана ему». – «Он всем обязан ей». – «Это он ее так, без него бы...» – «Без нее бы он...» и т.д., пока живы будут. Из приведенного явствует, что – равны. Это о парности имен в творчестве. О парности же их в жизни. Почему расстаются лучшие из друзей, по-глубокому? Один растет – другой перерастает; растет – отстаёт; растет – устает. Не перестали, не отстали, не устали.

Не принято так говорить о живых. Но Гончарова и Ларионов не только живые, а надолго живые. Не только среди нас, но и немножко дальше нас. Дальше и дольше нас.

Из бесед

– «Декоративная живопись? Поэтическая поэзия. Музыкальная музыка. Бессмыслица. Всякая живопись декоративна, раз она украшает, *красит*. Это входит в понятие самого существа живописи и отнюдь не определяет отдельного ее свойства. Декоративность в живопись включена. А только декоративных вещей я просто не знаю. Декоративное кресло? Очевидно, все-таки для того, чтобы в нем сидеть, иначе: зачем оно – кресло? Есть бутафорские кресла, чтобы *не* садиться, люди, очевидно, просто ошибаются в словах.

Декоративным у нас, в ремесле, называют несколько пересеченных ярких плоскостей. Вот что я знаю о декоративности...»

– «Эклектизм? Я этого не понимаю. Эклектизм – одеяло из лоскутов, сплошные швы. Раз шва нет – мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не для того я смотрела, чтобы забыть. Если Вы читаете Шекспира и Шекспира любите, неужели Вы его забудете, садясь за своего Гамлета, например? Вы этого сделать не сможете, он в вас, он стал частью Вас, как вид, на который Вы смотрели, дорога, по которой Вы шли, как случай собственной жизни». (Я, мысленно: – претворенный, *неузнаваемый!*)

– «Я человека вольна помнить, а икону – нет? Забыть – не то слово, нельзя зыбыть вещи, которая уже не вне Вас, а

в Вас, которая уже не в прошлом, а в настоящем. Разве что – „забыть себя“.

– Как тот солдат.

– «Этот страх влияния – болезнь. Погляжу на чужое, и свое потеряю. Да как же я свое потеряю, когда оно каждый день другое, когда я сама его еще не знаю».

– То же самое, что: «я потерял завтрашний день».

– «И какое же это свое, которое потеряннм быть может? Значит, не твое, а чужое, теряй на здоровье! Мое это то, чего я потерять не могу, никакими силами, неотъемлемое, на что я обречена».

И я, мысленно: влияние, влияние *на*. Вздор. Это давление *на*, влияние – *в*, как река в реку, поди-ка разбери, чья вода – Роны или Лемана. Новая вода, небывшая. Слияние. И еще, слово Гёте – странно, по поводу того же Шекспира, которого только что приводила Гончарова: «Все, что до меня, – мое».

О Гамлете же: Гамлета не забуду и не повторю. Ибо незабвенен и неповторим.

Повторность тем

... – «Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а потому, что мне хочется их окончательно сделать, – в самом чистом смысле слова – отделаться». (Чистота, вот одно из самых излюбленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий.)

Гончарова свои вещи не «отделывает», она от них отделяется, отмахивается кистью. Услышим слова. Отделывать как будто предполагать тщательность, отделяться – небрежность. «Только бы отделаться». Теперь вникнем в суть. От чего мы отделяемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, от *вещей – навязчивых идей*. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность от нее отделаться – ее кончить. Что и делает Гончарова.

«Пока не отделаюсь» – сильнее, чем «доделаю», а с «отделаю» и незнакомо. Отделаюсь – натиск на меня вещи, отделяю – мое распоряжение ею, она в распоряжении моем. Отделяет лень, неохота взяться за другое, отделяется захват. Нет, Гончарова, именно, от своих вещей, отделяется, а еще лучше – с ними разделяется – кто кого? как с врагом. И не как с врагом, просто – с врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. Схватиться с вещью, в этой ее обмолвке весь ее взгляд на творчество, весь ее творческий жест и вся творческая суть. Но – с вещью ли схватка?

Нет, с собственным малодушием, с собственной косностью, с собственным страхом: задачи и затраты. С собой – бой, а не с вещью. Вещь в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот раз, так в другой, не через тебя, так через другого. – Нет, именно сейчас и именно через меня.

Признаюсь, что о повторности тем у Гончаровой – преткнулась. Все понимая – всю понятную, – не поняла. Но – что может злого изойти из Назарета? Вот подход. А вот ход.

Раз повторяет вещь, значит, нужно. Но повторить вещь невозможно, значит, не повторяет. Что же делает, если не повторяет? Делает другое что-то. Что именно? К вещи возвращается. К чему, вообще, возвращаются? К недоделанному (ненавистному) и к тому, с чем невозможно расстаться, – любимому, т. е. недоделанному тобой и недовершенному в тебе. Итак, «разделаться» и «не расстаться» – одно. Есть третья возможность, вещь никогда не уходила, и Гончарова к ней никогда не возвращалась. Вещь текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая, но являясь и пропадая только на поверхности действия, внутри же – иконы и крестьянские, например, теча собственной гончаровской кровью. Ведь иконы и крестьяне – в ней.

– Есть вещи, которые вы особенно любите, любимые?

– «Нелюбимые, есть: недоделанные».

Пристрастием Гончаровой к данным темам ничего не объяснишь. Да любит ли художник свои вещи? Пока делает –

сражается, когда кончает – опять сражается и опять не успевает любить. Что же любит? Ведь что-нибудь да любит! Впервые, устами Гончаровой: «я одно любила – делать», действие, самое борьбу. Второе: задачу. То, ради чего делаешь и как делаешь – не вещь. Вещь – достижение – отдается в любовь другим. Как имя. – Живи сама. Я с моими вещами незнакома.

Рассказывает о театральных работах: «Золотой Петушок», «Свадебка», «Покрывало Пьеретты», «Садко»... Да, у меня еще в Америке какая-то вещь есть... не помню, как она называется...» Какая-то... не помню... а ведь был день, когда только этой вещью жила.

...И каждый мазочек обдуман, обмыслен,
И в каждый глазочек угодничек вписан...

Опыт остался, вещь ушла. – Родства не помнящие! – А расставаться жаль. Так, отправляя своих Испанок за море (за то, за которым никогда не будет), Гончарова, себе в утешение, себе в собственность, решает написать вторых, точно таких же, повторить. И – что же? «И тон другой, и некоторые фигуры проработаны иначе». А ведь вся задача была – повторить. Очевидно, непосильная задача. А непосильная потому, что обратная творческой. Да что искать у Гончаровой повторов творца, живой руки, когда и третий оттиск гравюры не то, что первый. Повторность тем при неповторности

подходов. Повторность тем при неповторности дел.

Но, во избежание недоразумений, что – тема? О чем вещи, отнюдь не что вещи, целиком отождествимое с *как*, в тему не входящим, и являющимся (в данном случае) чисто живописной задачей.

Тема – испанки, тема повторяется, т. е. повторяется только слово, наименование вещи и название встречающегося в ней предмета, веер, например. Ибо сам веер от разу к разу – другой. Ибо иная задача веера. Повторность чисто литературная – ничего общего с живописью не имеющая.

Повторность тем – развитие задачи, рост ее. Гончарова со своими вещами почти что незнакома, но и вещи Гончаровой почти друг с другом незнакомы, и не только разнотемные, однотемные. (Вывод: тема в живописи – ничто, ибо тема – все, не – темы нет. Я бы даже сказала: без права предпочтения.) Возьмем Косарей и Бабы с граблями. Тема, прохождение ряда фигур. Живописная задача? Не знаю. Осуществление: другие пропорции, другие цвета, иная покладка красок. Бабы: фигуры к центру, малоголовые, большещелые. Косари (сами – косы!) – фриз, продольное плетение фигур. Что общего? Прохождение ряда фигур. Обща тема. Но так как дело не в ней, а в живописной задаче, которая здесь *явно* разная, то те косари с теми бабами так же незнакомы, как косари Ассирии, скажем, с бабами России.

(Высказываемое целиком от имени чужого творчества. Для поэта все дело в *что*, диктующем *как*. «Ритмы» Крысо-

лова мне продиктованы крысами. Весь Крысолов по приказу крыс. Крысоприказ, а не приказ поэтической задачи, которой просто нет. Есть задача каждой отдельной строки, то есть осуществление всей задачи вещи. Поэтическая задача, если есть, не цель, а средство, как сама вещь, которой служит. И не задача, а процесс. – Задача поэзии? Да. Поэтическая задача? *Нет.*)

– А иногда и без задачи, иногда задача по разрешении ее, ознакомление с нею в конце, в виде факта налицо. Вот разрешила, теперь посмотрим – что. Вроде ответов, к которым же должен быть вопрос.

Мнится мне, Гончарова не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее, вела свое время под меняющимися флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, кубизма, конструктивизма, и, думается мне, ее задачи скорее задачи всей сущности, чем осознанные задачи, ставимые как цель и как предел. Гончаровское *что* не в теме, не в цели, а в осуществлении. Путевое. Попутное. Гончарова может сделать больше, чем хотела, и, во всяком случае, иначе, чем решила. Так, только в последний миг жизни сей, в предпервый – той, мы понимаем, что куда вело. Живописная задача? Очередное и последнее откровение.

Гончарова и школа

Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну, и лучше, чем школу; создала живую, многообразную творческую личность. Неповторимую.

– «Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, я из нее уходила». Гончарова только и делает, что перерастает собственные школы. Единственная школа Гончаровой – школа роста. Как другого научить – расти?

Это о школе-теории, а вот о школе-учебе, учениках. Бывало иногда по три-четыре, никогда по многу. Давала им тему (каждому свою), и тотчас же, увлекшись, тотчас же себе ее воспрещала. «Потому что, если начну работать то же, невольно скажу, укажу, ну просто – толкну карандаш в свою сторону, а этого быть не должно. Для чего он учится у меня? Чтобы быть как я? И я – для чего учу? Опять – себя? – Учу? – Смотри, наблюдай, отмечай, выбирай, отметай не свое – ведь ничего другого, несмотря на самое большое желание, не могу дать». – Будь.

Школу может создать: 1) теоретик, осознающий, систематизирующий и оглаворяющий свои приемы. Хотящий школу создать; 2) художник, питающийся собственными приемами, в приемы, пусть самым открытые, верящий – в годность их не только для себя, но для других, и что, главное, не только для себя иначе, для себя завтра. Спасшийся и спасти жела-

ющий. Тип верующего безбожника. (Ибо упор веры не в открывшемся ему приеме, а в приеме: закрывшемся, обездущенном); 3) пусть не теоретик, но – художник одного приема, много – двух. То, что ходит, верней, покоится, под названием «монолит».

Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет – влияние, заимствование у тебя частностей, отдельностей, ты – в розницу. Возьмем самый близкий нам всем пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных – Онегин. Пушкинский язык – онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы – бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. «Вышел из Пушкина» – показательное слово. Раз *из* – то либо *в* (другую комнату), либо *на* (волю). Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается. А *остающийся* никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контр-пушкинианский. Лучший пример «Темы и Варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.

Влияние Гончаровой на современников огромно. Начнем с ее декоративной деятельности, с наибольшей ясностью явления и, посему, влияния. Современное декоративное искус-

ство мы смело можем назвать гончаровским. «Золотой Петушок» перевернул всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не только на русское искусство – вся «Летучая мышь», до Гончаровой шедшая под знаком 18-го века и Романтизма; художники Судейкин, Ремизов, тот же Ларионов, открыто и настойчиво заявляющий, что его «Русские сказки», «Ночное Солнце», «Шут» – простая неминуемость гончаровского пути. Пример гончаровского влияния на Западе – веский и лестный (если не для Гончаровой, сыновне-скромной, то для России, матерински-гордой), пример Пикассо, в своих костюмах к балету «Tricorne» (Треуголка) давший такую же Испанию, как Гончарова – Россию, по тому же руслу народности.

Это о влиянии непосредственном. А вот о предвосхищении, которое можно назвать влиянием Будущего на художника. Первая ввела в живопись машину (об этом особо). Первая ввела разное толкование одной и той же темы (циклы Подсолнухи, Павлины, 1913 г.). Первая воссоединила станковую живопись с декоративной, прежде слитые. Явные следы влияния на французских художников Леже, Люрса, Глэз, делающих это ныне, то есть пятнадцать лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная живопись в противовес глубинной – русское влияние, возглавляемое Гончаровой. Первая ввела иллюстрации к музыке²⁴⁹.

²⁴⁹ Лучше всего об иллюстрации сказала сама Гончарова: – Иллюстрация? Провешение *темных* (примеч. М. Цветаевой).

У кого училась сама Гончарова? В Школе Живописи и Ваяния – ваянию. И, как дети говорят: «Дальше *всё*». Да, дальше – всё: жизнь – вся, природа – вся, погода – всякая, народы – все. У природы, а не у людей, у народов, а не у лиц.

Новатор. Переступим через пошлость этого слова – хотела ли Гончарова быть новатором? Нет, убеждена, что она просто хотела сказать свое, свое данное, данный ответ на данную вещь, *сказать вещь*. Хотеть дать новое, никогда не бывшее, это значит в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то помнить, когда все нужно забыть. Все, кроме данной скромной, частной чистой задачи. Не только нужно забыть, нельзя не забыть. «Свое»? Нет, правду о вещи, вещь в состоянии правды, саму вещь. Как Блок сказал, обращаясь к женщине:

О тебе! о тебе! о тебе!

Ничего, ничего обо мне.

Хотеть дать «новое» (завтрашнее «старое»), это ведь того же порядка, что хотеть быть знаменитым, – здесь равенство по современникам, там по предшественникам, занятость собою, а не вещью, грех. Хотеть дать правду – вот единственное оправдание искусства, в *оправдании* (казармы, подвалы, траншеи, заводы, больницы, тюрьмы) – *нуждающегося*.

Гончарова и машина

В нашем живописании доселе все спевалось. Гончарова природы, народа, народов, со всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил, Гончарова – деревня, Гончарова – древность. Гончарова – дерево, древняя, деревенская, деревянная, древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо мяса, – земная, средиземная, красно– и– черно-земная, Гончарова – почвы, коры, норы —

боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь бежит по краю земли!»),

сопутствующая лифту,

пылящая пылесос (так и лежит в пыли, как в замше)

– Гончарова первая ввела машину в живопись.

Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина *не* мертвая. Не мертво то, что воеет человеческим – нечеловеческим! – голосом, таким – какого и не подозревал изобретатель! – сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит, как колено в коленной чашке, не мертво, что вдруг – взрывается или: стоп – внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не может больше, кончает быть – она живая. Мертвым был бы только *perpetuum mobile* (чего? смерти, конечно). В ее смертности

– залог ее живости. Раз умер – жил. Не умирает на земле – только мертвец.

Не потому, что мертвая, противопоставляю машину живой Гончаровой, а потому что – убийца. Чего? Спросите беспального рабочего. Спросите любого рабочего. Не забудьте и крестьянина, у которого дети «в городе». Спросите русских кустарей. Убийца всего творческого начала: от руки, творящей, до творения этой руки. Убийца всего «от руки», всего творчества, всей Гончаровой. Гончаровой машины – лишняя, но мало лишняя – еще и помеха: то внешне – лишнее, становящееся – хотя не хоти – внутренним, врывающееся – через слух и глаз – внутрь. Гончарова скачущую лошадь часов слышит в себе. Сначала скачущую лошадь на краю света, потом внутри тела: сердца. Физическое сердцебиение в ответ и в лад. Как можно, будучи Гончаровой – самим оком, самим эхом, – не отозваться на такую вещь, как машина? Всей обратностью отзывается, всей враждой. Вводи не вводи в дом, но ведь когда-нибудь из дома – выйдешь! А не выйдешь – сама войдет, в виде – хотя бы жилетных часов – гостя. И лошадь будет скакать. (Знаю эту лошадь: конь Блед, по краю земли – конца земли!)

Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь, с собственным сердцем, падающим в лифте – в лифт же! – с собственной ногой, переламывающейся по выходе с катящейся лестницы. О, бессмыслица! мало сознания, что земля катится, нужно еще, чтобы под

ногой катилась! о уничтожение всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, и только пока иду (когда пройду, лестницы опять льются! в зал, в пруд, в сад), – уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас в такую прорву глупости: раз лестница – я должен идти, но лестница... идет! я должен стоять. И ждать – пока доедет. Ибо не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обесмысливая ее без того уже бессмысленный замысел: самоката, как она обесмыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас лишний. Глядя на все тысячи поднимающихся (гончаровское метро Mabillon, где я ни разу за десятки лет не подымалась, по недвижущейся, с соседом), глядя на весь век, – явно я.

Пушкин ножки воспевал, а я – ноги!

«Maison roulante»' «Дом на колесах» (фр.). (детская книжка о мальчике, украденном цыганами), – да, tapis roulant²⁵⁰ – нет.

Чтобы покончить с катящейся лестницей: каждая лестница катится 1) когда тебя на ней нет 2) в детстве, когда с нее.

Гончарова машину изнутри – вовне выгоняет, как дурную кровь. Когда я глазами вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, с машиной (чуждость, отвращение, притяжение, страх) весь роман розни – любовь.

Машина – порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но,

²⁵⁰ Эскалатор (фр.).

поработив природу, сам поработен орудием порабощения – машиной: сталью, железом, природой же. Человек, природу восстановив против самой себя, с самой собой стравив, победителем (машиной) раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до–конца – во-веки непобедимого побежденного – природы: пожаров, землетрясений, извержений, наводнений, откровений... Попадение под двойной рок. Человек природу с природой разъединил, разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление справа, давление слева, а еще сверху – Бог, а еще снизу – гроб.

Но – природа своих познаша. Откажемся от личных преимуществ и немощей (то, что я опережаю лифт, – моя сила, то, что я в него боюсь встать, – мой порок). Есть давность у нововведений. Фабричная труба почти природа, как колокольня. Рельсы уже давно река, с набережными – насыпями. Аэроплан завтра будет частью неба, зачем завтра, когда уже сейчас – птица! И кто же возразит против первой машины – колеса?

И, может быть, минуя все романы, любви и ненависти, Гончарова просто приняла в себя машину, как²⁵¹ ландшафт.

Машина не только поработитель природы, она и поработенная природа, такая же, как Гончарова в городе. Машина с Гончаровой – союзники. Соответствие. Солдата заставляют расстреливать – солдата. Кто он? Убийца. Но еще и самоубийца. Ибо часть армии, как его же пуля – часть руды. Сол-

²⁵¹ Это сделал (*примеч. М. Цветаевой*).

дат в лице другого такого же сам себя, самого себя убивает. В самоубийце слиты убийца и убиенный. Солдат может отказать – отказывается (расстрел мисс Кавель, узнать имя солдата). Но и машина отказывается. Отказавшийся солдат – бунт. Отказавшаяся машина – взрыв. На том же примере – осечка. Гончарова, отказывающаяся в лифт, – тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа не захотела.

Если Гончарова с машиной, орудием порабощения, во вражде, с машиной, природой порабощенной, она в союзе. «Мне тебя, руда, жаль».

Все это догадки, домыслы, секунды правды. А вот – сама Гончарова: «Принцип движения у машины и у живого – один. А ведь вся радость моей работы – выявить равновесие движения».

Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине я услышала только после шести месяцев знакомства.

Показательна не менее (показывать, так все) первая примета для Гончаровой дороги в Медон (который от первого ее шага становится Медынью): «Там, где с правой стороны красивые трубы такие... то две, то пять, то семь... то сходятся, то расходятся...»

Заграничные работы

Кроме громких театральных работ (громких отзывом всех столиц) – работы более тихие, насущные.

На первом месте Испанки. Их много. Говорю только о последних, гончаровском plain-chant²⁵². Лучший отзыв о них недоуменный возглас одного газетного рецензента: «Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des cathédrales!» (Да это же не женщины, это – соборы!) Всё от собора: и створчатость, и вертикальность, и каменность, и кружевность. Гончаровские испанки – именно соборы под кружевом, во всей прямоти под ним и отдельности от него. Первое чувство: не согнешь. Кружевные цитадели. Тема испанок у Гончаровой – возвратная тема. Родина их тот первый сухой юг, те «типы евреев», таких непохожих на наших, таких испанских. В родстве и с «Еврейками», и с «Апостолами» (русские работы).

«Одни испанки уехали» – никогда не забуду звука *рока* в этом «уехали». Здесь не только уже неповторность в будущем, а физическая невозвратность – смерть. Как мать: второго такого не порожу, а этого не увижу. Сегодня испанки, завтра тот мой красный корабль. Гончаровой будет легко умирать.

Поэты этого расставания не знают, знают одно: из тетради в печать, – «и другие узнают». Расставание поэта – расстава-

²⁵² Песнопение (*фр.*).

ние рождения, расставание Гончаровой – расставание смерти: «всй увидят, кроме меня».

Красный корабль. Глазами и не– глазами увидела, по слову Гончаровой и требованью самой вещи накладывая краски на серый типографский оттиск и раздвигая его из малости данных до размеров – подлинника? – нет, замысла! Не данной стены, а настоящего корабля. Небывалого корабля.

Красный корабль. Как на детских пиратских – неисчислимое количество – по шесть в ряд, а рядов не счесть – боеготовных вздутых парусков. Корабль всех школьников: ду – неба! А сверху, снизу, в снастях как в сетях – сами школьники: юнги, с булавочную головку, во всей четкости жучка, взятого на булавку. Справа – куда, слева – откуда. Слева – дом корабля, справа – цель корабля. Левая створка: березы, ели, лисичка, птички, сквозное, пушное, свежее, светлое, северное. Справа – жгут змея вокруг жгута пальмы, густо кишаше, влажно, земно, черно. А посередке, перерастая и переполняя, распирая створки, – он, красный, корабль удачи, корабль добычи вопреки всем современным «Колумбиям», вечный корабль школьников – *мечта о корабле*.

Ширмы – сказала Гончарова. А я скажу – окно. Четырехстворчатое окно, за которым, в которое, в котором. Вечное окно школ – на все корабли. Сегодня проплывает красный.

Красный корабль проплыл вместе с окном. В те самые тропики, утягивая с собой и левую створку – Север. Из жизни Гончаровой ушло все то окно. Вместо него голая стена.

Глухая стена. А может быть – дыра в стене, во всю стену – на какой-нибудь двор, нынче парижский, завтра берлинский. Эту дыру Гончарова возит с собой. Дыра от корабля. Вечная. Но не одна Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу. Гончарова больше никогда, я просто никогда. *Никогда* – больше.

Большое полотно «Завтрак». Зеленый сад, отзавтракавший стол. На фоне летних тропик – семейка. Центр внимания – усатый профиль, усо– устремленный сразу на двух: жену и не– жену, голубую и розовую, одну обманщицу, другую обманутую. Голубая от розовой закуривает, розовая спички – пухлой рукой – придерживает. Воздух над этой тройкой – вождление. Напротив розовой, на другом конце стола, малохолмный авдиот в канотье и без пиджака. Красные руки вгреблись в плетеную спинку стула. Ноги подламываются. Тоже профиль, не тот же профиль. Усат. – Безус. Черен. – Белес. Подл. – Глуп. Смотрит на розовую (мать или сестру), а видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, когда тоже, как дитя, будет, смотрит – сразу на двух. Белая возле и смотрит на него. Воздух в этом углу еще – мление. И, минув всех и все: усы, безусости, и подстольные нажимы ног, и подскатертные пожимы рук, – с лицом непреклонным как рок, жестом непреклонным как рок, – поверх голов, голубой и розовой – почти им на головы – с белым трехугольником рока на черной груди (перелицованный туз пик) – на протезе руки и, на ней, подносе – служанка подает фрукты.

Подбородок у розовой вдвое против положенного, но не римский. Нос у канотье как изнутри пальцем выпихнут, но не галльский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочной морщине, деревянной. О голубой сказать нечего, ибо она обманута. О ней скажем завтра, когда так же будет глядеть – сразу на двух: черного и его друга, которого нет, но который вот-вот придет. Друг – рыжий. Кто дома, кто в гостях? Чей завтрак съели? Нужно думать, обманутой. Розовая с братом-(или сыном)-канотье в гостях. Захватила, кстати, и племянницу (белую). Чтоб занять канотье. А самой заняться усом. Рука уса на газете, еще не развернутой. Когда розовая уйдет, а голубая останется – развернет.

Детей нет и быть не может, собака есть, но не пес, а бес. За этим столом никого и ничего лишнего. Вечная тройка, вечная двойка и вечная единица: рок.

Либо семейный портрет, либо гениальная сатира на буржуазную семью. Впрочем – то же.

Иконные вещи, перебросившиеся за границу. – «Времена года» (четыре панно). Циклы «Купальщицы», «Магнолии», «Рыбы», «Павлины». Вот один – под тропиками собственного хвоста. Вот другой – «Павлины на солнце», где хвост дан лучами, лучи хвостом. «Солнце – павлин». – «Я этого не хотела». Не хотела, но сделала.

«Колючие букеты» (цветы артишока, аканта, чертополоха) – угрозы растущего.

Альбом «Весна», которую я бы назвала «Весна враздробь». Периодическая дробь весны с каким-то остатком, во-веки неделимым. Вот цепи зарисовок:

Весна. Цветение в кристалле. Острия травы как острия пламени. Брызги роста. Цвет или иней? После Баха (весь лист сверху донизу в радужной поперечной волне. Баховские «струи»). Из весны – в весну (снаружи – в дом, уже смытый весною. Уцелело одно окно). Весна – наоборот: где небо? где земля? – Пни с брызгами прутьев. – Изгородь в звездах (в небе цветы, на лугу звезды)... И опять Бах.

Альбомы «Les cités» (Города, Театральные портреты, рисунки костюмов к «Женщине с моря») (последняя роль Дуже). Альбом бретонских зарисовок. Альбом деревьев Фонтенебло. Иллюстрации к «Vie persanne». Иллюстрация к «Слову о полку Игоревом». Называю по случайности жеста Гончаровой в ту или другую папку. Гончаровское наследие – завалы. Три года разбирать – не разберешь. Гончарова, как феодальный сеньор, сама не знает своего добра. С той разницей, что она его, руками делала.

Игорь. Иллюстрации к немецкому изданию Слова. Если бы я еще полгода назад узнала, что таковые имеются, я бы пожалала плечами: 1) потому что *Игорь* (святыня, то есть святотатство); 2) потому что я поэт и мне картинок не надо; 3) потому что я никого не знаю Игорю (Слову) в рост. Приступала со всем страхом предубеждения и к слову, и к делу иллюстрации. Да еще – Слова!

Есть среди иллюстраций Игоря – Ярославна, плач Ярославны. Сидит гора. В горе – дыра: рот. Из рта вопль: а-а-а... Этим же ртом, только переставленным на *о* (вечное *о* славословия) славлю Гончарову за Игоря.

Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, всё. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь – что еще?), все области живописи, за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы. Мы уже говорили о гармоничности гончаровского развития: вне катастроф. То же можно сказать о самом процессе работы, делания вещи. Терпеливо, спокойно, упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу – завтра смогу. Оторвали – вернусь, перебили – срашусь. Вне перебоев.

Формальные достижения? Я не живописец, и пусть об этом скажут другие. Могли бы сказать и о «цветных плоскостях», и хвастануть «тональностями», и резнуть различными «измами», – все как все и, может быть, не хуже, чем все. Но – к чему? Для меня дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом, не в словах, «измах», а в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о ней было бы таким же делом, как ее каждый мазок. Отсюда эта смесь судебного следствия и гороскопа.

Кончить о Гончаровой трудно. Ибо – где она кончается?

Если бы я имела дело исключительно с живописцем, не хочу называть (задевать), хотя дюжина имен на языке, с личностью, знак равенства, вещью, за пределы подрамника не выступающей, заключенной в своем искусстве, в него включенной, а не неустанно из него исключаемой, – если бы я имела дело не с естественным феноменом роста, а с этой противуестественностью: только-художник (профессионал) – о, тогда бы я знала, где кончить, – так путь оказывается тупиком, – а может быть, и наверное даже, вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исключением среди живописцев, с живописцем исключительным, таким же явлением живописи, как сама живопись явление жизни, с двойным явлением живописи и жизни – какое больше? оба больше! – с Гончаровой-живописцем и Гончаровой-человеком, так сращенным, что разъединить – рассечь.

– С точкой сращения Запада и Востока, Бывшего и Будущего, народа и личности, труда и дара, с точкой слияния всех рек, скрещения всех дорог. В Гончарову все дороги, и от нее – дороги во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустанно отступала – в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, не даваясь, как даль. И не я неустанно свою тему перерастала, а это она неустанно вырастала у меня из рук.

...С творческой личностью – отчеркни всю живопись – все останется и ничто не пропадет, кроме картин.

С живописцем – не знай мы о *ней* ничего, все узнаем, кро-

ме разве дат, которых и так не знаем.

– Все? В той мере, в какой нам дано на земле ощутить «все», в той мере, как я это на этих многих листах осуществить пыталась. *Все, кроме еще всего.*

Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого *еще-всего*, совсем-всего, всего-всего отказаться – заставили, ну просто приперли к стене, или разбудили среди ночи: ну?

Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара.

И погашая уже пробудившуюся (да никогда и не спавшую) – заработавшую – заигравшую себя – всю:

Кончить с Гончаровой – пресечь.

Пресекаю.

Медон, март 1929

Живое о живом (Волошин)

*...И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!*

Одиннадцатого августа – в Коктебеле – в двенадцать часов пополудни – скончался поэт Максимилиан Волошин.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти – удовлетворенность: в полдень: в свой час.

Жизни ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира – в свой час, в волошинский час.

И достоверно – в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля), – явно полдень года, самое сердце лета.

И достоверно – в самый *свой* час Коктебеля, из всех своих бесчисленных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на

которое глядеть нельзя.

Эта печать коктебельского полдневного солнца – на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои пятьдесят градусов – от первого дня до последнего дня – десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны.

Парусина, полынь, сандалии – что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) – чистое и вечное – грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее – городского и модного – на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру.

И так в свой час – в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо лю-

бил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина – полдневная, а полдень из всех часов суток – самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими – то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, *Démon de Midi*²⁵³, и нашего скромного русского полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: «Лёнка, идем купаться!» – «Не пойду-у: полуденный утащит». – Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава.

Таково и творчество Волошина, в котором, по-женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек («семь пудов мужской красоты», как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки – козочек. Неуто-

²⁵³ Демон Полудня (фр.).

мимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз – он и я – по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность – как только свидевшиеся друзья – в непрерывности беседы и ходьбы – часами – летами – все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не пересыхала – он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун.

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трехпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе выющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: «Можно мне видеть Марину Цветаеву?» – «Я». – «А я – Макс Волошин. К вам можно?» – «Очень!»

Прошли наверх, в детские комнаты. «Вы читали мою статью о вас?» – «Нет». – «Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц, как появилась».

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль – вступление. Потом об одной мне – первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге «Вечерний альбом». Помню о романтике сущности

вне романтической традиции – такую фразу: «Герцог Рейхштадтский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных лет...», цитату:

Если думать – то где же игра? —

и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах – живет, и главный упор статьи, стихи «Молитва»:

Ты дал мне детство лучше сказки,
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Вся статья – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию.

«Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал?» – «Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат». – «А вы – в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?» – «Пишу стихи».

Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения – явно располагающая.

– А вы всегда носите это?..

– Чепец? Всегда, я бритая.

– Всегда бритая?

– Всегда.

– А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы.

– Пожалуйста.

Но я еще руки поднять не успела, как он уже – осторожно – по-мужски и по-медвежьи, обеими руками – снял.

– У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...

Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки – и, просительно:

– А нельзя ли было бы уж зараз снять и...

Я:

– Очки?

Он, радостно:

– Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.

Я, на этот раз опережая жест:

– Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он спокойно:

– Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и, созерцательно:

– Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?

– Никогда, потому что никто не видел меня бритой.

– Но зачем же вы тогда бреетесь?

– Чтобы носить чепец.

– И вы... вы всегда будете бриться?

– Всегда.

Он, с негодованием:

– И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это – у поэта – главное!.. А теперь давайте беседовать.

И вот беседа – о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю – полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого – и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно – прозорливых, И оттого, что не больших, только больше видящих – и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли – что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды.

Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь – личное, сплошь – лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского «Aiglon»²⁵⁴, о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там

²⁵⁴ «Орленка» (фр.).

все-таки ничего не видела, о том Париже – с N majuscule повсюду – с заглавным N на взлобьях зданий – о Его Париже, о моем Париже.

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, вставляя:

– А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – вы знаете?

– Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II – и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.

Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась:

– Вы здесь живете?

– Да, то есть не здесь, конечно, а...

– Я понимаю: в Шенбрунне. И на св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната?

– Это – детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра – Ася.

– Я бы хотел посмотреть вашу.

Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах) – звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына – Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина – вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую

Москву. Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И все.

Макс, даже не попробовавший протиснуться:

– Как здесь – тесно!

Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда – избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она-то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах – дружбу, в тех и других – некий священный трепет, никогда не дававший сходить с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически, в виде его чудного котового живота.

– Как здесь тесно!

Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя.

Вкрадчивый голос:

– А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы...

В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану.

Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme...²⁵⁵

– Вы понимаете? Тон (любовь) – и все-таки Altesse!

Ame pour qui la mort fût une guérison...²⁵⁶

– А для кого – *не*?

Dorme dans le tombeau de sa double prison,
De son cercueil de bronze et de son uniforme²⁵⁷.

– Вы понимаете, что *Римского* короля похоронили в австрийском!

Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое семнадцатилетнее во всей чистоте его самосожжения – не оспаривает – только от времени до времени – робко:

– А Анри де Ренье вы не читали – «*La double maitresse*»²⁵⁸?
А Стефана Малларме вы не...

И внезапно – au beau milieu Victor Hugo'scêoé оды²⁵⁹ Наполеону II – уже не вкрадчиво, а срочно: – А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место? – Можно, конечно, вниз

²⁵⁵ А теперь нужно, чтобы твое сиятельство уснуло... (*фр.*)

²⁵⁶ Душа, для которой смерть была исцелением (*фр.*).

²⁵⁷ Пусть спит в гробнице своей двойной тюрьмы. Своего бронзового гроба и мундира (*фр.*).

²⁵⁸ «Дважды любовница» (*фр.*).

²⁵⁹ Посреди оды Виктора Гюго (*фр.*).

тогда, но там семь градусов и больше не бывает.

Он, уже совсем сдавленным голосом:

– У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, – знаете... задыхаюсь.

Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале – совсем пустой и ледяной – вздыхает всей душой и телом и с ласковой улыбкой, нежнейше:

– У меня как-то в глазах зарябило – от звезд.

Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа.

Сидим, он на диване, я на валике (я – выше), гадаем, то есть глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукая, помню только одно:

– Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать, подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам.

– Как? Уже?

– А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду.

Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка...

Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать.

– Барышня, а гость-то ваш – никак, ушли?

– Только что проводила.

– Да неужто вам, барышня, не стыдно – с голой головой – при таком полном барине, да еще кудреватом таком! А в цилиндре пришли – ай жених?

– Не жених, а писатель. А чепец снять – сам велел.

– А-а-а... Ну, ежели писатель – им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им, видать – ух! – пондравились: уж тбк на вас глядел, уж так на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость!

Через день письмо, открываю: стихи:

К вам душа так радостно влекома!

О, какая веет благодать

От страниц Вечернего Альбома!

(Почему альбом, а не тетрадь?)

Отчего скрывает чепчик черный

Чистый лоб, а на глазах очки?

Я отметил только взгляд покорный

И младенческий овал щеки.

Я лежу сегодня – невралгия,

Боль, как тихая виолончель...

Ваших слов касания благие

И стихи, крылатый взмах качель,
Убаюкивают боль: скитальцы,
Мы живем для трепета тоски...
Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ваша книга – это весть оттуда,
Утренняя благодатная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо – есть!

Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, – домашним, конечно, ни слова! – к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи.

Читает:

– «К вам душа так радостно влекома – О, какая веет благодать – От страниц Вечернего Альбома – Почему альбом, а не тетрадь?»

Прерывая:

– Почему – альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом – дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.

Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах – очки?

А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг – в чепце! (Впрочем, бритая было бы еще хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила... – «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». – А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! «Я лежу сегодня – невралгия – Боль как тихая виолончель – Ваших слов касания благие – И стихи, крылатый взмах качель – Убаюкивают боль. Скитальцы, – Мы живем для трепета тоски...» – Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу все более и более омраченная и на последнем, как туча):

Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?

Ну вот видите – пальцы... Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома... Это всегда так начинается: пальцы... Мой друг, верните ему это письмо с подчеркнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома и вообще...» Он все-таки должен знать, что вы дочь вашего отца... Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть, действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его... по... виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.

– Но – во-первых, я его не гладила, а во-вторых, – если бы

даже – он поэт!

– Тем хуже. В меня тоже был влюблен один поэт, так его пришлось – Юлию Сергеевичу – сбросить с лестницы.

Так и ушла с этим неудобным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы – к нам же в залу.

Дальше – хуже. То есть через день: бандероль, вскрываю: Henri de Régnier, «Les rencontres de Monsieur de Bréot»²⁶⁰.

Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся, временами, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы – маркизы, конечно, – гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть – уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de Bréot.

В негодовании захлопываю книгу. Эту – дрянь, эту – мерзость – мне? С книгой в руках и с неизъяснимым чувством безразличности к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскрывает, верней, выскакивает, как оженная.

– Милый друг, это просто – порнография! (Пауза.) За это, собственно, следовало бы сослать в Сибирь, а этого... поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! (Пауза.) Нечего сказать – маркизы! Вы видите, как я была

²⁶⁰ Анри де Ренье, «Встречи господина де Брэо» (*фр.*).

права! Милый друг, выбросьте эту ужасную книгу, а самого его, с этими (брезгливо) холодными висками... спустите с лестницы! Я вам говорю, как мать, и это же бы вам сказал ваш отец – если бы знал... Бедный Иван Владимирович!

Тотчас же садитесь и пишите: «Милостивый государь» – нет, какой же он государь! – просто без обращения: Москва, число. – После происшедшего между нами – нет, не надо между нами, а то он еще будет хвастаться – тогда так: «Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права преступить порог моего дома. Подпись». Все.

– По-моему – слишком торжественно. Он будет смеяться. И я совсем не хочу, чтобы он больше ко мне никогда не пришел.

– Ну, как знаете, но предупреждаю вас, что: *те* стихи, *эта* книга – а третье будет... словом, он поведет себя как тот Monsieur – как его? – в том... нечего сказать! – гроте.

Мое письмо вышло проще, но не кротче. «Совершенно не понимаю, как вы, зная книги, которые я люблю, решились прислать мне такую мерзость, которую вам тут же, без благодарности, возвращаю».

На следующий день – явление самого Макса, с большим пакетом под мышкой.

– Вы очень на меня сердитесь?

– Да, я очень на вас сердилась.

– Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, *что* вам понравится, вернее, я так и знал, что вам не понравится – а теперь я знаю, *что* вам понравится.

И книга за книгой – все пять томов Жозефа Бальзамо Дюма, которого, прибавлю, люблю по нынешний день, а перечитывала всего только прошлой зимой – все пять томов, ни страницы не пропустив. На этот раз Макс знал, *что* мне понравится.

(Выкладывая пятый том:

– Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите!

– Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите!)

Чтобы не оставлять ни тени на безупречном друге стольких женских душ и бескорыстном созерцателе, а когда и строителе стольких судеб, чтобы не оставлять ни пятнышка на том солнце, которым был и есть для меня Макс, установлю, что вопреки опасениям моей заботливой и опытной в поэтах приятельницы – здесь и тени не было «развращения малолетних». Дело несравненно проще и чище. Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал – всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил – как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборот – вышло. Не только

я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матёрому, бывалому, проваливаться со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в мое брэнное собственное и бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей и еще шести Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд. Что он и делал – с неизбывным терпением и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжелыми вздохами, как только собаки и очень тучные люди вздыхают: вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том Мемуаров Казановы, с первой же открывшейся страницы, был ему возвращен без всякой обиды, а просто:

– Спасибо: гроты, вроде твоего маркиза, возьми, пожалуйста, – в чем меня очень поддержала мать Максимилиана Волошина, Елена Оттобальдовна.

«В семнадцать лет – Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» – «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся... Мне казалось...» – «Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут *показаться* Мемуары Казановы!» – «Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!» – «Дурам, а Марина умная, итальянкам, а Марина – русская. А теперь, Макс, точка».

Каждая встреча начинается с ошупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времен – любви, дружбы, брака –

чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен.

Очередной подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей – не забыть восхитительной женской книги «Трагический зверинец» и прекрасного Аксёля – был подарок мне живой героини и живого поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриак. Знаю, что многие это имя знают, для тех же, кто не знает, в двух словах:

Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Димитриева, с маленьким физическим дефектом – поскольку помню – хромала. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа:

– Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и единоголосный ответ школьников:

– Гришка Отрепьев!

В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу. Как он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и ее стихи – кони, плащи, шпаги, – не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей этой сущности обратное – внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его –

всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали: Джордж Элиот, Шарлотта Бронте, Жюли де Леспинас, Мэри Вебб и другие, и другие, и другие некрасивые любимицы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить, я с такой собой – не могу жить. *Эта* – не я.

Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: настольным и настенным, Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы – даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Димитриева наедине сама с собой.

Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева – с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту – людскую, – и, особенно, мужскую – ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую неправедность, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты, – умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же – непреложно. Любят красивых, некрасивых – не любят. Таков закон в послед-

ней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского «Аполлона». Руку на сердце положи, – может школьная, скромная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечаю: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то – большие поэты! – вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет – Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чем-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами...

Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле – нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее, весь «Аполлон» – и приди она завтра в редакцию «Аполлона» самолично – такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой – весь «Аполлон» почувствует себя обокраденным, и мало разлюбит, ее возненавидит весь «Аполлон». От оскорбленного: «А я-то ждал, что...» – до снисходительного: «Как жаль, что...» Ни этого «ждал», ни «жаль» Е. И. Д. не должна прослышать.

Как же быть? Во-первых и в-главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела – физического и бытового, – дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть,

дать ей тело этой души. Какое же у этой души должно быть тело? Кто, какая женщина должна, по существу, писать эти стихи, по существу, эти стихи писала?

Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно (Байрон в женском облиции, но даже без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастья – красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, через все, ни из-за чего – несчастье. И главное забыла: свободная – явно: от страха своего отражения в зеркале приемной «Аполлона» и в глазах его редакторов.

Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом.

«А это, что у тебя сейчас в руках, это – Габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это – Габриак». – «А Габриак – что?» – «Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина». – «А Черубина откуда?» – «Черубина, то есть женское от Херувим, только мы *К* заменили *Ч*, чтобы не совсем от Херувима». Я, впадая: «Понимаю. От черного Херувима».

Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Един-

ственная дочь, живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут – то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В «Аполлон» никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить – не выследят никогда, если же выследят – беда и ей, и им. Единственная достоверность: по воскресеньям бывает в костеле, но невидима, ибо поет в хоре. Всё.

Как же все это – «Аполлону», то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают: в нее поверив. Как в себя такую поверить? Заставить других поверить. Круг. И в этом круге, благом на этот раз, постепенное превращение Е. И. Д. в Черубину де Габриак. Написала, – поверила уже буквам нового почерка – виду букв и смыслу слов поверил адресат, – ответу адресата, то есть вере адресата – многоликого адресата, единству веры многих – поверила Е. И. Д. и в какую-то секунду – полное превращение Елизаветы Ивановны Димитриевой в Черубину де Габриак.

– Начнемте, Елизавета Ивановна?

– Начнемте, Максимилиан Александрович!

В редакцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке – древесный листок. Адрес «До востребования Ч. де Г.».

В редакцию «Аполлона» через несколько дней пришло другое письмо – опять со стихами, и так продолжали приходиться, переложенные то листком маслины, то тамариска, а ре-

дакторы и сотрудники «Аполлона» – как начали, так и продолжали ходить как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя – неизвестной, скрывшей лицо.

Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном – стоит же где-то! – особняке живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в костеле – ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее – умереть.

И вот началась эпоха Черубины де Габриак. Влюбился весь «Аполлон» – имен не надо, ибо носители иных уже под землей – будем брать «Аполлон» как единство, каковым он и был – перестал спать весь «Аполлон», стал жить от письма к письму весь «Аполлон», захотел увидеть весь «Аполлон». Их было много, она – одна. Они хотели видеть, она – скрыться. И вот – увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика – окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининога замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги.

– Елизавета Ивановна Дмитриева – Вы?

– Я.

Одно имя назову – Сергея Маковского, поведшего себя, по словам М. Волошина, безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей, такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубине до конца.

За этот *кровавый* жест – Сергею Маковскому спасибо.

Это был конец Черубины. Больше она не писала. Может быть, писала, но больше ее никто не читал, больше ее голоса никто не слышал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти – строки:

В небе вьется красный плащ, —
Я лица не увидала!

И еще:

Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть!

И – в ответ на какой-то букет:

И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах!

– образ ахматовский, удар – мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня – до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной – безымянной.

И последнее, что помню:

О, суждено ль, чтоб я узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет!

– магически и естественно перекликающееся с моим:

Ты дал мне детство лучше сказки
И дал мне смерть – в семнадцать лет!

С той разницей, что у нее *суждено* (смерть), а у меня – *дай*. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлечшие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как неэстет любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву – с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было – не в моей любви.

Черубина де Габриак умерла два года назад в Туркестане. Не знаю, знал ли о ее смерти Макс.

Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому, что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере – женских и

поэтовых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel²⁶¹, когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом или, что вернее, поэт – женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек событийный. Как вся его душа – прежде всего – сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов – эклектизмом.

То единство, в котором было всё, и то всё, которое было единством.

Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла ее имя:

«Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть он все выправлял». Другие же: «Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал – под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом». И сколько я ни оспаривала, ни вскипала, ни скрежетала – «Нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин под псевдонимом».

Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей – целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего – зрение. Поэт – живописец и ваятель, поэт – мирозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же

²⁶¹ Ниспосланным провидением, провидцем (*фр.*).

не мог написать стихов Черубины, как Черубина – его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один – мужчина, другой – женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах – неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с неизвестным, несущественность в деле поэтической силы – мужского и женского, естественность одной и той же полыни в стихах при одном и том же полынным местопребывании – Коктебеле, право всякого на одну полынь, лишь бы полынь выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею», – вот точные слова М. В. о своем предполагаемом авторстве.

Макс больше сделал, чем написал Черубинины стихи, он создал живую Черубину, миф самой Черубины. Не мистификация, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, Черубину создав, остался в тени, – из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей любви и благодарности – за Черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю – благодарности.

А вот листочки, которыми Черубина перекладывала стихи, – маслина, тамариск, полынь – действительно волошинские, ибо были сорваны в Коктебеле.

Эта страсть М. В. к мифотворчеству было сказала и на

мне.

– Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь – замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь *его*, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя – Брюсов, например, – будет колоть стихами Петухова: «Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет...» Петухов станет твоей *bête poire*²⁶², Марина, тебя им замучит, Марина, и ты никогда – понимаешь? *никогда!* – уже не сможешь написать ничего о России под своим именем, о России будет писать только Петухов, – Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, – поэтессу или поэта? – и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи.

²⁶² Наваждением (*фр.*).

– Макс! – а мне что останется?

– Тебе? Всё, Марина. Всё, чем ты еще будешь!

Как умолял! Как обольщал! Как соблазнительно расписывал анонимат такой славы, славу такого анонимата!

– Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце. Кроме тебя, в русской поэзии никого не останется. Ты своими Петуховыми и близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина...

– И тебя, Макс!

– И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь – всё, ты будешь – всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь – *те*.

Но Максино мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни всё, что пишу, – подписывать. А хороший был бы Петухов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю.

Сосуществование поэта с поэтом – равенство известного с неизвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым зрелым стихам, как тридцатилетний М. В. к моим шестнадцатилетним. Так люди считаются только с патентованным, для них – из-за большинства голосов славы – несомненным. Ни в чем и никогда М. В. не дал мне

почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил и за мои промахи. Как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра (а времена были сильно мэтровые!), все от спутника. Могу сказать, что он стихи любил совершенно так, как я, то есть как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадежной любви к недоступной силе. И, одновременно, всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу – солнечный луч. («Было, было, было», – а как это бывшее несравненно больше есть, чем сущее! Как *есть* навсегда есть! Как *бывшего* – нет!) Помню одну, только одну его поправку, попытку поправки – за весь толстый «Вечерний альбом» в самом начале знакомства:

И мы со вздохом, в темных лапах,
Сожжем, тоскуя, корабли...

– А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)... Ивановна, что это немножко трудно – и сложно – сжигать корабли – в темных лапах? что для этого – в лапах – как будто мало места? Причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень сильных лапах, которые сильно жмут. Ведь корабли как будто принято сжигать на море, а здесь – медвежьи лапы – явно – лес, дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился с вами на берегу моря, на котором – тут же – горят ваши корабли.

Так это у меня и осталось в памяти: коктебельский пустынный берег, на нем медведь, то есть Макс, со мной, а тут же у берега, чтобы удобнее, целая флотилия кораблей, которые горят.

Еще одно, тоже полушуточное, но здесь скобка о шутке. Я о Максе рассказываю совершенно так же, как Макс о тех, кого любил, и я о Максе – нынче, совершенно так же, как о Максе – вчера, то есть с живой любовью, улыбки не только не боящейся, но часто ее ищущей – как отвода и разряда.

Итак, из всех изустных стихов одного его посещения мне больше всего, до тоски, понравилось такое двестише:

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной.
Сблизятся две головы – три отразятся в воде.

– Максимилиан Александрович, а почему не четыре, ведь каждый вспоминает своего!

– Четыре головы – это было бы две пары, две пары голов скота, и никаких стихов бы не было, – вежливо, но сдержанно ответил Макс.

Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогатых голов в глубине версальского водоема, от поправки отказываюсь. В следующий приход, протягивая ему его же в первый приход подаренную книгу:

– Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои любимые: «Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темной...»

Он негодующе:

– То есть как – *забредем?* (убежденно) – заглянём! (спохватываясь) – заглядим! – то есть поглядим, конечно, вы меня совсем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А вы знаете, это тоже хорошо: забредем, так, кажется, еще лучше...

Я:

– Да, как две коровы, которые забрели и поют (с озарением) – Максимилиан Александрович! Да ведь это же те самые и есть! Две пары голов рогатого скота!

Помню еще, из сразу любимых стихов Макса:

Теперь я мертв, я стал листьями книги,
И можешь ты меня перелистать...

Послушно и внимательно перелистываю и – какая-то пометка, вглядываюсь:

(Демон)

Я, как ты, тяжелый, темный,
И безрылый, как и ты...

Над безрылым, чернилом, увесистое К., то есть *бескрылый*.

Макс этой своей опечаткой всегда хвастался.

Максина книга стихов. Вижу ее, тут же отданную в ярко-красный переплет, в один том – в один дом – со стихами Аделаиды Герцык.

Не царевич я, похожий
На него – я был иной.
Ты ведь знаешь, я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.

Мы друг друга не забудем,
И, целуя дольний прах,
Понесу я сказку людям
О царевне Таиах.

Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходящего, нет, еще третьей болью: оставшейся в стороне: не мне! А эту царевну Таиах воочию вскоре увидела в мастерской Макса в Коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся женское лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, любимая и оставленная земная женщина.

Но тут уместен один рассказ матери Макса:

– Макс тогда только что женился и вот, приезжает в Коктебель с Маргаритой, а у нас жила одна дама с маленькой девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит, смотрит на молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, то опять на Макса, и громким шепотом – матери: «Мама! Почему эта царевна вышла замуж за этого дворника?» А Маргарита, действительно, походила на царевну, во Флоренции ее на улице просто звали: Ангел!

– И никто не обиделся?

– Никто, Маргарита смеялась, а Макс сиял.

От себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки существо мифическое и на устах трехлетней девочки слово мистическое. Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, дворник топит печи, то есть играет с огнем огромной железиной, которая называется кочерга. А кочерга – это Яга. Дворник стоит по шею в снегу и не замерзает, лопаты у дворника вдесятеро больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. Дворник и в воде не тонет, и в огне не горит. Дворник может сделать то, на чем кататься, и то, с чего кататься, салазки и гору. Дворник, в конце концов, единственное видение мужественности в глазах девочки того времени. Папа ничего не может, а дворник – всё. Значит, дворник – великан. А может быть, если рассердится – и людоед. Так, один трехлетний мальчик, пришедший к нам в гости и упорно не желающий играть в нижних комнатах: «Убери того белого людоеда!» – «Но какого?» – «С бородой! На меня со шкафа смотрит! Глаза белые! Убери того страшного дворника!»

Страшный дворник – Зевес.

Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцык. Сказать о ней – мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни со-

бытие, может быть, больше, чем в жизни Макса. Пока же —

Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, как люди на друзей скупы (почти как на деньги: убудет! мне меньше останется!), насколько всё и всех хотят для себя, ничего для другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаивать на этом рожденном Максином свойстве: щедрости на самое дорогое, прямо обратной ревности. Люди, как Плюшкин ржавый гвоздь, и самого завалящего знакомого от глаз берегут — а вдруг в хозяйстве пригодится? Да, ревности в нем не было никакой — никогда, кроме рвения к богатству ближнего — бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой *его* по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, — не ощущал своим, физически своим. Комнаты (по смехотворной цене) сдавала Елена Оттобальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям. Еще меньше — чужим. Этот человек, никогда ни перед кем ни за что ни в чем не стеснявшийся, в человеческих отношениях — плававший, стоял перед вами, как малый ребенок или как бык, —

опустив голову.

– Марина! Я правда не могу. Это невыносимо. Поговори с мамой... Я... – И топот убегающих сандалий по лестнице.

Зато море, степь, горы – три коктейльских стихии и собирательную четвертую – пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой «павильон». По-лынь он произносил как: *моя*. А Карадаг (название горы) просто как: я. Но одна физическая собственность, то есть собственность признания и физически, у него была: книги. Здесь он был лют. И здесь, и единственно здесь – капризен, давал, что хотел, а не то, что хотел – ты.

«Макс, можно?..» – «Можно, Марина, только уверяю, что тебе не понравится... Возьми лучше...» – «Нет, не понравится, а ты боишься, что слишком понравится и что я, как кончу, буду опять сначала, и так до конца лета». – «Марина, уверяю тебя, что...» – «Или что замажу в черешнях. Макс, я очень аккуратна». – «Я знаю, и дело не в том, а в том, что тебе гораздо будет интересней Капитан Фракасс». – «Но я не хочу Фракасс, я хочу Жанлис. Макс? милый Макс, дорогой Макс, Плюшкин-Макс, ведь ты же ее сейчас не читаешь!» – «Но ты мне обещаешь, что никому не дашь из рук, даже поддержать? Что ты вернешь ее мне не позже как через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же виде...» – «Нет, на три секунды раньше и на три страницы толще! Макс, я ее удлиню!»

Давал, голубчик, но со вздохом, вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал – все,

давал – всем. Но сколько выпущенных из рук книг – столько побед над этой единственной из страстей собственничества, для меня священной: страстью к собственной книге. Святая жадность.

Возвратимся к Аделаиде Герцык. В первую горячую голову нашего с ним схождения он живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела – только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна опечатка – и везло же на них Макс! В статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах: «древние заплатки Аделаиды Герцык»... «Но, М. А., я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы – заплатки? И почему еще и древние?» Макс, сияя: «А это не заплатки, это заплачки, женские народные песни такие, от *плача*». А потом А. Герцык мне, философски: «Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость: каждые стихи в конце концов – заплатка на прорехах жизни. Особенно – мои. Слава Богу еще, что древние! Ничего нет плачевнее – новых заплат!»

И вот, может быть год спустя нашего с А. Г. схождения, Макс мне: «Марина! (мы давно уже были на „ты“), а ты знаешь, что я тебя тогда Аделаиде Казимировне – подарил». – «То есть как?» – «Разве ты не знаешь (глубоко серьезно), что можно дарить людей – без их ведома и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъ-

емлемой духовной собственностью того, кому даришь. Но я тебя в хорошие руки подарил». – «Макс, а случайно – не продал?» Он, совершенно серьезно: «Нет. А мог бы. Потому что А. Г. очень жадна на души, она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих предлагала взамен: и Булгакова, и Бердяева, и какую-то переводчицу с польского. Но они, во-первых, мне были не нужны, а во-вторых, я друзьям друзей только дарю... В конце вечера она тебя получила. Ты довольна?»

Молчание. Он, заискивающе: «Я ведь знал, кому тебя дарю. Как породистого щенка – в хорошие руки». – «Макс, а тебе не жаль?» – «Нет. Мне никогда не жаль и никогда не меньше. (Пауза.) Марина, а тебе – жаль?» – «Макс, я теперь собака – другого садовника!»

А как было жаль, как сердце сжалось – от такой свободы, своей от него, его от меня, его от всех. Хотя и расширилось радостью, что А. Г., которая мне так нравилась, меня целый вечер выпрашивала. Сжалось – расширилось – в этом его, сердца, и жизнь.

При первом свидании с Аделаидой Казимировной: «А я теперь знаю, почему вы меня так особенно любите! Нет, нет, не за стихи, не за Германию, не за сходство с собой – и за это, конечно, – но я говорю *особенно* любите...» – «Говорите!» – «Потому что Макс вам меня подарил. Не смотрите, пожалуйста, такими невинными глазами! Он мне сам рассказал». – «Марина! (Молчит, переводя дыхание.) Марина!

Макс Александрович вас мне не подарил, он вас мне проиграл». – «Что-о-о?» – «Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М. А. настаивал на необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари: если М. А. в течение месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает, как самую любимую вещь. Потому что он вас очень любил, Марина, и еще любит, но только тбк и поскольку разрешаю – я. Никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, он обнаружить не мог – потому что, я это сразу знала, никакого литературного влияния и не было – и я вас через месяц, день в день, час в час – получила. О, он очень старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изобличить, он даже пытался представить Наполеона, как писателя, ссылаясь на его воззвания к солдатам: «Soldats, du haut de ces pyramides quarante siècles vous regardent...»²⁶³ Но тут я его изобличила и заставила замолчать. Так, милая, вы и сделались моей собственностью. (С неподдельным негодованием:) А сам теперь ходит и хвастается, что подарил... это очень некрасиво».

Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла на своем. Совместно я их спросить как-то не решилась. Может быть, тайно боясь, что вдруг – в порыве великодушия – начнут меня друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь собака без хозяина либо, по сказке Киплинга,

²⁶³ Солдаты, с этих пирамид сорок веков смотрят на вас... (*фр.*)

кошка, которая гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, кроме единственной правды своей к ним обоим любви и благодарности. Но – проиграл или подарил – «Передайте Марине», – писала она в последнем письме тому, кто мне эти слова передал – «что ее книга „Версты“, которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России». Это ответственное напутствие я привожу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максиным подарком – или проигрышем – до конца осталась довольна.

Так они и остались – Максимилиан Волошин и Аделаида Герцык – как тогда сопереpletенные в одну книгу (моей молодости), так ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви.

Коктебель

Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, неся мне навстречу – совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, в кавычках, «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания «не достоин развязать ремни его сандалий» и неизвестно почему страстно отвергаемых в быту – хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, диктуемый прежде всего природой, – Макс полынного веночка и цветной подпояски. Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс – Коктебеля.

– А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттобальдовна Волошина – Марина Ивановна Цветаева.

Мама: седые отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый, длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу:

«Здравствуйте!»

Е. О. Волошина, рожденная – явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла²⁶⁴. Внешность явно германского – говорю германского, а не немецкого – происхождения: Зигфрида, если бы прожил до старости, та внешность, о которой я в каких-то стихах:

– Длинноволосым я и прямоносым
Германцем славила богов.

(Что для женщины короткие волосы – то для германца длинные.) Или же, то же, но ближе, лицо старого Гёте, явно германское и явно божественное. Первое впечатление – осанка. Царственность осанки. Двинется – рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит. Чего? Да ничего. Величественность при маленьком росте, величие – изнизу, наше поклонение – сверху. Впрочем, был уже такой случай – Наполеон.

Глубочайшая простота, костюм как прирос, в другом немислима и, должно быть, неузнаваема: сама не своя, как и оказалось, два года спустя на крестинах моей дочери: Е. О., из уважения к куму – моему отцу – и снисхождения к людским навыкам, была в юбке, а юбка не спасла. Никогда не

²⁶⁴ Нотабене! Вспомнила! Тиц. (5 апреля 1938 года, при окончательной правке пять лет спустя!) (примеч. М. Цветаевой).

забуду, как косился старый замоскворецкий батюшка на эту крестную мать, подушку с младенцем державшую, как ларец с регалиями, и вокруг купели выступавшую как бы церемониальным маршем. Но вернемся назад, в начало. Все: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос – единство. Это было тело именно ее души.

Не знаю, почему – и знаю, почему – сухость земли, стоя не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, – *этот* Макс, *эта* мать – чувство, чтоходишь в Одиссею.

Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни. «Ты бы у нас первая красавица была, на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза». (Уже сказала – голубые.) Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля – как тут не сделаться Кавалером Надеждой Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта! И так, Шамиль. Но следующий жизненный шаг – институт. Красавица, все обожают. «Поцелуй меня!» – «Дашь третье за обедом – поцелую». (Целоваться не любила никогда.) К концу обеда перед корыстной бесстрастной красавицей десять порций пирожного, то есть десять любящих сердец. Съев пять, остальными, царственным жестом, одаривала: не тех, кто да-

ли, а тех, кто не дали.

Каникулы дома, где уже ходит в мужском, в мальчишеском – пижам в те времена (шестьдесят лет назад!) не было, а для пиджака, кроме его куцега уродства, была молода.

О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающейся: «И где же это вы, такие красивые, рудитесь?!» – самая совершенная за всю мою жизнь словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас – почти что отчаяния! – перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем:

Да разве можно, чтоб фуражки
Пред красотой такой не снять?

Странно, о родителях Е. О. не помню ни слова, точно их и не было, не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. *Его* сын, не их дочь.

После института сразу, шестнадцати лет, замужество. Почему так сразу и именно за этого, то есть больше чем вдвое старшего и совсем не подходящего? Может быть, здесь впервые обнаруживается наличность родителей. Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить – тонкая, как тростинка – в мальчишеском, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве, и сады безмерные.

Вот ее изустный рассказ:

– Стою на лесенке в зале и белю потолок – я очень любила белить сама – чтобы не замазаться, в похуже – штанах, конечно, и в похуже – рубашке. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максину отцу много ходили, не на всех же смотреть.

«Молодой человек!» – не оборачиваюсь. – «А молодой человек?» Оборачиваюсь. Какой-то господин, уже в годах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. «Соблаговолите передать папаше... то-то и то-то...» – «С удовольствием». Это он меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максину отцу – оказался его добрым знакомым. «Какой у вас сынок шустрый, и все мое к вам дело передал толково, и белит так славно». Максин отец – ничего. «Да, – говорит, – ничего себе паренек». (Кстати, никогда не говорила муж, всегда – Максин отец, точно этим указывая точное его значение в своей жизни – и назначение.) Сколько-то там времени прошло – у нас парадный обед, первый за мою бытность замужем, все Максина отца сослуживцы. Я, понятно: уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома: и рюши, и буфы, и турниор на задку – все честь честью. Один за другим подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господина: «Узнаешь?» Я-то, конечно, узнаю – тот самый, которого я чуть было заодно не побелила, а тот: «Разрешите представиться». А Максин отец ему: «Да что ты, что ты! Давно знакомы». – «Никогда не имел чести». – «А сынишку моего на

лестнице помнишь, потолок белил? Она – *самый*». Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. «Да я, да оне, да простите вы меня, сударыня, ради Бога, где у меня глаза были?» – «Ничего, – говорю, – там где следует». Целый вечер отдышаться не мог!

Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар – явно от матери. Помню, в первое коктейбельское лето, на веранде, ее возмущенный голос:

– Как ужасно нынче стали говорить! Вот Лиля и Вера, – ведь не больше, как на двести слов словарь, да еще как они эти слова употребляют! Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, ссыльном каком-то: «И такой большой, печальный, интеллигентный глаз...» Ну, как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник, с интеллигентными усами... Одно слово на всё, да и то не русское, не только не русское, а никаковское, ведь по-французски *intelligent* – умный. Ну, вы, Марина, знаете, что это такое?

– Футляр для очков.

– И вовсе не футляр! Зачем вам немецкое искаженное *Futteral*, когда есть прекрасное настоящее русское слово – очешник. А еще пишете стихи! На каком языке?

Но вернемся к молодой Е. О. Потеряв первого ребенка –

обожаемую, *свою*, тоже девочку-мальчика, четырехлетнюю дочку Надю, по которой тосковала до седых и белых волос, Е. О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном – кажется, в Кишиневе. Служит на телеграфе. Макс дома, с бабушкой – ее матерью. Помню карточку в кокетельской комнате Е. О., на видном месте: старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса – как хотите, во всяком случае нечто совсем голое и очень кудрявое.

Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы; и каждая молодая девушка, даже если в этого Гёте не влюблена, при ней – Беттина на скамеечке.)

Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили – нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, – богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времен. И неизменный вопрос дома:

– Мама, почему у других мальчиков есть лошадки, а у меня нет, есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет?

На который неизменный ответ:

– Потому что у них есть папа, а у тебя нет.

И вот после одного такого папы, которого нет, – длительная пауза и совершенно отчетливо:

– Женитесь.

Другой случай. Зеленый двор, во дворе трехлетний Макс с матерью.

– Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь.

– Зачем?

– Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернетесь!

Покорная мама орлиным носом в каменную стену.

Ждет, ждет:

– Макс, ты скоро? А то мне надоело!

– Сейчас, мама! Еще минутка, еще две. – Наконец: – Можно!

Оборачивается. Плывающая улыбкой и толщиной трехлетняя упоительная морда.

– А где же сюрприз?

– А я (задохновение восторга, так у него и оставшееся) к колодецу подходил – до-олго глядел – ничего не увидел.

– Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз?

– А что я туда не упал.

Колодец, как часто на юге, просто четырехугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала. В такой колодец, как и в тот наш совместный водоем, действительно можно *забрести*. Еще случай. Мать при пятилетнем Максе читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, перечисляющей все, чего не скажет любимому: «Я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда

светили звезды, освещая мои слезы, я не скажу тебе, как обмирало мое сердце, при звуке шагов – каждый раз не твоих, я не скажу тебе, как потом взошла заря», и т. д. и т.д. Наконец – конец. И пятилетний, глубоким вздохом:

– Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла да и рассказала!

Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивленная долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике.

– Макс, что это значит?

Макс, рыдая и зевая:

– Я, я не спал! Я – ждал! Она не прилетала!

– Кто?

– Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду хорошо вести себя...

– Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь – идем чай пить.

На следующее утро – до-утро, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов Кишинева, стойком, как на цоколе – лбом в зарю – младенческого Зевеса в одеяле, с прильнувшей у изножья, другой головой, тоже кудрявой. И мог бы услышать – прохожий – но в такие времена, по слову писателя, не проходит никто:

«Si quelqu'un était venu a passer... Mais il ne passe jamais personne...»²⁶⁵

²⁶⁵ Если бы кто-нибудь прошел мимо... Но никто никогда не проходит здесь

И мог бы услышать прохожий:

– Ма-а-ма! Что это?

– Твоя Жар-птица, Макс, – солнце!

Читатель, наверное, уже отметил прелестное старинное Максино «Вы» матери – перенятое им у нее, из ее обращения к ее матери. Сын и мать уже при мне выпили на брудершафт: тридцатилетний с пятидесятилетней – чокнулись, как сейчас вижу, коктейбельским напитком ситро, то есть попросту лимонадом. Е. О. при этом пела свою единственную песню – венгерский марш, сплошь из согласных.

Думаю, что те из читателей, знавшие Макса и Е. О. лично, ждут от меня еще одного ее имени, которое сейчас произнесу:

Пра – от прабабушки, а прабабушка не от возраста – ей тогда было пятьдесят шесть лет, – а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) – о которой, мистификации, как вообще о целом мире коктейбельского первого лета, когда-нибудь отдельно, обстоятельно и увлекательно расскажу.

Но было у слова *Пра* другое происхождение, вовсе не шутовское – Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых. Верховод всей нашей молодости. Прародительница Рода – так и не осуществившегося, Праматерь – Матриарх – Пра.

Никогда не забуду, как она на моей свадьбе, в большой приходской книге, в графе свидетели, неожиданно и неудержимо через весь лист – подмахнула:

«Неутешная вдова Кириенко-Волошина».

В ней неизменно играло то, что немцы называют Einfall («в голову пришло»), и этим она походила, на этот раз, уже на *мать* Гёте, с которым вместе Макс любовно мог сказать:

Von Mütterchen – die Frohnatur
Und Lust zum Fabulieren²⁶⁶.

А сколько я еще не рассказала! О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой – была, целым настоящим Bilderbuch'ом²⁶⁷ для детей и поэтов. Но помимо ее человеческой и всяческой исключительности, самоценности, неповторимости – каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого рращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной – без всех, стало быть – против всех. Когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха – почти пустынного и всегда мученика, всякой хвалы – мало, даже моей.

На какие-то деньги, уж не знаю, какие, во всяком случае,

²⁶⁶ От матушки – веселый нрав и страсть к сочинительству (нем.).

²⁶⁷ Книгой с иллюстрациями (нем.).

нищенские, именно на гроши, Е. О. покупает в Коктебеле кусок земли, и даже не земли, а взморья. Макс на велосипеде ездит в феодосийскую гимназию, восемнадцать верст туда, восемнадцать обратно. Коктебель – пустыня. На берегу только один дом – волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская деревня этого наименования, за две версты, на шоссе. Е. О. ставит редким проезжающим самовары и по вечерам, от неизбывного одиночества, выходит на пустынный берег и воет. Макс уже печатается в феодосийском листке, за ним уже слава поэта и хвост феодосийских гимназисток:

– Поэт, скажите экспромт!

Е. О. В. никогда больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень любила Макса, больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца – дать ему вотчима, сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, без когтей и со стихами... Были наезды какого-то стройного высокого всадника, были совместные и, нужно думать, очень *высокие* верховые прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз: «Да?» – «Нет!» – после которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это мне рассказывали феодосийские старожилы и даже называли имя какого-то иностранца. Увез бы в свою страну, была бы – кто знает – счастливой... но – Максимилиан Александрович того приезжего терпеть не мог, – это говорит старожил, от которого все это слышала, – всех любил, ко всем был приветлив, а с этим господи-

ном сразу не пошло. И господин этот его тоже не любил, даже презирал за то, что мужского в нем мало: и вина не пьет, и верхом не ездит, разве что на велосипеде... А к стихам этот господин был совсем равнодушен, он и по-русски неважно говорил, не то немец, не то чех. Красавец зато! Так и остались М. А. с мамашей, одни без немца, а зато в полном согласии и без всяких неприятностей.

Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоих, пошла на мать, вся женственность – на сына, ибо элементарной мужественности в Максе не было никогда, как в Е. О. элементарной женственности. Если Макс позже являл чудеса бесстрашия и самоотверженности, то являл их человек и поэт, отнюдь не муж (воин). Являл в делах мира (перемирия), а не в делах войны. Единственное исключение – его дуэль с Гумилевым из-за Черубины де Габриак, чистая дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом – Е. О.

– Погляди, Макс, на Сережу, вот – настоящий мужчина! Муж. Война – дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь?

– Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

– Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.

– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется

животные инстинкты.

Настолько не воин, что ни разу не рассорился ни с одним человеком из-за другого. Про него можно сказать, «qu'il n'épousait pas les querelles de ses amis»²⁶⁸.

В начале дружбы я часто на этом с ним сшибалась, расширялась – о его неуязвимую мягкость. Уже без улыбки и как всегда, когда был взволнован, подымая указательный палец, даже им грозя:

– Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты, у него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав – так же, как ты – по-своему.

Вот это «прав по-своему» было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни *мало-*, ни равно-душие, утверждаю. Не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много – или совсем не было, и не равнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две, он был одновременно тобою и твоим противником и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседушие, и не равнодушие, а некое равенство всего существа, то солнце полдня, которому всё иначе и верно видно.

О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону, или, что то же, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода: «он так же прав, как ты» – мы, кто бы мы ни были, слышим только: *он прав* и даже: *он прав*, настолько,

²⁶⁸ Что он не ввязывался в ссоры своих друзей (*фр.*).

когда дело идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) – внутри него и *au-dessus de la mêlée*²⁶⁹.

Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Навин, остановивший солнце, оставил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое: мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя – его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противо-стоять человеку, только *предстоянием* своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему на него.

Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности: «Не всё так просто, друг Горацио...» Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением – *du bien mal entendu*²⁷⁰ – чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто – просто глупостью (в которую он *верил*) – прежде всего и после всего

²⁶⁹ Над схваткой (*фр.*).

²⁷⁰ Плохо понятым добром (*фр.*).

– слепостью, но никогда – злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом. Зло – бельмо, под ним – добро.

Всякую занесенную для удара руку он, изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Так он в одно мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со словами: «Такой образованный и приятный господин – удивительно, что он не любит моего Иоанна Грозного!» И будь то данный несостоявшийся наскок на него Репина, или мой стакан – через всю террасу – в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлякой, или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными, Макс неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя – преданным, причем каждый (вместе, как порознь) неизменно чувствовал всю исключительную его, М. В., преданность ему, ибо это – было. Его дело в жизни было – сводить, а не разводить, и знаю, от очевидцев, что он не одного красного с белым человечески свел, хотя бы на том, что каждого, в свой час, от другого спас. Но об этом позже и громче.

Миротворчество М. В. входило в его мифотворчество: мифа о великом, мудром и добром человеке.

Если каждого человека можно дать пластически, Макс – шар, совершенное видение шара: шар универсума, шар веч-

ности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, которым он отпрыгивал от земли (походка) и от собеседника, чтобы снова дать ему в руки, шар шара живота, и молния, в минуты гнева, вылетающая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая.

Разбейся о шар. Поссорься с Максом.

Да, земной шар, на котором, как известно, горы, и высокие, бездны, и глубокие, и который все-таки шар. И крутился он, бесспорно, вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество: этим продолжительным, протяжным словом дан весь Макс с людьми – и весь без людей. Спутник каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, – спутник неизвестного нам светила. Отдаленность и неуклонность спутника. То *что-то*, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только – пространство между светилом и спутником, то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пядь ближе, ни на пядь дальше, а в общем все то же. То равенство притяжения и отдаления, которое, обрекая друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно рознит.

Помню, относительно его планетарности, в начале встречи – разминование. В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа, вместо

одобрения или, по крайней мере, ободрения – самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!) – либо... И его ответ: спокойный, любящий, бесконечно-отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: «Итак, до свидания – до следующего перекрестка!» – то есть когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только *кажется* – вышла, то есть совершенно как светило – спутнику. Причем – умилительная наивность! – в полной чистоте сердца неизменно воображал, что спутник в человеческих жизнях – он. Сказанного, думаю, достаточно, чтобы не объяснять, почему он никогда не смог стать попутчиком – ни тамошним, ни здешним.

Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали.

Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки, глазах, всегда без улыбки – при неизменной улыбке губ. Она была в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему – тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец:

это не так! – с такой силой являл это *так*, что никто, так и не узнав этого *так*, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М.В. – ни в стихах, ни в друзьях, – самотайна, унесенная каждым в землю.

– Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли.

Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду – вот с таким духом земли. Ибо каким (*дух, но земли*), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог быть!

Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко Бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови («А ты знаешь, Марина, что наша кровь – это древнее море...»), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли.

Макс был именно земнородным, и все притяжение его к небу было именно притяжением к небу – небесного *тела*. В Максе жила четвертая, всеми забываемая стихия – земли. Стихия континента: сушь. В Максе жила масса, можно сказать, что это единоличное явление было именно явлением земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать: массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был – земной монолит, Макс был именно обратным мозаике, то есть монолитом. Не составленным, а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его, с этой неистойой, неистоимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, всё густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, но черные, никогда – светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом.

– Три вещи, Марина, выются: волосы, вода, листва. Четы-

ре, Марина, – пламя.

О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в первый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что:

...в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него – концов пальцев и концов волос – было пламя, настоящее, жгущее. Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес.

Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра – куда екатерининской! Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю, кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю, но легенды этой не упускаю, ибо каждая – даже басня о нас – есть басня именно о нас, а не о соседе. (Низкая же ложь – автопортрет самого лжеца.)

Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нем был – так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко – как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, в концах, трещали, как трещит хвоя на огне.

Потому, казалось, так и вились, что горели (*crépitement*²⁷¹). Не могу достаточно передать очарования этой физики, являвшейся целой половиной его психики, и, что важнее очарования, а в жизни – очарованию прямо обратно – доверия, внушаемого этой физикой.

О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота, или даже медведя, и с той же опаской, так хотелось, что, несмотря на всю мою семнадцатилетнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела: «М. А., мне очень хочется сделать одну вещь...» – «Какую вещь?» – «Погладить вас по голове...» – Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими – и изнизу сияющее лицо: «Ну что, понравилось?» – «Очень!» И, очень вежливо и сердечно: «Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам захочется – всегда. Я знаю, что многим нравится», – объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью – гору. Взлобье горы.

Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и ухо-

²⁷¹ Треск (*фр.*).

дил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы – пустившего бы волну, омывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался.

Скобка о руке

Когда я писала о том, как гладила Макса, я невольно поглядела на свою руку и вспомнила, как, в одно из наших первых прощаний? Макс – мне:

– М. И., почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца?

Я, с негодованием:

– То есть?

Он, спокойно:

– Да, да, именно мертвого младенца – без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь – жизнь. А не подсовывать как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни другому. В вашем рукопожатии отсутствие доверия, просто обидеться можно. Ну дайте мне руку, как следует! Руку дайте, а не...

Я, подавая:

– Так?

Он сияя:

– Так!

Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, – не доверяла бы, как прежде, может быть, луч-

ше было бы – но хуже. И, чтобы кончить о руке, один Максин возглас, дающий весь тон наших отношений:

– Марина! Почему у тебя рука так удивительно похожа на заднюю ногу Одноглаза?!

Макс с мифом был связан и через коктебельскую землю – киммерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта о матриархате. Вот, со слов очевидца, разговор в 1920 году, накануне разгрома Крыма. Феодосийский обыватель: «М. А., вы, который все знаете, чем же все это кончится?» Макс, спокойно: «Матриархатом». Феодосиец, испуганно: «Как?» Макс невозмутимо: «Просто, вместо патриарха будет матриарх». Шутка, конечно, ибо что же иное ответить, когда к тебе идут, как к гадалке, но, как та легенда о сгоревшем занавесе, – не случайная шутка. О женском владычестве слышала от Макса еще в 1911 году, до всяких германских и гражданских войн.

Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полдневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет – даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал, как свой о своем.

Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутренним оком – всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец. И никакой тут «тайны» нет.

Этому, по полицейским и литературным паспортам, трид-

цатишестилетнему французскому модернисту в русской поэзии было, по существу, много тысяч лет, те много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человеку, где коню, где женщине, где рыбе, – своих творений не ограничила. Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф.

Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максино определение, – счастлива, что сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку – что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы.

– А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. – Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседающие, наседающие и все-таки расступающиеся – как расступились и тогда – базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, – не знаю. Исчезло. Пом-

ню только: вход в Аид.

Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого – как тогда решила – первого любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель, не «любить другого», а не любить – этого. И уже перестрадав, отбив – вдруг этот вход в Аид, не с ним!

И в ответ на мое молчание о нем – так издалека – точно не с того конца лодки, а с конца моря:

– В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина, я – как эти турки, я не в счет, я только средство, Марина, как эти весла...

Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея – сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без себя – мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на «Орфее» Глюка, или просто слово Орфей – десятисаженная щель в скале, серебро морской воды на скалах, смех турок при каждом удачном словом заносе – такой же высокий, как всплеск...

Сколько водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали, – выбирайся как знаешь. Что я в жизни видела, кроме черного хода? и чернейших людских ходов?

А вот что: *вход* в Аид!

Еще одно коктейбельское воспоминание. Большой поход, на этот раз многолюдный. По причуде бесед и троп и по закону всякой русской совместности, отбились, разбрелись, и вот мы с Максом, после многочасового восхождения – неизвестно на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно нам на головы льет сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых.

– Можно войти переждать грозу?

– Можно, можно.

– Но мы совершенно мокрые.

– Можно ошаг посушить.

Так как снять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чепце подбрасывает еще кизяку. Огонь дымит, мы дымимся.

– Как барышня похош на свой папаш! (Старичок.)

Макс, авторски-скромно:

– Все говорят.

– А папаш (старушка) очень похош на свой дочк. У вас много дочк?

Макс уклончиво:

– Она у меня старшая.

– А папаши дочк очень похош на свой царь.

Следим за направлением пальца и сквозь дым очага и пар одежд различаем Александра III, голубого и розового, во всю

стену.

Макс:

– Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедушка будущего.

Старичок:

– Как вы хорошо сказали: дэдушк будущий! Дай Бог здорофь и царь, и папаш, и дочк!

Старушка, созерцательно:

– А дочк ф панталон.

Макс:

– Так удобнее лазить по горам.

Старичок, созерцательно:

– А папаш в камизоль.

Макс, опережая вопрос о штанах:

– А давно вы здесь живете?

Старички (в один голос):

– Дафно. Сто и двадцать лет.

Колонисты времен Екатерины.

Полдневных походов было много, больше чем полуночных. Полуночные были приходы – после дня работы и, чаще уединенных, восхождений на Карадаг или другую гору – полуночные приходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой глубине. Но тут не миновать коктейбельских собак. Их было много, когда я приехала, когда я пожила, то есть обжилась, их стало – слишком много. Их стало – стаи.

Из именных помню Лапко, Одноглаза и Шоколада. Лапко – орфография двойная: Лапко от лапы и Лобко от лоб, оправдывал только последнюю, от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное: иду на вы. Это был крымский овчар, что то же, огромный волк, порода, которую только в издевку можно приставлять к сторожке овец. Но, слава Богу, овец никаких не было. Был огромный красавец-волк, ничего и никого не стороживший и наводивший страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первом его надвигании лбом, взяла его обеими руками за содрогающиеся от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувством, что целую, по крайней мере, Этну. К самому концу лета я уже целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый следующий приезд – та же гремящая морда под губами, – Лапко меня за зиму забывал наглухо, и приходилось всю науку дружбы вбивать – вцеловывать ему сызнава. Таков был Лапко. Вторым, куда менее казистым, был Одноглаз, существо совершенно розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, который есть свойство физическое. Третий был сын Одноглаза (оказавшегося Одноглазкой) – Шоколад, в детстве дивный щенок, позже – дикий урод. Остальных никак не звали, потому что они появлялись только ночью и исчезали с зарей. Таких были – сонмы. Но – именные и безымянные – все они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром, на большой террасе, за стаканом светлого чая с буб-

ликом и даже без бублика (в Коктебеле ели плохо, быстро и мало, так же, как спали), Макс мне: «Марина! Ты знаешь, что я к тебе вечером шел» (вечером на коктебельском языке означало от полуночи до трех). – «Как – шел?» – «Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое невероятное количество... псов, что я всю дорогу шел по живому, то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я наконец протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого...»

Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которой тут же была сброшена – и с нее и с шезлонга.

Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что без людей с собакой, с тем же Лапко, беседовал совершенно как со мной, вовсе не интонациями, а словами, и не пропуская ни одного. К примеру, выгоняя Одноглаза с плантажа: «Одноглаз! Я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама», – так же подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял с плантажа мальчишку. И Одноглаз так же слушался, как мальчишка: не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для Макса собака была человеком, сам же Макс был больше чем человек. И Одноглаз Макса слушался не как родного Бога, а как чужого Бога. Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил, для него погла-

дить собаку было так же ответственно, как погладить человека, особенно чужого! Лапко, самая надменная, хмурая и несобачья из коктебельских собак, ибо был волк, нехотя, за версту назад, но за Максом – ходил. В горах высоко жили дикие овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его велосипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше, он тоже был велосипедист с велосипедом. И вот однажды – нападение: стая овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на третьем холму, профилем, в синей пустоте, изваянием, как коза. Овец – ни следу... «Как же ты, Макс, отбил-ся?» – «Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил».

Если Керенского когда-то, в незлую шутку, звали Главногоговаривающим, то настоящим главноговаривающим был Макс – и всегда успешным, ибо имел дело не с толпами, а с человеком, всегда одним, всегда с глазу на глаз: с единственной совестью или тщеславием одного. И будь то комиссар, предводитель отряда или крымский овчар, вожак стаи, – успех был обеспечен.

Уговоры, полагаю, происходили вот как:

Макс, отведя самого лютого в сторону:

– Ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед, во-первых, невкусен во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. И еще непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, – то

есть не нападать на людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие (которое, пока что, вожак изъяснил только рычанием).

Так ли уж убежден был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что, когда, годы спустя, к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом: «Я бы хотел поговорить с кем-нибудь *одним*», – желание всегда лестное и требование всегда удовлетворимое, ибо во всякой толпе есть некий (а иногда даже несколько), ощущающий себя именно тем одним. Успех его уговоров масс был только взыванием к единственности.

Чтобы кончить о собаках. Два года спустя – я ту зиму жила в Феодосии – редкий праздник явления Макса, во всем тирольском рубчатом – как мельник, или сын мельника, или Кот в сапогах.

– Марина! А я к тебе гостей привел. Угадай! Скорей, скорей! Они очень волнуются.

Выбегаю. За спиной Макса – от крыльца до калитки, в три сторожевых поста, в порядке старшинства и красоты: Лапко – Одноглаз – Шоколад.

– Марина! Ты очень рада? Ты ведь по ним соскучилась?

Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучанья и степень уродства Шоколада и Одноглаза, с кото-

рыми ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству оценить этот приход и привод.

В революцию, в голод, всех моих собак пришлось отравить, чтобы не съели болгары или татары, евские похуже. Лапко участи избежал, ибо ушел в горы – сам умирать. Это я знаю из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила в Кремль, по вызову Луначарского, доложить о голодающих писателях Крыма.

К зиме этого собачьего привода относится единственная наша новогодняя встреча с Максом за всю нашу дружбу. Выехали в метель, Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой норд-ост никто бы не повез, а пешком восемнадцать верст и думать нечего – сплошной сногосшиб. И так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на фео-досийском базаре, так и не надбавивший цены. Возил, можно сказать, даром – и с жаром. Взгромоздились в податливый разлатый рыдван, Адам накрыл чем мог – поехали. Поехали и стали. Лошади на свежем снегу скользили, колеса не скользили, но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года? Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начинались те восемнадцать верст пространства – между нами и Максиной башней, нами и новым 1914

годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами чернобелой бородой: «Что, как, панычи, живы?»

Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается. «Ася!» – «Да, Марина, так будем ехать после смерти!» Ехала, впрочем, еще веская достоверная корзина, с которой все делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда – все с конями, с повозкой, с Адамом – не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довести.

А этот смех! Как метель – мела, так мы от смеха – мотались, как норд-ост – налетал, так смех из нас – вылетал. Метель Вожатого из «Капитанской дочки». И у Адама та же борода!

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс. – Сережа! Ася! Марина! Это – невозможно. Это – невероятно.

– Макс, а разве ты забыл:

Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо – есть!

Тройным чудом, то есть тремя мокрыми чудами выпра-
стываемся из повозки, метели, корзины, вожжей, стоим в
жаркой Максиной мастерской, обтекаем лужами. Поим ри-
слингом Адама так же щедро, как он нынче вечером будет
поить коней.

Макс совсем один, Е. О. в Москве. Дом нетопленный, ледя-
ной и нежилой – что мрачнее летних мест зимою, прохлад-
ных синих от лета белых стен – в мороз? – Море еще бли-
же, чем было, ворочается у изножья башни, как зверь. Мы
на башне. Башня – маяк. Но нужно сказать о башне. Была
большая просторная комната, со временем Макс надстроил
верх, а потолок снял, – получилась высота в два этажа и в
два света. Внизу была мастерская, из которой по внутрен-
ней лестнице наверх, в библиотеку, расположенную галере-
ей. Там же Макс на чем-то рыжем, цвета песка и льва, спал.
На вышке башни, широкой площадке с перилами, днем, по
завистливому выражению дачников, «поклонялись солнцу»,
то есть попросту лежали в купальных костюмах, мужчины
и дамы отдельно, а по ночам, в той же передаче дачников,
«поклонялись луне», то есть беседовали и читали стихи.

Мастерская пустая, только мольберт и холсты, верх, с
подавляющей головою египтянки Таиах, полон до разрыва.
Много тысяч томов книг, чуда и дива из всех Максиных пу-

тешествий – скромные ежедневные чудеса тех стран, где жил: баскский нож, бретонская чашка, самаркандские четки, севильские кастаньеты – чужой обиход, в своей стране делающийся чудом, – но не только людской обиход, и морской, и лесной, и горный, – куст белых кораллов, морская окаменелость, связка фазаньих перьев, природная горка горного хрусталя...

В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чашками без ручек и с ножами без черенков.

– Мама, уезжая, все заперла, чтобы не растащили, а кому растаскивать? – собаки вилками не едят.

– Макс, а где же...

– Все на даче Юнге, потому что, ты знаешь, от меня и объедков не остается (делая страшные глаза): Je mange tout²⁷². Пожили, пожили со мною недели две и, видя, что это верная голодная смерть, ушли к Юнге. Просыпаюсь – ни одной.

Красное жерло и вой чугуновой печки. Но об этой печке – рассказ. До моего знакомства с Волошиными Е. О. и Макс по летам, когда съезжались, прислуживала пара: татарин и его жена, с татарским именем, в Максимоном переводе Животея. Животея эта была старая, тощая и страшная: татарин решил жениться на молодой. Некоторые антропософские девушки, гостившие тогда у Макса, стали татарина уговаривать: «Как тебе не стыдно! Она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил, и теперь хочешь жениться на молодой.

²⁷² Я ем все (*фр.*).

Разве молодость важна? Красота важна? Важна душа, Селим, понимаешь. Душа, которая всегда полна и всегда молодая!» Татарин слушал, слушал и, поняв, что они указывают ему на то, что он не может внести калыма за невесту: «Твоя правда, баришня, бедному человеку и с душой жить приходится».

Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится жить, была страшная воровка, по-научному сказали бы: клептоманка, по-народному – сорока. Макс задумал ставить печь. Сам купил, сам принес, сам стал ставить. Поставил. Зажег. Весь дым в дом. Ничего, в первый раз, обживется. Но второй и третий день, – дымит, как паровоз! Думал, гадал, главное нюхал, проверил трубы, колена – разгадки нет. И вдруг озарение: Животея! Бежит, бычьи опустив голову, в ее камору; лезет под кровать, в самую ее грабилровку, – и в самой глубине – колено, крохотное, не колено, а коленце, самое необходимое, то. «Зачем же ты взяла, Животея? – Молчит. – Зачем оно тебе? – Молчит. – Ты понимаешь, что я из-за тебя мог угореть. У-ме-реть». Та молча перекатывает на желтом лице черные бусы – глаза. Рассказывают, что Макс от обиды – плакал.

Глядим в красное жерло чугуна, загадываем по Максиной многочитанной Библии на Новый, 1914 год. За трехгранником окна – норд-ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы на острове. Башня – маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они

ни показывали – правильно, ибо других часов нет. Еще двадцать минут, еще пятнадцать минут. «Давай погадаем, доехал Адам или нет». С некоторой натяжкой и в несколько индифферентной форме выходит, что доехал. Еще десять минут. Еще пять. Наполняем и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за Новый – 1914-й – тогда еще не знали, какой – первый из каких годов – год. И Ася: «Макс, ты не находишь, что странно пахнет?» – «Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост». Читаем стихи. Макс, я. Стихов, как всегда, много, особенно у меня.

И – что это? Из-под пола, на аршин от печки, струечка дыма. Сначала думаем, что замечает из печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола – и странная какая-то, легкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся и, Сережа, внезапно срываясь:

– Макс, да это пожар! Башня горит!

Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, лица, с которого схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающих – понимающих глаз, сделавшихся вдруг большими.

– Внизу ведро? Одно?

– Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно потушить ведрами?

Мчимся – Сережа, Ася, я – вниз, достаем два ведра и один кувшин, летим, гремя жестью в руках и камнями из-под ног,

к морю, врывается, заливая лестницу – и опять к морю, и опять на башню...

Дым растет, уже два жерла, уже три. Макс, как сидел, так и не двинулся. Внимательно смотрит в огонь, всем телом и всей душой. Этот пожар – конец всему. В секундный перерыв между двумя прибегами, кто-то из нас:

– Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может. Ну?? И – в ответ – первый проблеск жизни в глазах. Очнулся! Проснулся.

– Мы – водой, а ты... Да ну же!

И опять вниз, в норд-ост, гремя и спотыкаясь, в явном сознании, что раз мы – только водой, так эта вода быть – должна.

И на этот раз, взбежав – молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой – воздетой рукой, что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь.

Пожар – потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Двумя ведрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи, года, осознать не успели.

Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти

одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это все, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил все.

Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит поднятием руки, что ему руки даны – носить. Только выход энергии: когда горит – не сидеть руки сложа. Пожар был остановлен – словом.

Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса – в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка – лицу, – невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.

Макс и сказка

Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей.

Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма – подтверждается, О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародин и моего младенчества – я эту кровь в нем знаю и утверждаю.

В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы (в конце концов не занимать стать: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свой-

ство русского волоса – податливость, выются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его «богатырем». Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг, богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой – я сидела, он стоял – он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно: *Наксос* – прыжок, *Делос* – прыжок и *Микэн* – до неба прыжок! Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба – души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалиии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой.

Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: страшные – скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизмен-

но возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кашей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса – как гнев божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом – дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, – кстати, в детстве они очень похожи, – могу сказать, что:

...славянской скуки —
Ни тени в красоте твоей!

Позднеславянской, то есть интеллигентской.

Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность – только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был.

Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за

счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, от-металось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса слышала: «La mémoire a bon goût»²⁷³, то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.

Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив, человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насущно – лишне. Так и получают боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу):

– Видела льва – совсем не похож.

²⁷³ У памяти хороший вкус (*фр.*).

У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз *жизнь* занялась мифотворчеством.

Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель – о драгоценных камнях его побережья всякий знает – есть даже бухта такая: Сердоликовая, – в первый день приезда в Коктебель я Макс: «М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?» И уже час спустя, сама о себе слышу: – «Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!» Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил.

Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что бы-

ло своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. «Когда мне нужен я – я ухожу, если я к тебе прихожу – значит, мне нужен ты». Хотела было написать «ненасытность на подлинное», но тут же вспомнила, даже ушами услышала: «Марина! Никогда не употребляй слово „подлинное“. – „Почему? Потому что похоже на подлое?“ – „Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под линьками, а линьки – те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застенка“.

Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда.

Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов – без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка... В ответ на это общее место – тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: «У вас удивительно приятный баритон. Вы – поете?» – «Никак нет». – «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь.

А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер.

– М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?

– Нет.

– Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.

– А кто это?

– Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» – «Я к барину». – «Барин еще спят». – «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают». – «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одне, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». – «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» – «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здесь хорошо. Я их и чаем напоила – и сама пила, и им налила, обиды не было».

Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» Мышиный голос, как-то всё на *и*: «А я

– Мария Па-аппер». – «Чем могу служить?» – «А я стихи-и пи-ишу...»

И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает – как зачарованный! Но где-то внутри – пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосягаемом, зуд. Зуд все растет, Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня – извините – я очень занят – меня сейчас ждет издатель – а я – я сейчас жду приятеля». – «Так я пойду-у, я еще при-иду-у».

Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:

– У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом...

– Я и так все время пи-ишу...

– Надо писать не все время, а надо писать иначе...

– А я могу и иначе... У меня есть...

Ходасевич, понимая, что ему грозит:

– Ну конечно, вы еще молоды и успеете... Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного...

Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг – бурей – пронося над головой обутые руки – из кухни в переднюю – кухарка:

– Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли!

...Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед... Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было – словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет... «Барин, а барин?» – «Что тебе?» – «Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются... Мы с ними уже два раза чайку попили... Всю мне свою жизнь рассказали... (Конфузливо.) Писательницы».

Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни:

Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, —
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.

И еще такое четверостишие:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,

И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.

Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то – мой:

Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале – все драгоценные ткани, в другой – все оружие, в третьей – все музыкальные инструменты, в четвертой – все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) – и так до тридцатой – все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать первой – все редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале – сидела женщина. «А это что?» – спросил царский сын своего воспитателя. «А это, – ответил воспитатель, – злые демоны, которые губят людей.

Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: «Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?»

– А, конечно, те злые демоны, которые губят людей!»

– Марина! Марина! слушай!

Когда же вырос Гакон,
Ему дал царство Бог,
Но песни той никак он
Забуть уже не мог:
Шибче, шибче, мальчик мой!
Бианкой конь зовется твой!

Сейчас пытаюсь восстановить: что? откуда? Явно, раз Гакон – норвежское, явно, раз «шибче, шибче, мальчик мой» – колыбельная или скаковая песня мальчику – матери, некоей вдовствующей Бианки – обездоленному Гакону, который все-таки потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать: о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не оставивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод – Макса. Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного чуда перевода.

А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля:

У Мороза-старика
Дочь – Снегурочка.
Полюбился ей слегка
Мальчик Юрочка...

- Марина, нравится?
- Очень.
- К сожалению, не я написал.

И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел – мне:

Баю-бай-бай,
Медведёвы детки,
Косо-лапы,
Да лох-маты...

Все, что могло тогда понравиться мне, Макс мне приволакивал как добычу. В зубах. Как медведь медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему, тогда, почти детству он предстал волшебником и медведем, моей, ныне – зрелости или как это называется – он предстает мифотворцем, миротворцем и миротворцем. Всё Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое, при несчетности его дружб, уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. Из сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки прародины, иносказания – притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не-сказка. Для Макса *не-сказки* не было, и он из какойнибудь лисей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса из лесу в нору.

Одним он не был: сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчестве не перешли. Этого себя, этих двух себя он в своем творчестве – очень большом по охвату – не дал. Будь это я, я бы так на его ска-

зочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка, и, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают слышанную, я же виденную и совместно с Максом: *житую: véсue*²⁷⁴.

На этом французском незаменимом и несуществующем слове (*vie véсue* — житая жизнь, так у нас не говорят, а прожитая — уже в окончательном прошлом, не передает) остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции.

Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксэль или Консуэла — ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французских писателей или исторических лиц — никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его всегда была на Францию. Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось — всё.) Его ношение по Москве

²⁷⁴ Пережитую (*фр.*).

и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские, няни. Arc de Triomphe²⁷⁵ превращают в Триумфальные или даже Трухмальные ворота и Пасси в Арбат, так и Макс в те годы превращал Арбат в Пасси и Москва-реку в Сену. Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков, Париж парижан, Париж – калужан (был тогда и такой!), Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт, – весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещен. (Вмещался ли в него весь Макс?)

Одного, впрочем, Макс в Париже не вместил. Сейчас увидите, чего. «М. А., что вам больше всего нравится в Париже?» Макс, молниеносно: «Эйфелева башня». – «Неужели?». – «Да, потому что это единственное место, откуда ее не видать». Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. «Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? – И, боясь, что опережу: – Тейфелева!» (То есть чертова.)

У меня нет его первой книги, но помню, что, где ни раскроешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем, если не прямым Парижем, то Парижем иносказанным. Первая книга его, на добрую половину, чужестранная. В этом он сходится с большинством довоенных поэтов: Баль-

²⁷⁵ Триумфальную арку (*фр.*).

монт – заморье, Брюсов – все истории, кроме русской, ранний Блок – Незнакомка, запад; Золото в лазури Белого – готика и романтика. И, позже: Гумилев – Африка, Кузмин – Франция, даже первая Ахматова, Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как гостья – из страны Любви, которая в России тоже экзотика. Только иноземность Макса (кроме «экзотики» Ахматовой) была скромнее и сосредоточеннее.

Теперь оговорюсь. Как все предшествующее: о Максе и мире, о Максе и людях, о Максе и мифе – достоверность, то есть безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, так последующее – только мои домыслы, непроверяемые только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному поверила бы больше, чем себе.

Я сказала: *явным* источником его творчества, но есть источники и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, всё питающие по дороге и прорывающиеся – в свой час. Этих скрытых родников у Макса было два: Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, явным ставшая – и именно в свой час. О физическом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было, по мне, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, которого – тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть моего утверждения – с Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, но умолчать не могу.

Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы – разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет – влюбленность, наше взаимоотношение с Францией – очарование при непонимании, да, не только ее – нас, но и нашем ее, ибо понять другого – значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его – в чуждости.

Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны многим – обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся – не отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои.

Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тампль, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine.

Mais notre coeur vous ne l'aurez jamais...²⁷⁶

²⁷⁶ Вы захватили Эльзас и Лотарингию, Но сердец наших не завоюете никогда... (фр.).

все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие – наши родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но —

все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франция чуждая.

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь. Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы – если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, – никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: «В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-го Германию», дело не в истории, а в до-истории, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны:

А я пою вино времен —
Источник речи италийской,
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен.

Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза.

Вернемся к Максy. Голословным утверждением его гер-

манства, равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь – я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: германство было. Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни живописность, ни его – по образу многолюбия: многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, ни весь его внешний темп германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как под Новый год, в рот не брал: не нужно было!)

Но – начнем с самого простого бытового – аккуратность, даже педантичность навыков, «это у меня стоит там, а это здесь, и будет стоять», но – страсть к утренней работе: *функция* утренней работы, но культура книги, но культ книжной собственности, но страсть к солнцу и отвращение к лишним одеждам (Luftbad, Sonnenbad!²⁷⁷), но – его пешеходчество и, мы на пороге больших вещей – его одиночество: восемь месяцев в году один в Коктебеле со своим ревушим морем и собственными мыслями, – но действенная страсть к природе, вне которой физически задыхался, равенство усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума, по его выражению, переплавил семь раз) и устойчивости на горных подъемах, – Макс не жил на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном смысле, странником, ни променёром, он был именно Wanderer²⁷⁸, тем, кто выходит с определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, или ле-

²⁷⁷ Воздушная ванна, солнечная ванна (нем.).

²⁷⁸ Путником (нем.).

та, очищенный и обогащенный, домой – возвращается. Но – прочность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть Германии. Для ясности: при явно французской общительности – германская качественность дружбы, сразу, как бургундец, но раз навсегда, как германец. Здесь действительно уместно помянуть достоверную и легендарную *deutsche Treue*²⁷⁹, верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может приставить присвоительного прилагательного.

Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и неисследимее жизни с людьми жизнь человека без людей – с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю германство Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожественность, всебожие, всюдубожие, – шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а по соседству и нас с ним, включал в сонм – хотя бы младших богов, – глубочайший, рожденнейший его пантеизм был явно германским, – прагерманским и гётеянским. Макс, знал или не знал об этом, был гётеянцем, и здесь, я думаю, мост к его штейнерианству, самой тайной его области, о которой ничего не знаю, кроме того, что она в нем *была*, и была сильнее всего.

Это был – скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик – мало скрытый

²⁷⁹ Немецкую верность (*нем.*).

– зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых, от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. *Эта* его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется – неизвестно кем положенная – мантия розенкрейцеров.

Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Германством в нем были родник его крови и родник его мистики, родники, скрытые из скрытых и тайные из тайных.

Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью.

Так, думаю, никто не будет обижен.

В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала – стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции.

Думали, нищие мы, нету у нас ничего...

Действие нашей встречи длилось: 1911 год – 1917 год – шесть лет.

1917 год. Только что отгремевший Московский Октябрь. Коктебель. Взлохмаченные седины моря. Макс, Пра, я и двое, вчерашнего выпуска, офицеров, только что живыми выпущенных большевиками из Московского Александровского училища, где отбивались до последнего часа. Один из них тот Сережа, который с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым ведром.

Вот живые записи тех дней:

Москва, 4 ноября 1917 года. Вечером того же дня уезжаю: С., его друг Гольцев и я, в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское жалованье (200 р.). Не забыть этого жеста большевиков.

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физическая жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса на приступочке башни, с Тьером на коленях, жарящего лук. И, пока лук жарится, чтение вслух, С. и мне, завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то...

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной – всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Ван-дея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила – жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон.

Адам. Рыдван. Те самые кони. Обнимаемся с Пра.

– Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте всё, что там вещи, только тетради и детей, будем с вами зимовать...

– Марина! – Максина нога на подножке рыдвана. – Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг.

Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала.

В ноябре 1920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я получила письмо от Макса, первое за три года, и первое, что прочла, – была смерть Пра. Восстанавливаю по памяти:

«Такого-то числа умерла от эмфиземы легких мама. Она за последний год очень постарела, но бодрилась и даже иногда по-прежнему напевала свой венгерский марш. Главной ее радостью все эти последние годы был Сережа, в котором она нашла (подчеркнуто) *настоящего* сына – воина. Очень обрадовало ее и Алино письмо, ходила и всем хвастала – ты ведь знаешь, как она любила хвастать: «Ну и крестница! Всем крестницам крестница! Ты, Макс – поэт, а такого письма не напишешь!»

Описание феодосийского и коктебельского голода, трупов, поедаемых не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: «Последние месяцы своей жизни она ела орлов, которых старуха Антонида – ты, наверное, ее помнишь – ловила для нее на Карадаге, накрыв юбкой. Последнее, что она ела, была ор-

лятина». И дальше: «О Сереже ты не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив, как знал это с первой минуты все эти годы».

11 августа 1932 года я, в лавчонке всякого барахла возле кламарского леса, вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь франков, все пять в переплете. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну д'Арк англичанина Андрию Ланга – кстати (и естественно) лучшую книгу о Жанне д'Арк. И, под бой полдня в мэрии, иду домой, раздираясь между чувством предательства – не вызволила Бальзамо, то есть Макса, то есть собственной молодости – и радости: вызволила из хлама Жанну д'Арк.

Вечером того же дня, в гостях у А. И. Андреевой, я о большевиках и писателях:

– Волошин, например, ведь с их точки зрения – явный контрреволюционер, а дали ему пенсию, 240 рублей в месяц, и, убеждена, без всякой его просьбы.

А. И.:

– Но разве Волошин не умер?

Я, в каком-то ужасе:

– Как умер! Жив и здоров, слава Богу! У него был припадок астмы, но потом он совсем поправился, я отлично знаю.

16 августа читаю в «Правде»:

11 августа, в 12 часов пополудни скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, – то есть как раз в тот час, ко-

гда я в кламарской лавчонке торговала Бальзамо.

А вот строки из письма моей сестры Аси: «Макса похоронили на горе Янычары, высоко – как раз над ней встает солнце. Это продолжение горы Хамелеон, которая падает в море, левый край бухты. Так он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был окружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой по другой – Макс обнял свой Коктебель».

А вот строки из письма, полученного о. Сергием Булгаковым: «Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое место там – так называемая Святая гора (*моя скобка*: там похоронен татарский святой), – на которую подъем очень труден и в одном месте исключительно труден».

А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Бальмонт (Москва):

«...Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, от чего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца. Вокруг него было много друзей, все по очереди дежурили при нем и все удивлялись ему. Лицо его через день стало замечательно красиво

и торжественно. Я себе это очень хорошо представляю. Похоронили его, по его желанию, в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море.

Его дом и библиотека им уже давно были отданы Союзу писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его друзья».

Ася пишет Янычары, по другим источникам – на Святой горе, по третьим в скале «собственного профиля»... Вот уже начало мифа, и, в конце концов, Макс окажется похороненным на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому радовался!

Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи «Матрос» ходили в правительственных листовках на обоих фронтах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос.

И как матрос его – настоящий матрос, так поэт он – настоящий поэт, и человек – настоящий человек, по всем счетам, то есть по единственному счету внутренней необходимости – плативший. За любовь к одиночеству – платившийся восемь месяцами в год одиночества абсолютного, а с 17-го года

и всеми двенадцатью, за любовь к совместности – неослабностью внутреннего общения, за любовь к стихам – слушанием их, часами и томами, за любовь к душам – не двухчасовыми, а двадцати и тридцатилетними беседами, кончавшимися только со смертью собеседника, а может быть, не кончившимися вовсе? За любовь к друзьям – делом, то есть всем собой, за любовь к врагам – тем же.

Этого человека чудесно хватило на всё, всё самое обратное, всё взаимно-исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же.

На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество.

Не политические убеждения, а мироубежденность, не мировоззрение, а миротворчество. Мифотворчество – миротворчество, и, в последние годы своей жизни и лиры, миротворчество – творение мира заново.

Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии *врагов*, как бы казалось, *врагу* – вовсе не бытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы над самой идеей вражды, самой идеей зла.

Так, окольными путями мистики, мудрости, дара, и пря-

мым воздействием примера, Макс, которого как-то странно называть христианином, настолько он был *всё, ещё всё*, заставил тех, которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, но почтить врага.

Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, преклонимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полдневное солнце – и вспомним его.

Последнее видение

*И ризу ветхую мою
Сушу на солнце под скалою.*

«...Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика, в длинной толстовке, с длинной широкой и белой бородой, в широких простых брюках, в развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам из-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой.

– Это что за мухомор такой? – спросил я шедшего с нами журналиста И. Грозного.

Мне никто не ответил, но «Клара Цеткин» (особа блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседаниях Ц. К., что буквально означает «целую крепко») уже тархтела, обращаясь к старику.

– А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим!

Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался:

– Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный.

Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и оста-

новился, держа в другой руке корзинку с... камнями.

Журналист, заметя мое недоумение, раздраженно шепнул:

– Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию, поэт...

– Нет, не слышал. Что это они морочат мне голову, что ли? Но старик тем временем продолжал:

– Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем.

Вас. Вас. Зевнул с хрустом в челюстях и сказал:

– Поехали! Что с ним разговаривать...»

(Перепечатано из «Последних Новостей». Москвин: «Хождение по ВУЗам».)

Милый Макс, тебе было только пятьдесят семь лет, ты же дан старцем, ты был Александрович, тебя дали Максимилиановичем, ты был чуток как лис – тебя дали глухарем, ты был зорек как рысь – тебя дали слепцом, ты был Макс – тебя дали Кузьмичом, ты – вчитайся внимательно! – ничего не говорил, тебя заставили «продолжать», ты до последнего вздоха давал – тебя заставили «продавать»... Не останови автор руки, ты бы вот-вот, наставив ухо щитком, сказал бы:

– Ась?

И все-таки ты похож. Величием.

Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, так ли говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний раз над глупостью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, или просто отмахивался от назойливых вторженцев («э! да что с ними говорить...»)

– рой вихревых видений: Мельник – Юродивый – Морской Дед – Лир – Нерей —

– мистификация или самооборона, последняя игра или в последний раз мифотворчество.

Скала. Из-за скалы – один. На этого одного – все. Меж трех пустынь: морской, земной, небесной – твое последнее перед нами, за нас предстояние, с посохом странника в одной, с уловом радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с радугой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, от тебя, озарение: те сердолики, которые ты так тщательно из груды простых камней, десятилетиями подряд вылавливал, – каждый зная в лицо и каждый любя больше всех, – Макс, разве не то ты, десятилетия подряд, делал с нами, из каждой груды – серой груды простых камней – неизбежно извлекая тот, которому цены нет! И последнее о тебе откровение: лик твоего сердца: сердолик!

Та орава, которая на тебя тогда наскочила, тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя, как мог, неизбежно стал твоим рапсодом.

Седобородый и седогривый как море, с корзиной в руках, в широких штанах, которые так легко могли быть, да и были

хламидой – полдень, посох, песок – Макс, это могло быть – тогда, было – всегда, будет – всегда.

Так ты, рукой безвестного бытописца (проходимца)²⁸⁰ еще до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф.

1932

²⁸⁰ Заменено по требованию В. В. Руднева – дабы не обидеть автора записи (примеч. М. Цветаевой).

Слово о Бальмонте

Трудно говорить о такой несоизмеримости, как поэт. С чего начать? И на чем кончить? И как начать и кончить, когда то, о чем ты говоришь: – душа – *всё* – везде – всегда.

Поэтому ограничусь личным, и это личное ограничу самым насущным, – тем, без чего Бальмонт бы не был Бальмонтом.

Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала: – Поэт.

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них. Бульшее или меньшее, лучшее или худшее, но – еще что-то. Даже у Ахматовой была – отдельно от стихов – молитва.

У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего. Бальмонт: поэт: адекват. Поэтому когда семейные его, на вопрос о нем, отвечают: «Поэт – спит», или «Поэт пошел за папиросами» – нет ничего смешного или высокопарного, ибо именно поэт спит, и сны, которые он видит – сны поэта, и именно поэт пошел за папиросами – в чем, видя и слыша его у прилавка, никогда не усумнился ни один лавочник.

На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – поэта.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира —
Быть может, всех ничтожней он.

Это сказано *не* о Бальмонте. Бальмонта Аполлон *всегда* требовал, и Бальмонт в заботы суетного света *никогда* не погружался, и святая лира в его руках *никогда* не молчала, и душа хладного сна *никогда* не вкушала, и меж детей ничтожных мира Бальмонт не только не был всех ничтожней, но вообще между ними никогда не был и таковых не знал, самого понятия ничтожества не знал:

Я не знаю, что такое – презренье, —
Презирать никого не могу!
У самого слабого были минуты горенья,
И с тайным восторгом смотрю я в лицо ВРАГУ.

Возьмем быт. Бальмонт от него абсолютно свободен, ни малейшей – даже словесной – сделки. «Марина, я принес тебе монеты...» Для него деньги – именно *монеты*, даже бумажные жалкие ассигнации для него – червонцы. До франков и рублей, частности, он не снижается никогда. Больше

скажу: он с бытом незнаком. Кламар под Парижем, два года назад. Встречаю его, после довольно большого перерыва на неминуемой в каждом предместье главной улице с базарным названием «Rue de Paris» (Вариант: «Rue de la République»). Радость, рукопожатия, угрызения, что так долго не виделись, изумление, что так долго могли друг без друга... – «Ну, как ты жил все это время? Плохо?» – «Марина! Я был совершенно счастлив: я два месяца пребывал в древней Индии».

Именно – пребывал. Весь.

С Бальмонтом – всё сказочно. «Дороги жизни богаты» – как когда-то сказал он в своих «Горных Вершинах». – Когда идешь с Бальмонтом – да, добавлю я.

Я часто слышала о Бальмонте, что он – высокопарен.

Да, в хорошем, корневом, смысле – да.

Высоко парит и снижаться не желает. Не желает или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, т. е.: что ходит он уже по первому низкому небу земли.

Когда Бальмонт в комнате, в комнате – страх.

Сейчас подтверждаю.

Я в жизни, как родилась, никого не боялась.

Боялась я в жизни только двух человек: Князя Сергея Михайловича Волконского (ему и о нем – мои стихи Ученик – в Ремесле) – и Бальмонта.

Боялась, боюсь – и счастлива, что боюсь.

Чту значит – боюсь – в таком свободном человеке, как я?

Боюсь, значит – боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах – высшего. Но что между Кн. Волконским и Бальмонтом – общего? Ничего. Мой страх. Мой страх, который есть – восторг.

Никогда не забуду такого случая.

1919 г. Москва. Зима. Я, как каждый день, зашла к Бальмонтам. Бальмонт от холода лежит в постели, на плечах – клетчатый плед.

Бальмонт: – Ты, наверное, хочешь курить?

Я: – Нне очень... (Сама – изнываю.)

– На, но кури сосредоточенно: трубка не терпит отвлечений. Главное – не говори. Потом поговоришь.

Сижу и сосредоточенно дую, ничего не выдувая.

Бальмонт, радостно: – Приятно?

Я, не менее радостно: – М-м-м...

– Когда ты вошла, у тебя было такое лицо – такое, Марина, тоскующее, что я сразу понял, что ты давно не курила. Помню, однажды, на Тихом Океане...

– Рассказ. – Я, не вытянув ничего, неослабно тяну, в смертном страхе, что Бальмонт, наконец, заметит, что курение – призрачное: тень воина курит тень трубки, набитой тенью табачного листа, и т. д. – как в индейском загробном мире.

– Ну, теперь покурила. Дай мне трубку.

Даю.

Бальмонт, обнаруживая целостность табака: – Но – ты ни-

чего не выкурила?

Я: – Ннет... все-таки... немножечко...

Бальмонт: – Но зелье, не загоревшись, погасло?... (Исследует.) Я ее слишком плотно набил, я ее просто – забил! Марина, от любви к тебе, я так много вложил в нее... что она не могла куриться! Трубка была набита – любовью! Бедная Марина! Почему же ты мне ничего не сказала?

– Потому что я тебя боюсь!

– Ты меня боишься? Элэна, Марина говорит, что меня – боится. И это мне почему-то – очень приятно. Марина, мне – лестно: такая амазонка – а вот *меня* – боится.

(Не тебя боялась, дорогой, а хоть на секунду омрачить тебя. Ибо трубка была набита – любовью.)

Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне – всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. *Последнюю спичку.*

И не из сурдобольности, а все из того же великодушия. От природной – царственности.

Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может не дать.

А братъ, вот, умел – меньше. Помню такой случай. Приходит с улицы – встревоженно-омраченный, какой-то сам-не-свой. – Марина! Элэна! Мирра!²⁸¹ Я сейчас сделал ужасную вещь – прекрасную вещь – и в ней раскаиваюсь.

²⁸¹ Имена жены и малолетней, тогда, дочери (примеч. М. Цветаевой).

– Ты – раскаиваешься?

– Я. – Иду по Волхонке и слышу зов, женский зов. Смотрю – в экипаже – нарядная, красивая, все такая же молодая – Элэна, ты помнишь ту прелестную шведку, с которой мы провели целый блаженный вечер на пароходе? – Она. Подъезжает. Сажусь. Беседа. Все помнит, каждое мое слово. Взволнована. Взволнован. Мгновения летят. И вдруг вижу, что мы уже далеко, т. е. что я – очень далеко от дому, что едем мы – от меня, невозвратно – от меня. И она, взяв мою руку и покраснев сразу вся – именно до корней волос – так краснеют только северянки: – Константин Димитриевич, скажите мне просто и простите меня за вопрос: – Как Вы живете и не могла бы ли я Вам в чем-нибудь... У меня есть *всё* – мука, масло, сахар, я на днях уезжаю...

И тут, Марина, я сделал ужасную вещь: я сказал: – Нет. Я сказал, что у меня все есть. Я, Марина, физически отшатнулся. И в эту минуту у меня действительно все было: возвышенная колесница, чудесное соседство красивого молодого любящего благородного женского существа – у нее совершенно золотые волосы – я ехал, а не шел, мы парили, а не ехали... И вдруг – мука, масло? Мне так не хотелось отяжелеть радости этой встречи. А потом было поздно, Марина, клянусь, что я десять раз хотел ей сказать: – Да. Да. Да. И муку, и масло, и сахар, и все. Потому что у меня нет – ничего. Но – не смог. Каждый раз – не мог. «Так я Вас по крайней мере доведу. Где Вы живете?» И тут, Марина, я сделал вто-

рую непоправимую вещь. Я сказал: – Как раз здесь. И сошел – посреди Покровки. И мы с ней совершенно неожиданно поцеловались. И была вторая заря. И все навсегда кончено, ибо я не узнал, где она живет, и она не узнала – где я.

Девятнадцать лет прошло с нашей первой встречи. И никогда ни одну секунду мне с Бальмонтом не было привычно. За девятнадцать лет общения я к Бальмонту не привыкла. Священный трепет – за девятнадцать лет присутствия – уцелел. В присутствии Бальмонта я *всегда* в присутствии высшего. В присутствии Бальмонта я и ем по-другому, другое – ем. Хлеб с Бальмонтом именно хлеб насущный, и московская ли картошка, кламарская ли картошка, это не картошка, а – трапеза. Все же, что не картошка – пир.

Ибо присутствие Бальмонта есть действительно *присутствие*.

Этот трепет перед высшим испытывает – единственно перед Бальмонтом и Кн. Волконским – и мой юный сын.

Старость ни при чем. Мало ли в эмиграции стариков – сплошь старики, – а для современного ребенка это скорее повод к незамечанию, нежели к трепету.

И – писательство ни при чем. Мало ли в эмиграции писателей, сплошь – писатели, и для сына писательницы это опять – таки скорее повод к равнодушию, нежели к трепету.

И мой пример ни при чем: для современного ребенка, а может быть, для ребенка всех времен – для сильного ребенка – родительский пример – можно не договаривать?

Нет, не старость, не знаменитость и не подражательность заставляют этого независимого и даже строптивого ребенка – не возражать, отвечать тотчас же и точно, всячески собираться, а та способность, имя которой – личность и вершина которой – величие.

Часто приходится слышать о бальмонтовской – позе. Даже от писателей. Даже от хороших. Начну с общего возражения раз навсегда: во-первых, поэту – не перед кем позировать. Где его живописцы? Во-вторых – незачем: он настолько отмечен, что первое его, насущное желание – пройти незамеченным. «Хотел бы я не быть Валерий Брюсов» и «Всю жизнь хотел я быть, как все» – Борис Пастернак. Если позировать – так уж в обратную сторону – незаметности, в защитный цвет – общности.

То, что так часто принимается за позу, есть чуждая обывателю сама *природа* поэта, – так у Бальмонта, например, носовое произношение *ен* и *ан*.

Да, Бальмонт произносит иначе, чем другие, да, его *ен* и *ан* имеют тигриный призыв, но ведь он не только произносит по-другому, он мыслит и чувствует по-другому, видит и слышит по-другому, он – поступает по-другому, он – весь другой. И странно было бы, если бы он произносил как все – он, вкладывающий в самое простое слово – другое, чем все.

Кроме того, господа, в поэте громче, чем в ком-либо, говорит кровь предка. Не менее громко, чем в собаке – волк.

Литовские истоки – вот, помимо лирической особенности, объяснение бальмонттовской «позы».

Посадка головы? Ему ее Господь Бог так посадил. Не может быть смиренной посадки у человека, двадцати лет от роду сказавшего:

Я вижу, я помню, я тайно дрожу,
Я знаю, откуда приходит гроза.
И если другому в глаза я гляжу —
Он вдруг – закрывает глаза.

Отсюда и бальмонттовский взгляд: самое бесстрашное, что я в жизни видела. Верный: от взгляда – стих. И еще, друзья, как сказал бы устами персидского поэта подсолнечник: – Высокая посадка головы у того, кто часто глядит на солнце.

Еще одно: поза есть обратное природе. А вот слово Бальмонта о природе, в важный и даже страшный час его жизни. Два года назад. Тот же Кламар. Бальмонт жалуется на зрение: какое-то мелькание, мерцание, разбегание... Читать у меня берет только книги крупным шрифтом. – André Chénier? Я так давно мечтал об этой встрече! Но мой друг-издатель 1830-го года не учел моих глаз в 1930 году.

Солнечный день. Стоим у моего подъезда.

– Марина! Не сочти меня за безумца! Но – если мне суждено ослепнуть – я и это приму. Ведь это – природа, а я всегда жил согласно ее законам.

И, подымая лицо к солнцу, подавая его солнцу извечным

жестом жреца – и уже слепца:

– Слепота – прекрасная беда. И... (голосом, которым сообщают тайну)... я не один. У меня были великие предшественники: Гомер, Мильтон...

Приношу тут же свою сердечную неизбывную благодарность доктору Александру Петровичу Прокопенко, тогда Бальмонта вылечившему и так скрасившему неустанностью своей преданности и неподдельности совдохновения последние бальмонтовские здоровые годы. (Счастлива, что Вас друг другу подарила – я.)

Господа, я ничего не успела сказать. Я могла бы целый вечер рассказывать вам о живом Бальмонте, любящим очевидцем которого я имела счастье быть в течение девятнадцати лет, Бальмонте – совершенно неотразимом и нигде не записанном, – у меня целая тетрадь записей о нем и целая душа, полная благодарности.

Но – закончу срочным и необходимым.

Бальмонту необходимо помочь.

Бальмонт – помимо Божьей милостью лирического поэта – пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, т. е. 8750 печатных страниц стихов.

20 книг прозы, т. е. 5000 страниц, – напечатано, а сколько еще в чемоданах!

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По – 5 томов – 1800 стр<<аниц>>

Шелли – 3 тома – 1000 стр<<аниц>>

Кальдерон – 4 тома – 1400 стр<<аниц>>

– и оставляя счет страниц, простой перечень: Уайльд, Кристоф Марло, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Шарль-Ван-Лерберг, Гауптман, Зудерман, Иегер «История Скандинавской Литературы» – 500 стр<<аниц>> (сожжена русской цензурой и *не существует*) – Словацкий, Врхлицкий, грузинский эпос Руставели «Носящий Барсову Шкуру» – 700 стр<<аниц>>, Болгарская поэзия – Славяне и Литва – Югославские народные песни и былины – Литовские поэты наших дней – Дайны: литовские народные песни, Океания (Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония) – Душа Чехии – Индия: Асвагоша, Жизнь Будды, Калидаса, Драмы. И еще *многое* другое.

В цифрах переводы дают больше 10 000 печатных страниц. Но это лишь – напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многославные чемоданы его) – ломаются от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

Тут не пятьдесят лет, как мы нынче празднуем, тут сто лет литературного труда.

Бальмонт, по его собственному, при мне, высказыванию, с 19 лет – «когда другие гуляли и влюблялись» – сидел над словарями. Он эти словари – счетом не менее пятнадцати – осилил, и с ними души пятнадцати народов в сокровищницу

русской речи – включил.

Бальмонт – заслужил.

Мы *все* ему обязаны.

Вечный грех будет на эмиграции, если она не сделает для единственного великого русского поэта, оказавшегося за рубежом, – и *безвозвратно* оказавшегося, – если она не сделает для него всего, что можно, и больше, чем можно.

Если эмиграция считает себя представителем старого мира и прежней Великой России – то Бальмонт одно из лучших, что напоследок дал этот старый мир. Последний наследник. Бальмонтом и ему подобными, которых *не* много, мы можем уравновесить того старого мира грехи и промахи.

Бальмонт – наша удача.

Я знаю: идут войны – и воинская повинность – и нарушаются – и заключаются – всемирной важности договоры.

Но благодарность Бальмонту – наша первая повинность, и помощь Бальмонту – с нашей совестью договор.

Это срочнее и вечнее конгрессов и войн.

Бальмонту нужна: природа, человеческое обращение, своя комната – и больше ничего.

Он болен, но он остался Бальмонтом.

Он каждое утро садится за рабочий стол.

В своей болезни он – поэт.

Если бы за ним сейчас записывать – получилась бы одна из прекраснейших его книг.

То, что он, уже больной, говорил прошлую Пасху о пасхальной заутрене, у которой мы семь лет подряд стояли с ним, плечо с плечом, невмещенные в маленькую Трубецкую домашнюю церковь, в большом саду, в молодой листве, под бумажными фонарями и звездами... – то, что Бальмонт, уже больной, говорил о Пасхе, я никогда не забуду.

Расскажу, чтобы закончить, такой случай:

Прошлая весна 1935 г. Начало бальмонтской болезни. Кламар. Хочу узнать о его здоровье и не решаюсь идти сама, потому что у меня только четверть часа времени, а войти – не выйти: Бальмонт просто не отпускает. Поэтому прошу одну свою знакомую, и даже малознакомую, случайно ко мне зашедшую и никогда Бальмонта не видавшую, чтобы только зашла и спросила у жены, как здоровье. А сама стою с мужем этой дамы (она, кстати, будущий врач) и его волком на пустыре, в одной минуте отстояния от бальмонтского дома.

Стоим ждем. Проходит десять минут. Проходит пятнадцать. Проходит – двадцать. Дамы – нет. Полчаса прошло – дамы нет.

– А ну-ка я пойду... Марина Ивановна, подержите, пожалуйста, волка. Я – мигом! А как его имя-отчество?

– Константин Димитриевич.

Стою одна с чужим волком. Стоим с чужим волком и ждем. Десять минут прошло, пятнадцать минут прошло, двадцать минут прошло (я давно уже всюду опоздала) – *сорок* минут прошло... Совсем как в сказке: один пошел, за

ним второй пошел, за вторым третий пошел – первый пропал – за первым второй пропал – за вторым третий пропал... Я уже начинаю подумывать, не послать ли на разведку – Волка, тем более, что только *слово*, что – стоим: волк именно *не* стоит, мечется, рвется – и вдруг срывается – отрывается вместе с рукой и ремнем: хозяева!

Я, скача наперегонки: – В чем дело, господа? Ради Бога! Чту случилось?

– Да ничего, Марина Ивановна, всё в порядке – он здоров и в отличном настроении.

Я: – Но почему же вы так долго не выходили? Теперь я всюду опоздала – сорок минут прошло!

Оба, в голос: – Сорок минут? Быть не может! Простите, ради Бога, совершенно не заметили! С ним так интересно, я в жизни не встречал такого человека. Сразу спросил: – «Вы офицер Добровольческой Армии?» Я: – «Было дело». – «Я уважаю всякого воина». И о войне стал говорить, страшно интересно: уважаю воина, но ненавижу войну. Потом спросил – где был после Армии. Говорю – в Болгарии. Ну, о болгарях тут – за – ме – чательно. Всё в точку. И такое рассказал, о чем я и понятия не имел: что вся наша грамота оттуда, и даже христианство, и вообще *напрод* за – ме – чательный! И нет *не* замечательного народа. *Каждый* народ замечательный. И *почему* – объяснил. И про простой народ тут... И что тоже – замечательный. А когда *не* замечательный, значит не народ, а сброд.

И тут же книжку мне подарил – про Болгарию – я у него чем-то вроде болгарина оказался. – А какой у него, Марина Ивановна, на полках – порядок! Сразу подошел и вынул – как клювом выклюнул. Тут я не стерпел: – А я, Константин Димитриевич, по правде сказать, думал, что у писателей – хаос.

– Это, говорит, мой благородный друг, злые слухи, распространяемые невежественными и недобросовестными людьми. Чтобы ясно было в голове – нужно, чтобы ясно было на столе. А когда в голове ясно – то и на столе ясно. И тут же про первые дни творения: свет от тьмы и твердь от воды... *Первый* порядок. И греческого философа какого-то помянул: числа – и звезды... Я в философии не знаток, а сразу понял.

Я думал: поэт – только о стихах умеет – какое! *Всё* знает, точно в нем сто профессоров сидят – да что профессора! – просто, сразу, без всякой скуки, каждое слово глазами видишь... (обращаясь к жене:) – Ну, конечно, это уж ваше медицинское дело – я в болезнях не знаток – (здоров, Марина Ивановна, как медведь – никогда даже зубы не болели!) – А вот так, здраво рассуждая – никакой в нем душевной болезни, и дай Бог нам с вами такой ясной головы на старость лет.

Она: – А какая у него голова красивая! В коридоре темно, стоит на пороге комнаты, за спиною свет, лица не видно, одно сиянье над головой. Я сначала не хотела заходить, как Вы говорили, вызвала тихонечко Елену Константиновну, стоим

на площадке, шепчемся. И вдруг – голос:

– Я слышу незнакомый голос. Женский шепот слышу. Кто пришел?

Пришлось войти. Ну, объясняю: Марина Ивановна просила зайти справиться, как самочувствие, не нужно ли чего – сама не может...

А он – так ласково: – Заходите, заходите, я всегда рад гостю, особенно – от Марины...

И так широко раскрыл мне дверь, пропуская, так особенно-почтительно...

А какой он молодой! Совсем молодые глаза, ясные. И смелые какие! Я думала – блондин, только потом рассмотрела: седой. И такой особенный: простой и вместе с тем – торжественный. У меня сразу сердце забилось и сейчас – бьется. А какой порядок на столе! Книжки, тетрадки, все стопками, карандаши очинены, чернильница блестит: ни одной бумажки не валяется. О Вас стал говорить: – У меня никогда не было сестры. *Она* – моя сестра. Вспомнил, как вместе жили в Советской Москве, как Вы ключ от дома потеряли и не решились сказать, чтобы не беспокоить – так и ночевали на лестнице...

Стихи говорил – замечательные. Про Бабу-Ягу – и про кукушку – и про Россию... Сначала наизусть, а потом по книжечке. Я посмотреть попросила – дал. Как бисер! И точно напечатанные.

Книжку мне подарил – с надписью. Вот.

Стоим на пустыре: будущая женщина-врач, бывший офицер, серый волк и я – читаем стихи. И когда опоминаемся – *еще* сорок минут прошло!

Господа. *Годы* пройдут. Бальмонт – литература, а литература – история.

И пусть не останется на русской эмиграции несмываемого пятна: равнодушно дала страдать своему больному большому поэту.

Ванв, 15 апреля 1936

Нездешний вечер (Михаил Кузмин)

Над Петербургом стояла выюга. Именно – стояла: как кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или пожар. Белая сила – уносила.

Унесла она из памяти и улицу и дом, а меня донесла – поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных.

Так, из выюги в залу, из белой пустыни выюги – в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов и вводных предложений слуг.

И вот, с конца залы, далекой – как в обратную сторону бинокля, огромные – как в настоящую его сторону – во весь глаз воображаемого бинокля – глаза.

Над Петербургом стояла выюга и в этой выюге – неподвижно как две планеты – стояли глаза.

Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что сопутствующее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези в глазах, точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край.

С того конца залы – неподвижно как две планеты – на меня шли глаза.

Глаза были – здесь.

Передо мной стоял – Кузмин.

Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого остального было мало: почти ничего.

Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами, голос шел еще с того конца залы – и жизни, – а, может быть, я, поглощенная глазами, не попевала? – первое чувство от этого голоса: со мной говорит человек – через реку, а я, как во сне, все-таки слышу, как во сне – потому что это нужно – все-таки слышу.

...Мы все читали ваши стихи в «Северных Записках»... Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И большею частью – чужих. Или слова – чужие. А тут сразу, с первой строки – свое, сила. «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!»... И это мы почувствовали – все.

– А я пятнадцати лет читала ваше «Зарыта шпагой – не лопатой – Манон Леско!». Даже не читала, мне это говорил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, именно потому, что он был – лопата: и борода лопатой, и вообще...

Кузмин, испуганно:

– Бо-ро-да? Бородатый жених?

Я, сознавая, что пугаю:

– Лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно-честные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть

такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой – «А меня лопатой – ну нет!»... И какой в этом восхитительный, всего старого мира – вызов, всего того века – формула: «Зарыта шпагой – не лопатой – Манон Леско!». Ведь все ради этой строки написано?

– Как всякие стихи – ради последней строки.

– Которая приходит первой.

– О, вы и это знаете!

О Кузмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды, и слагают их всё та же зависть и злость. Припев к слову Кузмин был «жеманный, мазанный».

Жеманности не было: было природное изящество чужой особи, особое изящество костяка (ведь и скелет неравен скелету, не только души!), был отлетающий мизинец чаепития – так в XVIII веке держал шоколадную чашку освободитель Америки Лафайет, так в Консьержерии из оловянной кружки пил наимужественнейший поэт Андрей Шенье – были, кроме личного изящества костяка – физическая традиция, физический пережиток, «манерность» – рожденная.

Была – севрская чашка.

Был в Петербурге XX века – француз с Мартиники – XVIII-го.

О «мази» же. Мазь – была. Ровная, прочная, темно-коричневая, маврова, мулатова, Господо-Богова. Только не «намазан» был, а – вымазан, и даже – выварен: в адовом ли кофе

лирической бессонницы, в ореховом ли настое всех сказок, в наследственной ли чужеземной прикрови – не знаю. Знаю только, что ровнее и коричневей, коричневей – и ровнее – и роднее – я краски на *лице* не видела. Разве на лице нашего шоколадного дома в Трехпрудном.

Но из этого кофейного цыганского наваара, загара, идет на меня другое родное сияние: серебро. Костюм был серебряный, окружение сновиденно-невесомых и сновиденно-свободных движений было – серебряное, рукав, из которого цыганская рука – серебряный. А может, и серебряным-то был (простой серый скучный) рукав – от цыганства руки? А может быть – от серебряного Петербурга – серебро? Так или иначе – в два цвета, в две краски – ореховую и серебряную – и третьей не было. Но что было – кольца. Не ручные (наперстные), если и были – не помню и не о них говорю, и не ушные – хотя к этому лицу пристали бы как припаянные, были – волосяные. С гладкой небольшой драгоценной головы, от уха к виску, два волосяных начеса, дававших на висках по полукольцу, почти кольцу – как у Кармен или у Тучкова IV, или у человека, застигнутого бурей.

Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки – как сквозь голубую завесу... (А где-то завеса – дымовая. Январь 1916 года. Война.)

Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, как лань, красуясь... Но вдруг красованию конец:
– Вы, вы меня простите... Я все время здесь кого-то видел

– и я его не вижу – уже не вижу – он только что был – я его видел – а теперь...

Исчезновение видения.

– Как вам понравился Михаил Алексеевич? – мне – молодой хозяин, верней – один из молодых хозяев, потому что их – двое: Сережа и Лёня. Лёня – поэт, Сережа – путешественник, и дружу я с Сережей. Лёня – поэтичен, Сережа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание) и которой я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне – про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?

Кроме того, я Лёне явно должна не нравиться – он все время равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахматовскому (тогда!) излому – и все не сходится, а Сережа меня ни по чему не равняет – и все сходится, то есть сошлись – он и я – с первой минуты: на его пустыне и моей дочери, на самом любимом.

Лёню чисто физически должен раздражать мой московский говор: – спасибо – ладно – такое, которое он неизменно отмечает: «Настоящая москвичка!» – что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость – усиливать, так что

с Леней, гладкоголовым, точным, точеным – я, вьющаяся в скобку, со своим «пуще» и «гуще» – немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем.

– Как вам нравится Кузмин?

– Лучше нельзя: проще нельзя.

– Ну, это для Кузмина – редкий комплимент...

Сижу на шкуре белого медведя, он стоит.

– А, так вот вы где? – важный пожилой голос. Отец Сережи и Лёни, известный строитель знаменитого броненосца – высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый – которого про себя зову – лорд.

– Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее...

– Так ближе к огню. И к медведю.

– Но медведь – белый, а платье – темное: вы вся будете в волосах.

– Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть на стул! – я, уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами (Сережа, укоризненно: «Ах, папа!..»).

– Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так – приятно.. (Пауза.) И по этой шкуре же все ходят...

– *Crime de lèse-Majesté!* То же самое, что ходить по лилиям.

– Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную и вы нам почитаете. Вас очень хочет ви-

деть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько... вольно. Вы не рассердитесь?

Испуганно молчу.

– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на банкетке – посреди комнаты – вы с Лёней, обнявшись.

Я:

– Что-о-о?!

Он, невозмутимо:

– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Лёнин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов – и поэтесс – но все же, признаться, удивился...

Я:

– Это был Есенин!

– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я...

– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно – разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от

Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостинной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее:) Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно – и – так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.

После Лёни осталась книжечка стихов – таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности – поверила.

Сижу в той желтой зальной – может быть, от Сережиных верблюдов – *пустыне* и читаю стихи, не читаю – говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда перестала их знать наизусть, а знать перестала, когда говорить перестала, а говорить перестала – когда просить перестали, а просить перестали с 1922 года – моего отъезда из России. Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи – никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: если десерт кому-нибудь – нужен...

Читаю в первую голову свою боевую Германию:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь»?
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!

Ну как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где все еще по Кёнигсбергу
Проходит узколиций Кант.

Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке —
Geheimrat Goethe по аллее
Проходит с веточкой в руке.

Ну как же я тебя отрину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, когда

От песенок твоих в восторге
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят Святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabentor,

Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус, —
Когда в влюбленности до гроба

Тебе, Германия, клянусь!

Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей.

Эти стихи Германии – мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не имеют, имеют обратный успех. Но здесь, – чувствую – попадают в точку, в единственную цель всех стихов – сердце. Вот самое серьезное из возражений:

– Волшебный, премудрый – да, я бы только не сказал – благоуханный: благоуханны – Италия, Сицилия...

– А – липы? А – елки Шварцвальда? О Tannenbaum, о Tannenbaum!²⁸² А целая область – Harz, потому что Harz – смола. А слово Harz, в котором уже треск сосны под солнцем...

– Bravo, bravo, М. И., это называется – защита!

Читаю еще:

Я знаю правду! Всй прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер! Смотрите: уж скоро ночь!
О чем – поэты, любовники, полководцы?

²⁸² Ель (нем.).

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет выюга,
И под землю скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнение нас (а в ком и – стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но, если некоторые ахматовские ревнители меня *против меня* слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а – к Ахматовой. Читаю, – как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург – победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой – преклонить. Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов на вершине. Что я и сделала, в июне 1916 года, простыми словами:

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса Светлого славит слепец бродячий,

И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.

Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви, то подарить – что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей – Кремль, я бы наверное этих стихов не написала. Так что соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой – было, но не «сделать лучше нее», а – лучше нельзя, и это лучше нельзя – положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых моих больших радостей за жизнь.

Потом – читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в «Летопись» и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного гнева. – «Как Московский царь – на кровавой гульбе – продал душу свою – Антихристу»... Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht²⁸³, это оперное «Отоприте! Отоприте!» – *этот – это* написал? – почувствовал? (С Есениным я никогда не перестала этому удивляться.) Потом частушки под гармонику, с точно из короба, точно из ее

²⁸³ Мальчишка, молокосос (нем.).

кузова сыплющимся горохом говорка:

Играй, играй, гармонь моя!
Сегодня тихая заря,
Сегодня тихая заря, —
Услышит милая моя.

Осип Манделъштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло.

Пьяны ему цензура переменяла на *рьяны*, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает – только рьяные!

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще другой критик, которого зовут Луарсаб Николаевич. Помню из читавших еще Константина Ландау из-за его категорического обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: «Какая она?» – «О, замечательная!» Ахматова, нетерпеливо: «Но можно в нее влюбиться??» – «Нельзя не влюбиться». (Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут.)

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на

войне.

Читал весь Петербург и *одна* Москва.

...А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А время летит. А мне, кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша «Северных Записок», которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас – на свет этих люстр и лиц.

Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских сказок и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, другую – стоячую: гонораров я не хотела) – и духи *Jasmin de Corse* – почтить мою любовь к Корсиканцу, – возившие меня в Петербурге на острова, в Москве к цыганам, все минуты нашей совместности меня праздновавшие...

Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, спасибо за праздник – у меня его было мало.

Дом «Северных Записок» был дивный дом: сплошной нездешний вечер. Стены книг, с только по верхам приметными темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно – «ночь». Два часа. Звонок по телефону: «К вам не поздно?» – «Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи». – Это «как раз» было – всегда.

Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая, навер-

ное, с нетерпением ждет меня – услышать про мой (а этим и свой) успех.

– Михаил Алексеевич! Умоляю – почитайте сейчас! А то мне – уходить.

Певуче:

– Куда-а?

Объясняю.

Он, не слушая:

– За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем – давно пора уходить.

(О как мы скоро потом – все ушли! В ту самую выюгу, нас грозно и верно стерегшую...)

Продолжаю умолять.

Он:

– Я прочту – последнее.

(Начало о зеркалах. Потом:)

Вы так близки мне, так родны,
Что, будто, вы и не любимы.
Должно быть, так же холодны
В раю – друг к другу – серафимы...

И вольно я вздыхаю вновь.
Я – *детски!* – верю в совершенство.
Быть может... это не любовь...
Но так...

(непомерная пауза и – mit Nachdruck²⁸⁴ всего существа!)

– *похоже* —

(почти без голоса)

...на блаженство...

Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, вторым прощанием:

А ваша синяя тетрадь
С стихами... было все – так ново!
И понял я, что, вот – страдать —
И значит – полюбить другого.

Незабвенное на *похоже* и *так* ударение, это было именно *так похоже*... на блаженство! Так только дети говорят: *так* хочется! Так от всей души – и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех – одетых и бронированных.

Кузминского пенья я не дождалась, ушла, верная обеща-
нию. Теперь – жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, жа-
лела и выйдя – и дойдя – и войдя. Тем более что моя боль-
ная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещанию, ко-

²⁸⁴ Порыв (*нем.*).

торое я сдержала, – спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной.)

Все:

– Но Михаил Алексеевич еще будет читать!

Я, твердо:

– Но я обещала!

– Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь!

Я, жалобно:

– Но я обещала!

Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно всеминутно неослабно на себе, как определенное давление, чувствовала.

– Оставайтесь же, вы так мало побыли! (И последний невинный неотразимый довод:) Я, может быть, буду петь.

(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: «Будет петь... Будет петь... Будет петь...»).

– Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду – никогда. Потому – ухожу сейчас.

– Какая вы, однако, твердая! – восхищенно и немного ошеломованно – Кузмин.

– Ein Mann – ein Wort!

– Но вы ведь – Frau!

– Нет! Mensch! Mensch! Mensch²⁸⁵

²⁸⁵ «Человек-слово!» – «Но вы ведь – женщина!» – «Нет! Человек! Человек! Человек!» (нем.).

Последнее, что помню – последним оборотом головы – Кузмина, уже подходящего к роялю.

И все они умерли, умерли, умерли...

Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и Есенин, умерли мои дорогие редакторы «Северных Записок», Софья Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, в Варшаве, – Лорд, и теперь умер Кузмин.

Остальные – тени.

Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня еще была.

Вот конец моего письма к нему, в июне 1921 года, письма, сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. (Первая половина письма – живописание ему нашей встречи, только что читателем прочитанной.)

...»Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источник моего существования. Робко, кассирше: «Вы не знаете, как идут мои книжки?» (Переписываю стихи, сшиваю в тетрадки и продаю. Это у нас называется – преодолевать Гутенберга²⁸⁶.) Пока она осведомляется, я, pour me donner une contenance²⁸⁷, перелистываю книги на прилавке. Кузмин. «Нездешние вечера». Раскрываю: копьем в сердце – Георгий! Белый Георгий! *Мой* Георгий, которого пишу уже два

²⁸⁶ Слово, принадлежащее Б. К. Зайцеву (примеч. М. Цветаевой).

²⁸⁷ Чтобы занять себя (*фр.*).

месяца – житие. Ревность и радость, двойное острие, читаю – радость растёт, кончаю – змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча.

Открываю дальше: Пушкин – *мой* Пушкин, то, что всегда говорю о нем – я. И, третье – Гёте, *мой* Гёте, мой, с шестнадцати лет, Гёте – старый! тайный! – тот, о ком говорю, судя современность: «Перед лицом Гёте...»

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, – все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продалось. И чувство: – раз есть еще такие стихи...

Что мне еще остается сказать Вам, кроме:

– Вы так близки мне, так родны...

Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему письму – привет, переданный мне госпожой Волковой».

А вот – те глаза:

Два зарева! – нет, зеркала!
Нет – два недуга!
Два вулканических жерла,
Два черных круга
Обугленных – из льда зеркал,
С плит тротуарных
Через тысячеверстья зал
– Дымят – полярных.
Ужасные! Пламень и мрак!
Две черных ямы.

Бессонные мальчишки – так —
В больницах: – Мама! —
Страх и укор, ах и аминь...
Взмах величавый —
Над каменностью простынь —
Две черных славы.
Так знайте же, что реки – вспять!
Что камни – помнят!
Что уж опять они, опять
В лучах огромных
Встают – два солнца, два жерла,
Нет – два алмаза —
Подземной бездны зеркала:
Два смертных глаза.

(Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом.)

Я эту вещь назвала «Нездешний вечер».

Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Сережа и Лёня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чацкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек.

Завтра Ахматова потеряла *всех*, Гумилев – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время Чумы? *Да*. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: *звучом* слов и живой кровью чувств.

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека – правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положив, весь Петербург и всю Москву бы отдала за кузминское: «так похоже... на блаженство», само блаженство бы отдала за «*так похоже*»... Одни душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за небесные звуки.

И – все заплатили. Сережа и Лёня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости – вернее Петропавловской.

И как бы ни побеждали *здесь* утра и вечера, и как бы по-разному – всеисторически или бесшумно – мы, участники того нездешнего вечера, ни умирали – последним звучанием наших уст было и будет:

И звуков небес заменить не могли

Ей *скучные* песни земли.

Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – «Jane Eyre» – Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу – в слове *живот* для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливают волной содрогающегося сочувствия, исключаящего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.

– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – черню.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на

картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, – я поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой – «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале – «Татары» – татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и – в спальне матери – «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносными голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

* * *

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его

многочисленных портретов. (Раз негр – черные²⁸⁸.)

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили.

(Боже, как сбилось! Какой поэт из бывших и сущих *не* негр, и какого поэта – *не* убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминания есть свое *до*-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая *всегда* оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и дальчайшие звезды, – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и отовсегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи,

²⁸⁸ Пушкин был светловолос и светлоглаз (примеч. М. Цветаевой.)

всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», – чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая²⁸⁹.

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев, – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала

²⁸⁹ Там верстою небывалой Он торчал передо мною... («Бесы») Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне... («Зимняя дорога») (примеч. М. Цветаевой).

– к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андриюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку – они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос – знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, – приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! – и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* – комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с чис-

лом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» – с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто *меня*, тогда – *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду – я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом – и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памятник-Пушкина – для меня. Но что же тогда для фигурки – Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья – внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом. Или – гром. А *она* для него – такая уж маленькая, что он ее тоже – просто не видит. Он думает – просто блоха. А меня – видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, *от* него – спиной и *к нему* – спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья *до* него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник Пушкина я любила за черноту – обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина – совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин – негр, я бы знала, что Пушкин – негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным – рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, – черный памятник Пушкина моего до-

грамотного младенчества и всея России.

...Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот – всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

– На Патриаршие Пруды или..?

– К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах – патриархов не было.

* * *

Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта – среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство – обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события, – памятник против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой – лишь бы дала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых

неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть *факт*, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину *быть*. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой *поклона* – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень – цепь, камень – цепь, ка-

мень – цепь, все вместе – круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты – *мой* Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, будущей, качалась – не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. – «Ам-пир»? – Ампир. – Empire – Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями – чудный памятник. Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем *народу* я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением *пользы* в поэзию – подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года – установки памятника, – наконец заменена словами *пушкинского* «Памятника»:

И долго буду тем *любезен* я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая – безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище – в слове:

А там, в полях необозримых
Служа *небесному* царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

* * *

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит – либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» – «Да». – «Так это – сын Пушкина. Ты

ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг – пройдет.

Прошел он – и именно вдруг – но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди – звезда.

– Ну, Муся, видела сына Пушкина?

– Видела.

– Ну, какой же он?

– У него на груди – звезда.

– Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, – няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходящий по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его

птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». – «Что, барышня?» – «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». – «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, – вмешалась няня. – Небось сами – полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» – «Знаю». – «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство» .

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить – связанного у меня только с предметами – белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и т.д. – а никак не с людьми, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к людям, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спу-

стя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

* * *

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая, – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

* * *

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том,

огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А.С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманный, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин – «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик. Я стариков знала только одного – сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла – потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А.Д. Мейн – не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово – любовь. Когда жарко в груди,

в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это – любовь. Я думала – у всех так, всегда – так. Оказывается – только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена – в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым – потому что краденое, детям – потому что я их презираю, а главное – потому что тайна: моя – с красной комнатой, моя – с синим томом, моя – с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить – разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух – в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы – швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася – спала.

– А у нас Мусенька – умница, грамотная, – говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. – А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того (барабанщика).

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

– Я могу рассказать про «Цыган».

– Цы-ган? – нянька, недоверчиво. – Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребушие?

– Это не такие. Это – другие. Это – табор.

– Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит – молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...», – а старая чертовка – белёе с веревки али уж прямо – бриллиантовую брошь с барынина туалета...

– Не такие цыгане. Это – другие цыгане.

– Ну, пущай, пущай расскажет! – приятельница, чуя в моём голосе слезы. – Может, и вправду другие какие... Пущай расскажет, а мы – послушаем.

– Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыгане шумною толпой – По Бессарабии кочуют – Они сегодня над рекой – В шатрах изодранных ночуют – Как вольность весел их ночлег – и так далее – без передышки и без срединных запятых – до: *звон походной наковальни*, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто – принимаю.

– А складно говорит! как по-писаному! – восклицает швея, тайно меня любившая, но не смеющая, потому что нянька – Асина.

– Мед-ве-едь... – осуждающе произносит нянька, повто-

ря единственное дошедшее до ее сознания слово. – А вправду – медведь. Маленькая была, старики рассказывали – завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

– Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (Швея.)

– И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

– Ка-ак?

– Алэко!

– Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

– Алэко.

– Ну и Алека – калека!

– А ты – дура. Не Алека, а Алэко!

– Я и говорю: Алека.

– Это *ты* говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

– Ну, ладно: Алека – так Алека.

– Алеша, – значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). – Да дай ей, дура, сказать, – *она* ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

– Ну, эту дочь звали Земфира. (Грозно и громко:) Земфира – эта дочь говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

«Его в пустыне я нашла

И в табор на ночь зазвала». А старик обрадовался и сказал, что мы все поедem в одной телеге: «В одной телеге мы поедem – та-та-та-та, та-та-та-та – И села обходить с медведем...»

– С медве-едem, – нянька, эхом.

– И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

– Кто это – в корзинах?..

– Так: «Ослы в перекидных корзинах – Детей играющих несут – Мужья и братья, жены, девы – И стар и млад вослед идут – Крик, шум, цыганские припевы – Медведя рев, его цепей».

Нянька:

– Да уж будет про медведя! Со стариком-то – что?

– Со стариком – ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта, тоже, Земфира – ушла. Сначала все пела: «Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя!» – это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

– Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то – что?

– Старик – ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый че-

ловек!» – и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе в голос:

– Так ему и надо. Не побивши – убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, – да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) – застал с полюбовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали... Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

* * *

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* – любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, – и вещь, которую *так* зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточкой рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся – это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется – это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь. Когда розовогозовых нафталиновых парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу – это любовь. То есть *это* – от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы.

А вот волк и ягненок – не любовь, хотя мать меня и убеж-

дает, что это очень грустно.

– Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит. . .

– Но волк – *тоже* хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он *съел* ягненка, а ягненка я любить – хоть и съеденного и белого – не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

* * *

Сказав волк, я назвала Вожатого. Назвав Вожатого – я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего – любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножииков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был – главная тайна. Больше «Цыган», потому что он был –

черней цыган, *темней* цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил – Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил... Вожатый.

* * *

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

– Парижская.

– Почему? – Потому что у нее глаза страстные.

Мать угрожающе:

– Что-о-о?

– Я, – спохватываясь: – Я хотела сказать: страшные.

Мать еще более угрожающе:

– То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла – неправильно. Не глаза – страстные, а *я* чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом Париж, и делом сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала – глазам. Не я одна. *Все* поэты. (А потом стреляются – что кукла *не* страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

Немного позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плак-синой, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет!

Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Обо-
рачиваясь к подошедшему директору школы, Александру
Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу
на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Оне-
гин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира
из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин»,
все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное.
Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой
добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что – любовь».

– Она наверное уже седьмой сон видит! – подходящая На-
дежда Яковлевна Брюсова²⁹⁰, наша лучшая и старшая учени-
ца, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера
глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из мо-
ей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (за-
метно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие ман-
даринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные

²⁹⁰ Сестра Валерия Брюсова (примеч. М. Цветаевой).

взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном, – мать ругается:

– Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шести лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда – когда расставались. Никогда – когда *садились*, всегда – *расходились*. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой – любви – прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

* * *

У кого из народов – такая любовная героиня: смелая – и достойная, влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и

стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума, все козыри – чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю, – к чему лукавить?».

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать – к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны – внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда – непонадобившаяся, сейчас – вожденная, и тогда и ныне – любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она – не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь. Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для

бедной все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить *того*, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т.д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не *его* дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня.

Ибо женщины *так* читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала – должно быть, все-таки – пожалела девочку...

* * *

С младенчества посейчас, весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи – той скамьи – того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть разворочен-

ная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркетные полы (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

* * *

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей – поэтической. Портрет в две дали – назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был *другой* Пушкин, в нем и Цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной... Но помимо содержания, отвращало уже само название: *для городских училищ*, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно – лица учеников городских училищ, – бедные лица:

некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица – внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота – с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку *проверить* – и меньше всего – шестилетней тогдашней – мне. Раз сказано, так – *так*. В стихах – так. Эта птичка – поэтическая вольность. Интересно, что думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда *не* грозитя уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В

тулупе, в красном кушачке» – это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» – это дворник, а дровни – это дрова, а мать – наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли – только им проходили – потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки – были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были басни, которые, под видом стихов – проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала – последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были – идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, – ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-темному фартуку, – ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно *уже* прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю – еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: «А длинная?» – «Нет, маленькая повесть». – «Ну, тогда читать *не* буду».

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихора-

дядшей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» – Ни-коленькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лири-ческими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только чи-тать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была – только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия – ничего преждевременного. *Вся* литература для ребенка преждевре-менная, ибо *вся* говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: «А я почём знаю?»)

...Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверости-шия понимала только злодея и так как злодей здесь в окру-жении трех имен, то у меня злодея получалось – три: Гет-

ман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей – один и кто именно. Гетман для меня по сей день – Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей – по сей день Гетман, и т.д., и три стало одно, и это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы – не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю – возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною – точно чтобы его лучше видели! – а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь, *донос*, – донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была – злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала Гетман (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который – падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андриюше: – Ну, Андриюша, кто же был – он? И опять Андриюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: – а я почём знаю?» (Что за странный мир – стихи, где *взрослые* спрашивают, а *дети* отвечают!) – Ну, а ты, Муся? Кто же был – *он*? – Великан». – «Почему великан?» – «Потому что он сразу все починил». – «А что значит „И на счастье Петрово“ „? – „Не знаю“. – „Ну, что

значит Петрово?“ (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) „Ты не знаешь, что такое Петрово?“ – „Нет“. – „А Андриюшино – знаешь?“ – «Да. Андриюшин штекенпферд, Андриюшин велосипед, Андриюшины салазки...» – «Довольно, довольно. Ну и *Петрово* то же самое. Петрово – понимаешь? Счастье – понимаешь? (Молчу.) *Счастья* не понимаешь?» – «Понимаю. Счастье, это когда мы пришли с прогулки и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати...» – «Достаточно. На счастье Петрово значит на Петрово счастье. А кто этот Петр?» – «Это...» – «Кто он? Что?» – «То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторону – Где чудесный гость исчез...» – «А как этого чудесного гостя зовут?» Я, робко: «Может быть – Петр?» – «Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе:) Это был тот самый Петр, который...»

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?»

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную казачье-скачущую шапочно-доносную ночь и, что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым

злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский – в новый месяц! – вопросительный знак: «Кто?» Когда Петр – то всегда: кто? Петр, это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: – Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают – не то, всё, что подсказывают, – не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

«Родила» я не понимала, понимала только родилась, ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах – есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких отчего и стольких явно ложных подсказок, – наконец, блаженное оттого! «Оттого-то шум и клики – в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего

младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? – Кто он? – Кто при звездах и при луне? – Черногорцы, что такое?» – и т.д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это – нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, – строка за строкой, как умела, по-своему, стихи – видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос, в стихах, – прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое *отчего* требует и сулит *от-того* и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не *та* загадка, на которую готовая отгадка, и не *та* задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» – ни одного вопроса. Зато – сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть *мы* играем одни на реке, во-вторых, *мы* противно зовем отца: тятя! а в-третьих, – *мы* не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши

сети! Притащили! Мертвеца!» – «Врите, врите, бесенята, – заворчал на них отец. – Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут *ужо*. Я говорю: немножко – уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам! *Ужо*-мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи – мертвецы, а этого мертвеца зовут *Ужо*, потому что он немножко ужинный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр заживались в Тарусе, на своей одинокой – в двух верстах от всякого жилья – даче, в единственном соседстве (нам – минуту сбежать, *тем* – минуту взойти) реки – Оки («Рыбы мало ли в реке!»), – но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки – опять затянуло под плот, – но часто и пьяные, а часто и трезвые, – и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех – потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака – от рака? Но ведь:

И в распухнувшее тело

Раки черные впились!

...словом, сквозь стеклянную дверь столовой – привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот —

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом де-душки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки – своим потом и от страха бледностью – возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) – страсти страха. «Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак». Кто, вообще, гложет кости? Собака. Вурдалак – собака, с красными губами. Черная (потому что – ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только *слово*

вурдалак, то есть название стихотворения. Конечно, слово вурдалак – неприятное (немножко лакающее), и та самая собака – не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны, и занятие ее – приносить свою кость именно на могилу – несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки – тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вие», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх – явлением Вия, и потом и виев – разряжается. Когда *много* – всегда *весело*.)

Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня – явный бессомнительный дурак – и бедняк – и трус. И еще – злой: «Вы представьте Вани злость!» И – представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что – злой... Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака – действие этим соседством предуказано.

И кончалось, как всегда со всем любимым, – слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у...

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были – «Бесы». «Мчатся

тучи, вьются тучи – Невидимкою луна...»

Все страшно – с самого начала: луны не видно, а она – есть, луна – невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и – о, сладкое обмирание – *ими!* Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом *ты* – летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, —той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним – Бесов, и над Пушкиным и Бесами – сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было – меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела – утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью – защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же – жалостью высокой, жалостью – восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «...домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» – только так, что никого они не похорони, не выдай замуж – всё равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и де-

вушку замуж выдают – чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, – а потому что они – они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: «Потому что Бог их проклял!») Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они – тучи! Что они – серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, *ими* – можно только мчаться! Что это – воздух, который воеет! Что их – нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» – опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...). «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано – печалью, точно Пушкин этим повторением печаль луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», – то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разорнили сердца?

И эти очи голубые – опять были луною, точно луна на этот раз в два раза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» – не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё – ещё всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мое» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь – одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. *Вошли в состав.*

«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» – как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на *мою* няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой голубиный двор. (Моя няня была бы – *голубка*, а Асина – Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать (А не думаешь ли, голубка? – А не полагаешь ли, голубка? – А Бог с ними, голубка!) – кроме как голубка не называл никак, но *подруга* было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово подруга – самое любовное из всех – впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою

няню, потому что ее любил. Скажу; подруга, скажу: голубка – и заболит.

Кого я жалела? – *Не* няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки, няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он – что? А он – где? «Одна в глуши лесов сосновых – Давно, давно ты ждешь меня». Она – *одна*, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной – которую мать называла Шотландией – к Оке, вдруг – целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия – целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы» – у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) – чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений – множество. Сидит няня и горюет, а над ней – часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо – так горюет, что даже часы остановились. На ча-

сах было и под часами, и на часы, – дети к падежам нетребовательны. Некая же все же смутность этого *на часах* открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем – лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, – с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки – голубка...

Так, на часах было и под часами, и на часы и в конце концов немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно – спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечасности. Конечно, я, кроме *своей* тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но – запомнила. И – запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами – секундная заминка, точно это пушкинский конец к этому хрестоматическому – приращен. Да, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

Из знакомого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была *не* женщиной. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую

женщину – потому что родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слов к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – Марсея Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

* * *

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были – ряд загадочных картинок, – загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала – я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто – видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами – Смотрит лагерь их и наш – На холме пред казаками – Вьется красный делибаш». Делибаш – бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются – казак с бесом. Каково же было мое изумление – и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш – черкесское знамя, а вовсе не сам черкес

(бес). «Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш! Как же *черкес* может *витья*? Знамя – вьется!» – Отлично может витья. Весь черкес со своей одеждой». – «Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может витья? Знамя. – Я всегда понимала „Делибаш уже на пике, а казак без головы“ – что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось. – Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! „Делибаш уже на пике“ значит – знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен. – Ну так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как *знамя* может быть на *пике*? Мне по-моему больше нравилось. – Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики.

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш – знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения – выдумала, и вдруг – в 1936 году – сейчас вот – глазами стихи перечла и – о, радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!

Это *знамя-то* срежет саблею кривою казаку с плеч башку?

Так бедный семилетний варвар правильнее понял *умнейшего мужа России*, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Кто такое? – Бонапарте спросил» – с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: черногорцами и Бонапарте, черногорцами, усугубленно неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному – Бонапарте.

«А Бонапарте – что такое?» – нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня несчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: – Мама, что такое Наполеон? – Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон? – Нет, мне никто не сказал. – Да ведь это же – в воздухе носится!

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем, «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми – представляла, Пушкиными – представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – по крохотному злому черному черногорчику (просто

– чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте – тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить – забыла).

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

* * *

– Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедem к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

– Нет! – уже всхлипывала Ася. – Потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

– Врет! врет! врет.

– ...вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

– Правда, Муся, что я *не* говорил? Что это *она* сказала?

– Во всяком случае – кто бы ни сказал, – а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедем к морю.

К Морю.

Все предшествовавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы *моее* было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлого года предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья – обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикэя, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – «*К Морю*». Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десь писчей бумаги, сложенной ввосемь, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикеях и шевиотах – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник – с искрами. Не на нее,

а на них, ибо за лето – которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десь – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: Прощай, свободная стихия!

Стихия, конечно, – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще – это *туда*. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть потому что между нами Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix heures!»²⁹¹ – и все тушат огни, а если не тушат, то приходит

²⁹¹ Стража не спит! Пробило десять! (фр.)

доктор или сажают в тюрьму; *вотще* – это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вотще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это – *тем*, и как *не* ошибались – тогда!).

Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сих

отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится *гений*. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» – ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние

часы...» (Не забуду – буду.)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот – видение: Пушкин, переносающий, проносающий над головой – все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила *волн*, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

* * *

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не

знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит **К Морю**, то есть дает обещание, которое не может сдержать.

С этой минуты я ехала **К Морю**, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое – и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что *мечта* и *один* – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Со всем немножко помечтаем!

– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

– Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семеныча, яичко.

– Ты его треснула.

– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, по-

тому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось – кроме самого себя, и от *моего* моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?

Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем *К Морю* не было, были шумы – той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ничего.

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны – светло-синяя луна – черно-синие тучи – светло-синий столб от луны – и по бокам этого столба – такой уж черной синева, что ничего не видно – море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное – море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны – лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец – со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила – как та же девушка с любимым – тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало – море. Мое море, совсем черное от черноты парты – и дела.

Ибо украла я его – чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие – забыли. Чтобы я одна. Чтобы – мое.

Так, с глубоко– и жарко-розовой австралийской раковой у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил – день.

* * *

– Ася! Муся! Смотрите! Море!

– Где? Где?

– Да – *вот!*

«Вот» – частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу – плоская, серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.

Это – море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но – мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив – всегда так. *То* море – завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы – отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это – залив.

Словом, я все еще *К Морю* ехала, и чем ближе подъезжала

– тем меньше в него верила, а в последний свой гемуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» – была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет – и будут наши оба *здесь*.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. *Здесь и завтра*. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то

оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море – здесь, и его – нет.

* * *

Утром, по дороге к морю, Валерия:

– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!

Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так *не* пахла, и синяя открытка так *не* пахла.

Настораживаюсь.

* * *

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.

– Эта скала называется лягушка, – торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. – Это – *наша* лягушка.

От меня до лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

– А это – грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, –

тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну – чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше – тем бледней, и что кончается она белой блестящей линейной чертой – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая – и башмаки соленые.

Море голубое – и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст допи-

сать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, *К Морю!* – но, значит, уже никакого желания нет? но все равно – даже без желания! я должна дописать *до* волны, *все* дописать *до* волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин —

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как *тот* гранит...

* * *

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться – точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое *К Морю* было – пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн *его души*, и естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди – не узнала.

В пушкинскую грудь – в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего – в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К *Морю* было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно – Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —

опустив или подразумевая третью и единственную: лирическую. Но *К Морю* было еще и любовь *моря* к Пушкину: море – друг, море – зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин – забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море – взаимное, тот единственный случай взаимности – до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море – мое море – море моего и пушкинского *К Морю* могло быть только на листке бумаги – и внутри.

И еще одно: пушкинское море было – море прощания. Так – с морями и людьми – не встречаются. Так – прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин – навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море – пушкинской свободной стихии – было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз свою

рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» – или без всякого оттого – я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь – а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием – с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила – белым по серому – шифером по шиферу – и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И – больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда.

1937

Примечания

Все тексты печатаются по изданию: Цветаева Марина. Собр. соч. в 7 т. Т. 4, 5. М.: Эллис Лак, 1994. При подготовке примечаний использовались материалы комментариев А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина из этого собрания, разыскания В.А. Швейцер, И.В. Кудровой, Р.А. Будагова, Н.А. Козиной, Л.П. Черкасовой и др. Стихотворные и другие цитаты, как правило, не атрибутируются. Повторяющиеся реалии комментируются лишь при первом упоминании.

Автобиография. Была написана в 1940 году для статьи в «Литературной энциклопедии» (том не вышел). Младшая сестра Марины Цветаевой – Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993).

Октябрь в вагоне. Впервые – в пражском журнале «Воля России» (1927. № 11—12). В очерке рассказано о возвращении Цветаевой в Москву из Крыма. Там в это время жила её сестра Анастасия, у которой в мае 1917 года скоропостижно умер муж, Маврикий Александрович Минц, а в июле – младший сын, годовалый Алёша. Муж Цветаевой, прапорщик 56-го пехотного запасного полка С.Я. Эфрон участвовал в боях октября 1917 года в Москве на стороне частей, верных Временному правительству.

Викжель (Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожных рабочих и служащих), созданный летом 1917 года, стоял на антибольшевистских позициях, хотя не всегда был в этом последователен. Викжелем, как видно, Цветаева называет представителя этой довольно влиятельной тогда организации.

Вольный проезд. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1924. № 21).

Вдовствующая Императрица – Мария Фёдоровна (1847—1928), вдова императора Александра III, мать Николая II.

От моих вероломных Тезеев... – Трагедия Цветаевой «Ариадна» (1924) написана на основе мифа о Тезее и Ариадне.

Каннегисер Леонид Иоакимович (1896—1918) – поэт. Придерживался социалистических взглядов, но, не приемля большевистского террора и системы государственного управления, убил председателя Петроградской ЧК Урицкого. Расстрелян большевиками.

О любви. Впервые – в берлинской газете «Дни» (1925. 25 декабря).

...крик Сары (Маргариты Готье)... – Французская актриса Сара Бернар (1844—1923) исполняла роль Маргариты Готье в спектакле «Дама с камелиями» по пьесе А. Дю-

ма-сына.

Суд над адмиралом Щастным – в июне 1918 года по приговору большевистского Революционного трибунала при ВЦИК и, в противоречии с постановлением съезда советов, отменившего смертную казнь, был расстрелян А.М. Щастный, бывший контр-адмирал, 20 марта назначенный большевиками начальником Морских сил Балтийского моря. Его клеветнически обвинили в измене.

Письмо о Лозене – Арман-Луи Бирон-Гонто, герцог Лозен (1747—1793) – французский аристократ, один из знаменитых авантюристов XVIII века. Гильотинирован. Главный герой пьесы Цветаевой «Фортуна» (1919). Этому образу Цветаева придала некоторые черты Ю.А. Завадского, театрального актёра, впоследствии режиссёра, которым она тогда была увлечена.

Из дневника. Впервые – в парижской газете «Последние известия» (1925. 25 декабря).

О благодарности. Впервые – в брюссельском журнале «Благонамеренный» (1926. № 1).

Отрывки из книги «Земные приметы». Впервые – в пражском журнале «Воля России» (1924. № 1-2).

Деревянное изваяние скульптора С.Т. Конёнкова «Степан Разин со своей ватагой» (1918—1919) было установлено на

Красной площади. Ныне в Русском музее.

Чердачное. Впервые – в берлинской газете «Дни» (1924. 25 декабря).

...актриса З<<вягин>>цева... – Вера Клавдиевна Звягинцева (1894—1972), впоследствии известная переводчица, поэтесса.

...этот с армянской фамилией... – Вероятно, Цветаева имеет в виду Костанжогло (в ранней редакции – Скудронжогло), которого Гоголь, однако, не считал идеальным героем, или Муразова, персонажей второго тома «Мертвых душ».

О Германии. Впервые – в берлинской газете «Дни» (1925. 13 декабря).

Эккерман – литературный секретарь Гёте, записавший беседы поэта с ним, впоследствии составившие известную книгу.

Ласказ (де Лас-Казес) Эммануэль-Огюст-Дьедонне, маркиз (1766—1842) — историк, секретарь Наполеона во время его ссылки на остров Святой Елены. Ему свергнутый император диктовал свои воспоминания.

Дом у Старого Пимена. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1934. № 54).

Заглавие – по дому в Пименовском (ныне Старопиме-

новском) переулке между улицами Тверской и Малая Дмитровка (Москва). Дом принадлежал семье историка Дмитрия Ивановича Иловайского (1832—1920). На его дочери Варваре Дмитриевне (1858—1890) был женат первым браком Иван Владимирович Цветаев (1847—1913). У супругов было двое детей: Валерия (1883—1966) и Андрей (1890—1933). В своём эссе Цветаева использовала воспоминания о семье Иловайских «У Старого Пимена» (1932) В.Н. Муромцевой-Буниной.

У Андрюши два дедушки. – Кроме родного деда, Д.И. Иловайского, вторым считался Александр Данилович Майн (1836—1899), отец его мачехи – матери Марины Цветаевой.

Трёхпрудный дом – дом в Трёхпрудном переулке (№ 8; не сохранился), приданое В.Д. Иловайской к свадьбе с И.В. Цветаевым.

Коврайская Александра Александровна (1852—1929) – вторая жена Д.И. Иловайского. Надя (1882—1905), Серёжа (1885—1905) – дети Иловайского и Коврайской.

...после долгой заграницы, потеряв мать... – Мать Марины Цветаевой, Мария Александровна Мейн (1868—1906) скончалась от туберкулёза в Тарусе.

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), Виппер Роберт Юрьевич (1859—1954) – русские историки.

«Кремль» – московская газета (1897—1916).

...фарперовских «Hommes vivantes»... – Речь идёт о романе

Клода Фаррера «Дом живых людей».

...в своей *гранатовой (Прозерпина!) перелине*. – Прозерпина (Персефона) была похищена Аидом, властителем подземного царства. Беря её в жёны, последний потребовал, чтобы она проглотила зёрна граната – в знак неразрывности брака.

Серёжа Бор-Раменский – персонаж повести Евгении Тур «Сергей Бор-Раменский, или Семейство Шалонских».

Рауль Добри – персонаж романа французской писательницы З. Флерио «Рауль Добри, глава семейства».

Педель – в дооктябрьской России: надзиратель, следивший за поведением студентов.

...променявшая все *Плутоновы сокровища* ... – Мать Прозерпины Церера, римская богиня плодородия и земледелия.

Тигром за вспыльчивый характер называли французского политического деятеля, премьер-министра Жоржа Клемансо.

«*Дети Солнцевых*», «*Юность Кати и Вари Солнцевых*» – произведения (вторая книга – посмертное, дополненное издание первой) писательницы Е.Н. Кондрашовой (1836—1887).

Бориваж – курорт в Нерви, итальянском приморском городке, близ Генуи, где в начале 1900-х годов возникла колония русских политэмигрантов.

«*Квисисан*» – отель в Ялте.

«*Марина*» – здесь: набережная.

Ганон Шарль-Луи (1819—1900) – французский музыкальный педагог; пианист, органист.

«*Lied für Elise*» – пьеса Бетховена для фортепьяно.

«*O, Lasst mich scheinen...*» – песня Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

...на твою сотоварку... – С гражданской женой композитора Скрябина Т.Ф. Шлёцер (1883—1922) Марина Цветаева была дружна в 1921—1922 годах.

Башня в плюще. Впервые – в парижской газете «Последние новости» (1933. 16 июля). Марина и Анастасия Цветаева с осени 1904 по весну 1905 года жили и учились в городе Фрайбурге, в предгорьях Шварцвальда, в немецком пансионе сестёр Паулины и Энни Бринк. Их мать, надеясь на поправку здоровья в этом климате, жила в городе, снимая комнату неподалеку от пансиона. Однако в конце 1904 года её самочувствие ухудшилось, и она перебралась в санаторий.

Мария фон Турн-унд-Таксис – владелица замка Дуино на побережье Адриатического моря; покровительствовала поэту Рильке; в этом замке он начал писать свои «Дуинские элегии» (1912—1923).

«*Ангел*» – гостиница под Фрайбургом, где семья Цветаевых жила летом 1904 года.

«*Behut Dich Gott...*» – строки принадлежат немецкому писателю Иозефу Виктору Шеффелю (1826—1886).

Беттина фон Арним (урождённая Брентано; 1785—1859) – немецкая писательница, свою переписку с Гёте выпустила отдельной книгой.

«*Родник*» – детский иллюстрированный ежемесячник (Петербург; 1882—1917).

Иоганна Спири (1829—1901) – швейцарская писательница. Речь идёт о её многократно переиздававшейся книге «Годы учения и странствий Хайди. Рассказы для детей, а также для тех, кто детей любит».

Открытие Музея. Впервые – в парижском журнале «Встречи» (1934. № 2). Отец Марины Цветаевой, профессор Московского университета, член-корреспондент Петербургской АН Иван Владимирович Цветаев (1847—1913) был основателем (1912) и первым директором Музея изящных искусств императора Александра III при Московском университете (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

Пактол – река в Лидии, знаменитая золотым песком, составившим, по легенде, основу богатств царя Крёза.

...жена консервативнейшего из историков... – А.А. Коврайская.

Старая отца поклонница... – Лидия Александровна Тамбурер, дантист, друг семьи Цветаевых.

Жених. Впервые – в парижской газете «Последние новости» (1933. 15 октября). В очерке повествуется об Анатолии Корнелиевиче Виноградове (1888—1946), писателе и переводчике. В годы учения в Московском университете (1906—1912) работал под началом И.В. Цветаева в Румянцевском музее; как репетитор занимался с его дочерьми. В отличие от Марины Цветаевой, её сестра в своих «Воспоминаниях» доброжелательнее пишет об этом сложном, неуживчивом, но весьма незаурядном человеке. Ср. описание ею встречи с Виноградовым в 1921 году.

Гудзон Лоу (1769—1844) английский генерал, которому в 1815 году было вверено наблюдение за Наполеоном на острове св. Елены.

Мария-Луиза – жена Наполеона.

Графиня Мария Валевская – жена престарелого польского аристократа, приветствовавшая Наполеона в надежде на его поддержку в обретении самостоятельности Польши. Постепенно их отношения перешли в любовный роман. Сын Валевской и Наполеона, Флоран-Александр-Жозеф Колонна Валевский (1810—1868) впоследствии стал крупным французским государственным деятелем; герцог.

Борис Т. – Борис Сергеевич Трухачёв (1892—1919) – первый муж Анастасии Цветаевой.

Темы его книг – заграничные... – Виноградов был крупным специалистом по творчеству Стендаля; также он напи-

сал о нём роман «Три цвета времени», романы «Осуждение Паганини», биографию «Байрон» для серии «ЖЗЛ» и т.п.

Мать и музыка. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1935. № 57).

«*Ундина*» – повесть немецкого писателя Ф. де ла Мотт Фуке в поэтическом переводе В.А. Жуковского – любимое произведение Марины Цветаевой в детстве.

...в *Русском Доме Св. Женевьевы* ... – Дом для престарелых, где в 1933 году Цветаева познакомилась с дальними родственницами. Они рассказали Цветаевой о юности её матери, её предках (Бернацких). Тогда была задумана повесть о детстве и юности М.А. Мейн (замысел осуществлён не был).

Во время гастролей великого немецкого трагического актёра и режиссёра Эмиля Поссарта (1841—1921) во Фрайбурге зимой 1904/05 годов мать Цветаевой, обладавшая выдающимися вокальными способностями, пела в его хоре.

Августа Ивановна – экономка Цветаевых.

«*Вечерние досуги*» – традиционные литературные сборники для детей, выходившие в 1890—1900-е годы.

«*История маленькой девочки*» – повесть писательницы Е.А. Сысоевой (1829—1893).

...*страховской тучи*... – Деревня Страхово располагалась на противоположном от Тарусы берегу Оки, близ Поленова.

Бэккер – русская фортепьянная фирма, основанная Я.Д. Беккером (1851—1901).

Дядя Струй – персонаж «Ундины».

«*Смерть Цезаря*» – эта литография, висевшая в доме Цветаевых, возможно, была сделана с картины В. Камуччини (1773—1844).

Муся Потапова – подруга Марины Цветаевой по музыкальной школе.

«*Нувеллист*» – петербургский нотный ежемесячник (1840—1905).

«*Дивный терем*» – романс М.И. Глинки «Северная звезда» на стихи Е.П. Ростопчиной.

Святополк-Мирский Д.П. – критик, литературовед. В 1926—1928 годах вместе с Цветаевой и её мужем выпускал журнал «Вёрсты» (Париж). В 1932 году вернулся в СССР. Погиб в ГУЛАГе.

«*Леберт и Штарк*» – авторы популярного учебника фортепьянной игры.

«*Warum*» – фортепьянная пьеса Р. Шумана.

Хлыстовки. Впервые – в парижском журнале «Встречи» (1934. № 6). Многие годы семья Цветаевых снимала в окрестностях Тарусы небольшую усадьбу с зимним домом и садом – «Песочное». Здесь И.В. Цветаев посадил четыре ели – по числу своих детей.

Сказка матери. Впервые, с сокращениями – в парижской газете «Последние новости» (1935. 17 февраля). По

свидетельству А.И. Цветаевой, мать рассказывала им эту сказку в Шварцвальде, летом 1904 года.

...чистильщик Дик... маленькому Лорду... – Персонажи повести американской писательницы Ф. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой».

Доктор Ярхо – детский врач семьи Цветаевых.

Китаец. Впервые – в парижской газете «Последние новости» (1934. 24 октября).

Метек (от греч. *переселенец*) – пренебрежительное именование иностранцев.

«Камло» (франц.) – торговец-зазывала.

Ажан (франц.) – полицейский.

Чёрт. Впервые, с сокращениями – в парижском журнале «Современные записки» (1935. № 59).

«Жемчужины русской поэзии» – название сборников стихотворений для детей в начале XX века.

«Красный карбункул» – сказочная поэма В.А. Жуковско-го, перевод одноименного произведения немецкого поэта И.-П. Хебеля.

Революционер «Тигр» – так прозвала Марина Ивановна политэмигранта Владимира Александровича Кобылянского.

«Аксюта-Нянька» – подразумевается рассказ писательницы К.В. Лукашевич «Маленький барабанщик».

...Цветаев Володя... сын дяди Мити. – Историк, публи-

цист, педагог Д.В. Цветаев (1852—1920) – брат И.В. Цветаева; его сын Владимир – архитектор.

...пирожкам от Бартельса... – кондитерская фирма в Москве.

...отцову отцу, шуйскому протоиерею... – Владимир Васильевич Цветаев (1820—1884), священник села Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии.

«Курьер» – ежедневная газета, выходившая в Москве в 1897—1904 годах.

...дядя родной, Федя... – Ф.В. Цветаев (1849—1901), учитель гимназии, инспектор Московского учебного округа.

Повесть о Сонечке. Первая часть повести («Павлик и Юра») опубликована в журнале «Русские записки» (Париж; Шанхай. 1938. ; 3); вторая («Володя») – в кн.: Цветаева М. Неизданное. Париж, 1976. Посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». Эпиграф – начало безымянного стихотворения Виктора Гюго из сборника «Созерцания».

Юрию и Вере З. – Ю.А. Завадский и его сестра Вера Александровна, гимназическая знакомая Цветаевой.

Павлик А. – поэт Павел Антокольский.

Лиля Ш. – актриса, режиссёр, педагог Елена Шик (Елагина).

Юра С. – актёр Георгий Серов (1894—1929).

Юра Н. – композитор и дирижёр Юрий Сергеевич Никольский (1895—1962), заведовавший в 1919 году музыкальной частью Вахтанговской студии.

Абу Эдмон (1828—1895) – французский писатель.

Стахович Алексей Александрович (1856—1919) – актёр МХТ, театральный педагог. Ему посвящён очерк Цветаевой «Смерть Стаховича», а история его жизни послужила основой для работы над её пьесой «Феникс».

«...*узника Бонивара...*» – швейцарский гуманист Франсуа Бонивар (1493—1570) вместе с жителями Женевы боролся против владычества герцога Савойского. После заточения в тюрьму его стали называть «Шильонским узником».

...*девы д'Аннунцио...* – Речь идёт об инсценировке романа итальянского писателя Габриеля д'Аннунцио «Девы скал».

...*пьеса...* *Юрия Слёзкина* – Вероятно, имеется в виду пьеса «Зеркало Коломбины» писателя Юрия Слёзкина.

Мчедлов (Мчедлишвили) В.Л. – режиссёр, педагог; один из организаторов Второй студии МХТ (1916).

Malibran – знаменитая французская певица Мариа Фелисита Гарсиа Малибран (1808—1836).

Патти Аделина (1843—1919) – выдающаяся американская певица.

Сегюр (де Сегюр) Софья Фёдоровна, графиня (1799—

1874) – французская детская писательница русского происхождения – дочь графа Ф.В. Ростопчина. Переводы её книг многократно издавались в России.

Банг Герман (1857—1912) – датский писатель.

Володя – актёр студии Владимир Васильевич Алексеев (1892—1919).

Гибель „Надежды“ – пьеса Г. Хейерманса, голландского драматурга. «Потоп» – пьеса шведского писателя Ю.Х. Бергера.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) – писатель, театральный деятель.

Козетта, Жан Вальжан – герои романа В. Гюго «Отверженные».

Письма к Г-ру... – Возможно, речь идёт о драматурге Льве Владимировиче Гольденвейзере.

«*Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька!*» – из повести «Белые ночи» Достоевского.

Е.Я. – вероятно, Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра мужа Цветаевой.

А вот – вторая весть... – Приводится, с изменениями, письмо Елизаветы Павловны Редлих (Кривошапкиной) к Ариадне Эфрон.

...моя сестра. – Вера Павловна Редлих (1893—1992) – в то время актриса Второй студии МХТ и подруга Софьи Голлидэй.

Ja! Ich weiss woher ich stamme... – стихотворение Фридриха

Ницше «Ессе Ното».

«Да будешь ты благословенна...» – из повести «Белые ночи» Достоевского.

Наталья Гончарова. Впервые – в пражском журнале «Воля России» (1929. № 5/6, 7, 8/9). Художница Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962) – внучатая племянница Н.Н. Пушкиной. С 1915 года вместе с мужем, художником М.Ф. Ларионовым (1881—1964) жила до конца жизни в Париже. Цветаева познакомилась с Гончаровой в 1928 году. Некоторое время Гончарова занималась рисунком с Ариадной Эфрон. В 1930 году иллюстрировала поэму-сказку Цветаевой «Молодец». При работе Цветаева пользовалась материалами издания: Пушкин в жизни. М., 1928.

Живое о живом (Волошин). Впервые, со значительными сокращениями – в парижском журнале «Современные записки» (1933. № 52, 53). Воспоминания написаны вскоре после кончины поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932), с которым Цветаева была знакома и дружна с конца 1910 года.

Слово о Бальмонте. Было написано и произнесено на благотворительном вечере, посвящённом поэту (24 апреля 1936) в парижском зале Социального Музея (тяжело больной Бальмонт отсутствовал). Первая публикация – в журна-

ле «Новое литературное обозрение» (1992. № 1).

«Горные вершины» – название сборника литературно-критических статей К. Бальмонта (Москва, 1904).

Ван Лерберг Шарль (1861—1907) – бельгийский поэт.

Зудерман Герман (1857—1928) – немецкий писатель.

Йегер Ханс Хенрик (1854—1910) – норвежский писатель.

Врхлицкий Ярослав (1853—1912) – чешский поэт.

Асвагоша (Ашвагхоша) – индийский поэт, живший, по преданию, во 2 в. н.э. Был одним из основателей махаяны – северного направления в буддизме. Автор поэмы «Буддха-чарита» – о жизни Будды.

Калидала (Калидаса; ок. 5 в.) – величайший древнеиндийский поэт.

Нездешний вечер. Михаил Кузмин. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1936. № 61). Очерк посвящён памяти поэта Михаила Алексеевича Кузмина (1936. № 61). Название взято из книги стихов Кузмина «Нездешние вечера» (1921). Описываемые события происходили в петроградском доме инженера Иоакима Каннегисера, отца поэта, убившего в 1918 году Урицкого.

«Северные записки» – ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в 1913—1917 годах в Петрограде С.И. Чацкиной и её мужем Я.Л. Сакером.

Книжечка стихов – в 1928 году в Париже вышел сборник «Леонид Каннегисер. Статьи Г. Адамовича, М.А. Алданова,

Георгия Иванова. Из посмертных стихов Л. Каннегисера».

«Летопись» – литературно-политический ежемесячник, выходивший в Петрограде (1915—1917).

Ландау Григорий Адольфович (1877—1941) – философ, публицист, впоследствии эмигрант в Германии. С 1938 года жил в Латвии; расстрелян органами НКВД вскоре после начала войны.

Луарсаб Николаевич – возможно, тифлисский юрист Л.Н. Андроникашвили.

Ландау (Ляндау) Константин Юлианович (1890—1969) – поэт и режиссёр. С начала 1920-х годов в эмиграции.

Лорд – И.С. Каннегисер.

Мой Пушкин. Впервые – в парижском журнале «Современные записки» (1937. № 64).

«Дуэль» – картина «Дуэль Пушкина» А.А. Наумова (1840—1895).

...с 1884 года. – Памятник Пушкину открыт в 1880 году.

...о Пушкине и Пугачёве... – У Цветаевой есть статья «Пушкин и Пугачёв».

Музыкальная школа Зограф-Алексиной – Цветаева училась в ней с шести лет. Ныне музыкальная школа при Московской консерватории в Мерзляковском переулке.

Другой героини – Анны Карениной.

Скоронадский Павел Петрович (1873—1945) – генерал-лейтенант; в апреле 1918 года был провозглашён гетма-

ном – главой Украинской державы. С декабря того же года в эмиграции.

...пачёвской ивово́й долиной. – Пачёво – деревня близ та-русской усадьбы «Песочное».

La Chaux de Fonds – из этой швейцарской деревни была мачеха матери Марины Цветаевой.

Модан – неподалеку от этого городка находится туннель, соединяющий Францию и Италию.

Викторов-Эммануилов – именем итальянского короля была названа сеть гостиниц в его стране.